

Эдвард Бульвер-Литтон

**Мой роман, или Разнообразие  
английской жизни**



Эдвард Бульвер-Литтон

**Мой роман, или Разнообразие  
английской жизни**

«Public Domain»

1853

## **Бульвер-Литтон Э. Д.**

Мой роман, или Разнообразие английской жизни / Э. Д. Бульвер-Литтон — «Public Domain», 1853

«– Чтобы вам не уклоняться от предмета, сказал мистер Гэзельден: – я только попрошу вас оглянуться назад и сказать мне по совести, видали ли вы когда-нибудь более странное зрелище. Говоря таким образом, сквайр Гэзельден<a type="note" href="#n\_1"></a> всю тяжестью своего тела облокотился на левое плечо пастора Дэля и протянул свою трость параллельно его правому глазу, так что направлял его зрение именно к предмету, который он так невыгодно описал...»

## Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	8
Глава III	10
Глава IV	14
Глава V	16
Глава VI	19
Глава VII	24
Глава VIII	30
Глава IX	38
Глава X	48
Глава XI	50
Глава XII	55
Часть вторая	60
Глава XIII	60
Глава XIV	64
Глава XV	70
Глава XVI	73
Глава XVII	86
Часть третья	94
Глава XIX	94
Глава XX	101
Глава XXI	105
Глава XXII	108
Глава XXIII	114
Глава XXIV	124
Глава XXV	129
Глава XXVI	134
Глава XXVII	137
Глава XXVIII	141
Глава XXIX	144
Часть четвертая	149
Глава XXX	149
Конец ознакомительного фрагмента.	151

# Эдвард Бульвер-Литтон

## Мой роман, или Разнообразие английской жизни

### Часть первая

#### Глава I

– Чтобы вам не уклоняться от предмета, сказал мистер Гэзельден: – я только попрошу вас оглянуться назад и сказать мне по совести, видали ли вы когданибудь более странное зрелище.

Говоря таким образом, сквайр Гэзельден<sup>1</sup> всю тяжесть своего тела облокотился на левое плечо пастора Дэля и протянул свою трость параллельно его правому глазу, так что направлял его зрение именно к предмету, который он так невыгодно описал.

– Я сознаюсь, сказал пастор: – что если смотреть чувственным оком, то это такая вещь, которая, даже в самом выгодном свете, не может нравиться. Но, друг мой, если смотреть внутренними очами человека – глазами сельского философа и доброго прихожанина – то я скажу, что от такого небрежения и забвения делается грустно.

Сквайр сурово взглянул на пастора, не переставая смотреть на указанный предмет. Это была поросшая мхом, провалившаяся посередине, с окнами, лишенными рам и похожими на глаза без век, колода<sup>2</sup>, с репейником и крапивой на всякой трещине, разросшимися точно лес. В добавок, тут поместился проезжий медник с своим ослом, который принялся завтракать, обрывая траву по краям окон и дверей разрушенного здания.

Сквайр опять сурово посмотрел на пастора, но как умел, в некоторой мере, владеть собою, то укротил на некоторое время свое негодование, и потом, с быстротой, бросился на осла.

У осла, передняя нога были сцеплены веревкою, к которой был привязан чурбан, и под влиянием этого снаряда, называемого техниками *путы*, животное не могло избежать нападения. Но осел, повернувшись с необыкновенною быстротой, при первом ударе тростью, задел веревкой ногу сквайра и потащил его, кувыркая, между кустами крапивы; потом с важностью нагнулся, в продолжение этой процедуры, понюхал и полизал своего распростертого врага; наконец, убеждаясь, что хлопотать больше нечего, и что всего лучше предоставить развязку дела самой судьбе, он, в ожидании её, сорвал зубами цветущую и рослую крапиву вплоть к уху сквайра, – до такой степени вплоть, что пастор подумал, что вместе с крапивой откушено и ухо, каковое предположение было тем правдоподобнее, что сквайр, почувствовав горячее дыхание животного закричал всеми силами своих мощных легких.

– Ну что, откусил? спросил пастор, становясь между ослом и сквайром.

– Тысячи проклятий! кричал сквайр, вставая и вытираясь.

– Фу, какое неприличное выражение! сказав пастор кротко.

---

<sup>1</sup> *Squire, esquire* – *сквайр*; первоначально этим словом назывался рыцарский щитоносец, теперь оно означает титул одной ступенью ниже кавалера, – в общем же употреблении оно служит для означения в Англии по большей части тех лиц, которые владеют поземельною собственностью. *Прим. Пер.*

<sup>2</sup> Так называется механизм особенного устройства, употребляемый в английских деревнях как мера наказания. *Колода* устроивается так, что виновный, посаженный в нее, остается весь на виду, лишаясь только свободного употребления рук и ног, и таким образом подвергается стыду публичного ареста, на долгий или кратчайший срок, смотря по мере вины своей. *Прим. пер.*

– Неприличное выражение! попробовал бы я вас одет в нанку, сказал сквайр продолжая вытираться: – одеть в нанку да бросить в самую чашу крапивы, с ослиными зубами вплоть к вашему уху....

– Так значит он не откусил его? прервал пастор.

– Нет то есть по крайней мере мне кажется, что нет, сказал сквайр, голосом, полным сомнения.

И вслед за тем схватился он за слуховой орган.

– Нет, не откушено: тут.

– Слава Богу, сказал пастор с участием.

– Мм, проворчал сквайр, который все продолжал вытираться. – Слава Богу! Только посмотрите, я весь облеплен репейником. Вот уж желал бы знать, для чего созданы крапива и репейник.

– Для питания ослов, если только вы позволите им, сквайр, отвечал пастор.

– Ах, проклятые животные! вскричал мистер Гэзелден, снова закипев гневом, в отношении ли ко всей породе ослов, или по чувству человека, уязвленного сквозь нанковую одежду крапивой, которая теперь заставляла его ежиться и потирать разные пункты своего выпачканного платья. – Животное! продолжал он, снова подняв палку на осла., который почтительно отступил на несколько, шагов и теперь стоял, подняв свой тощий хвост, и тщетно стараясь двинуть передней ногой, которую кусали мухи.

– Бедный сказал пастор с состраданием. – Посмотрите, у него стерто плечо, и безжалостные мухи именно тут и напали.

– А я так радуюсь этому, сказал сквайр злобно.

– Фи, фи!

– Вам хорошо говорить, фи, фи. Не вы, небось, попали в крапиву. Вот толкуй после этого с людьми!

Пастор пошел к каштану, росшему на ближнем краю деревни, сломил сучок, возвратился к ослу, прогнал мух и потом бережно положил лист на стертое место, в защиту от насекомых. Осел поворотил головою и смотрел на него с кротким удивлением.

– Я готов прозакладывать шиллинг, что это первая ласка, которую тебе оказывают в продолжение многих дней. А как легко, кажется, приласкать животное!

С этими словами, пастор опустил руку в карман и вынул оттуда яблоко.

Это было большое, краснощокое яблоко, одно из яблоков прошлогоднего урожая от знаменитой яблони в саду пастора, и которое он принес теперь какому-то деревенскому мальчику, отличившемуся в последний раз в школе.

– Да, по всей справедливости Ленни Ферфильд должен иметь пред другими преимущество, пробормотал пастор.

Осел подряд ухо и робко придвинул голову.

– Но Ленни Ферфильд может точно также удовольствоваться двумя пенсами; а тебе для чего два пенса?

Нос осла коснулся теперь яблока.

– Возьми его, во имя сострадания, произнес пастор.

Осел взял яблоко.

– Неужели у вас достает духу? спросил пастор, указывая на трость сквайра, которая снова поднималась.

Осел стоял, жуя яблоко и искоса поглядывая на сквайра.

– Полно, кушай; он не будет тебя бить более.

– Нет, не буду, произнес сквайр в ответ. – Но дело вот в чем: он не наш здешний осел: он пришлец, и потому его нужно загнать к нам в околицу. Но околица у нас в самом дурном положении.

– Колода завтра должна быть поправлена... да! забор тоже, – и первый осел, который забредет сюда, будет загнан в стойло безвозвратно. Все это так же верно, как то, что я называюсь Гэзельден.

– В таком случае, сказал пастор с важностью: – мне остается только надеяться, что другие прихожане не последуют вашему примеру, и пожелать, чтобы мы как можно реже встречались друг с другом.

## Глава II

Пастор Дэль и сквайр Гэзельден расстались; последний пошел посмотреть своих овец, а первый – навестить прихожан, в том числе и Ленни Ферфилда, которого осел лишил яблока.

Ленни Ферфилда, по всей вероятности, не будет дома, потому что мать его наняла у помещика несколько десятин лугов, а теперь самое время севокоса. Леонард, более известный под именем Ленни, был единственный сын у матери, которая была вдова. Домик их стоял отдельно и в некотором отдалении от длинной, зеленеющей садами деревенской улицы. Это был настоящий английский коттедж, выстроенный, по меньшей мере, три столетия тому назад со стенами, выложенными из бутового камня, с дубовыми связями, и покрываемыми всякое лето новым слоем штукатурки, с соломенной кровлей, маленькими окнами и развалившейся дверью, которая возвышается от земли только на две ступеньки. В этом скромном жилище заметна была всевозможная роскошь, какую только допускает быт крестьянина: над дверью извивалась ветка козьего листа, на окнах, стояло несколько горшков цветов; небольшая площадка земли перед домом была содержима в необыкновенном, порядке и опрятности; по обеим сторонам дороги к дому лежали довольно крупные камни, представляя таким образом род маленького шоссе, обросшего цветущими кустарниками и ползучими растениями. Гряды картофеля скрывались за душистым горошком и волчьими бобами. Все это довольно скромные украшения, но они много говорят в пользу крестьян и помещика: вы видите, что крестьянин любит свой дом, привязан к нему и имеет довольно свободного времени и охоты, чтобы заняться исключительно украшением своего жилища. Такой крестьянин, конечно, плохой посетитель кабаков и верный защитник польз сквайра.

Подобное зрелище было так же восхитительно для пастора, как самый изысканный итальянский ландшафт для какогонибудь дилетанта. Он остановился на минуту у калитки, осмотрелся кругом и с наслаждением вдыхал упоительный запах горошка, смешанный с запахом вновь-скошенного сена, который легкий ветерок приносил к нему с луга, бывшего позади. Потом он поднялся на крыльцо, бережно отер свои башмаки, которые всегда были особенно чисты и светлы, потому что мистер Дэль считался щеголем между своею братиею, прошел подошвами раза два по скобке, бывшей снаружи, и взялся за ручку двери. Какойнибудь художник с артистическим восторгом смотрит на фигуру нимфы, изображенной на этрусской вазе, как будто она выжимает сок из кисти винограда в классическую урну. И пастор почувствовал столь же усладительное, если не столь же утонченное, удовольствие, при виде вдовы Ферфилд, которая наполняла водою, наравне с краями, блестящую чистотою чашку, для утоления жажды трудолюбивых косарей.

Мистрисс Ферфилд была опрятная женщина средних лет, с тою проворною точностью в движениях, которая происходит от деятельности и быстроты ума, и когда она теперь обернулась, услышав за собою шаги пастора, то показала физиономию вполне приличную; хотя и не особенно красивую, – физиономию, на которой расцветшая в эту минуту добродушная улыбка изгладилла некоторые следы горя, но горя прошедшего, и её щоки, бывшие бледнее чем у большей части особ прекрасного пола и её комплекции, родившихся и выросших посреди сельского населения, скорее заставляли предполагать, что первая половина её жизни протекла в удушливом воздухе какогонибудь города, посреди комнатных затворнических трудов.

– Пожалуйте, не стесняйтесь, сказал пастор, отвечая на её поклон и заметив, что она хочет надеть фартук: – если вы пойдете на сенокос, я пойду с вами; мне нужно кое-что сказать Ленни... славный мальчик!

– Вы очень добры, сэр; но, в самом деле, он добрый ребенок.

– Он читает необыкновенно хорошо, пишет сносно; он первый ученик в школе по предметам катехизиса и библейского чтения, и поверьте, что когда я вижу, как он стоит в церкви,

прислушиваясь внимательно к службе, то мне кажется, что я читал бы проповеди вдвое лучше, если бы у меня были все такие слушатели.

Вдова (*отирая глаза концом своего фартука*). В самом деле, сэр, когда мой бедный Марк умирал, я не могла себе представить, что проживу и так, как прожила. Но этот мальчик до того ласков и добр, что когда я смотрю ни него, сидя на кресле моего малого Марка, я припоминаю, как Марк любил его, что он говорил ему обыкновенно, то мне кажется, что будто сам покойный улыбается мне и говорит, что пора и мне к нему, потому что мальчик подрастает и я ему не нужна более.

Пастор (*смотря в сторону и после некоторого молчания*). Вы ничего не слышали о стариках Лэнсмерах?

– Ничего, сэр; с тех пор, как бедный Марк умер, ни я, ни сын мой не имели от них никакой весточки. Но, прибавила вдова с некоторого рода гордостью: – это я не к тому говорю, чтобы нуждалась в их деньгах, только тяжело видеть, что отец и мать для нас точно чужие.

Пастор. Вы должны извинить им. Ваш отец, мистер Эвенель, сделался совершенно другим человеком после этого несчастного происшествия; но вы плачете, мой друг! простите меня... ваша матушка немножко горда, но и вы не без гордости, только в другом отношении.

Вдова. Я горда! Бог с вами, сэр! во мне нет и тени гордости! от этого-то они так и смотрят на меня высокомерно.

Пастор. Ваши родители еще не уйдут от нас; я пристану к ним через год или два насчет Ленни, потому что они обещали содержать его, когда он вырастет, да и должны по справедливости.

Вдова (*разгорячившись*). Я уверена, сэр, что вы не захотите этого сделать: я бы не желала, чтобы Ленни был отдан на руки к тем, которые с самого рождения его не сказали ему ласкового слова.

Пастор с важностью улыбнулся и поник головою, видя, как бедная мистрисс Ферфильд обличила себя, против воли, в гордости; но, понимая, что теперь не время примирять самую упорную вражду, – вражду в отношении к близким родственникам, он поспешил прервать разговор и сказал:

– Хорошо! еще будет время подумать о судьбе Ленни; а теперь мы совсем забыли наших косарей. Пойдемте.

Вдова отворила дверь, которая вела чрез маленький яблочный сад к лугу.

Пастор. У вас здесь прелестное место, и я вижу, что друг мой Ленни не будет иметь недостатка в яблоках. Я нес было ему яблочко, да отдал его на дороге.

Вдова. О, сэр, не подарок дорог, а доброе желание. Я очень ценю, например, что сквайр – да благословит его Господь! – приказал сбавить мне два фунта с арендной платы в тот год, как он, то есть Марк, скончался.

Пастор. Если Ленни будет вам так же помогать вперед, как теперь, то сквайр опять наложит два фунта.

– Да, сэр, отвечала вдова простодушно: – я думаю, что наложит.

– Странная женщина! проворчал пастор. – Ведь вот, окончившая курс в школе дама не сказала бы этого. Вы не умеете ни читать, ни писать, мистрисс Ферфильд, а между тем выражаетесь довольно отчетливо.

– Вы знаете, сэр, что Марк был в школе, точно так же, как и моя бедная сестра, и хотя я до самого замужества была тупой, безтолковой девочкой, но, выйдя замуж, я старалась, сколько могла, образовать свой ум.

### Глава III

Они пришли теперь на самое место сенокоса, и мальчик лет шестнадцати, но которому, на вид, как это бывает с большею частью деревенских мальчиков, казалось менее, смотрел на них, держа в руках грабли, живыми голубыми глазами, блестящими из под густых темно-русых, вьющихся волос. Леонард Ферфилд был, в самом деле, красивый мальчик, не довольно, может быть, плечистый и румяный для того, чтобы представить из себя идеал сельской красоты, но и не столь жидкий телосложением и нежный лицом, как бывают дети, воспитанные в городах, у которых ум развивается на счет тела; он не был в то же время лишен деревенского румянца на щеках и городской грации в лице и вольных, непринужденных движениях. В его физиономии было что-то невыразимо-интересное, по свойственному ей характеру невинности и простоты. Вы бы тотчас угадали, что он воспитан женщиною, и притом в некотором отдалении от других мальчиков его лет; что тот запас умственных способностей, который был развит в нем, созрел не под влиянием шуток и шалостей его сверстников, а под влиянием родительских советов, серьезных разговоров и нравственных уроков, находимых в хороших детских книгах.

Пастор. Поди сюда, Ленни. Ты знаешь цель всякого ученья: сумей извлечь из него, пользу и сделаться подпорою своей матери.

Ленни (*скромно опустив глаза и с некоторым жаром*). Дай Бог, сэр, чтобы я скорее был в состоянии это исполнить.

Пастор. Правда, Ленни. Позволь-ка. И думаю, ты скоро сделаешься взрослым человеком. Сколько тебе лет?

(*Ленни смотрит вопросительно на свою мать.*)

Ты должен сам знать, Ленни; говори сам за себя. Поудержите свой язычек, мистрисс Ферфилд.

Ленни (*вертя свою шляпу и с сильным замешательством*). Да, так точно: у соседа Деттона есть Флоп, старая овчарка. Я думаю, она уже очень стара.

Пастор. Я справляюсь о годах не Флопа, а о твоих.

Ленни. Точно так, сэр! я слышал, что мы с Флопом родились вместе. Это значит, мне... мне...

Пастор начинает хохотать, мистрисс Ферфилд также, а вслед за ними и косари, которые стояли кругом и прислушивались к разговору. Бедный Ленни совершенно растерялся, и по лицу его было заметно, что он готов заплакать.

Пастор (*ободрительно поглаживая его кудрявую голову*). Ничего, ничего; ты довольно умно рассчитал. Ну, сколько же лет Флопу?

Ленни. Ему должно быть пятнадцать лет слишком.

Пастор. Сколько же тебе лет?

Ленни (*со взглядом, полным живого остроумия*). Слишком пятнадцать лет.

Вдова вздыхает и поникает головой.

– Да, видите ли, это по-вашему значит, что мы родились вместе, сказал пастор. Или, говоря другими словами, – и здесь он величественно поднял взоры, обращаясь к косарям, – другими словами; благодаря его любви к чтению, наш простачок Ленни Ферфильд, который стоит здесь, доказал, что он способен к *умозаключению по законам наведения*.

При этих словах, произнесенных *ore rotundo*, косари перестали хохотать, потому что, какой бы ни был предмет разговора, они считали своего пастора оракулом и слова его всегда и везде непреложными.

Ленни гордо поднял голову.

– А ты, кажется, очень любишь Флопа?

– Очень любит, сказала вдова:– больше, чем всех других животных.

– Прекрасно! Представь себе, мой друг, что у тебя в руке спелое, душистое яблоко, и что на дороге с тобою встречается приятель, которому оно нужнее, чем тебе: что бы ты сделал в таком случае?

– Я бы отдал ему половину яблока, сэр; не так ли?

Пастор (*несколько опечалившись*). А не целое яблоко, Ленни?

Ленни (*подумав*). Если он мне настоящий приятель, то сам не захочет взять целое яблоко.

– Bravo, мастэр Леонард! ты говоришь так хорошо, что нельзя не сказать тебе всей правды. Я принес было тебе яблоко, в награду за твое благонравие в школе. Но я встретил на дороге бедного осла, которого некто бил за то, что он щипал крапиву; мне пришло в голову, что я вознагражу его за побои, если дам ему яблоко. Должен ли я был дать ему только половину?

Простодушное лицо Ленни осветилось улыбкой; интерес настоящего вопроса затронул его за-живое.

– А этот осел любил яблоки?

– Очень, отвечал пастор, шаря у себя в кармане.

Но в то же время, размышляя о летах и способностях Леопарда Ферфилида, заметив, кроме того, к своему сердечному удовольствию, что он окружен толпою зрителей, ожидающих развязки этой сцены, он подумал, что двух-пенсовой монеты, приготовленной им, было бы недостаточно, а потому и вынул серебряную в шесть пенсов,

– Вот тебе, мой разумник, за половину яблока, которую ты оставил бы себе.

Пастор опять погладил курчавую голову Ленни, и, после двух-трех приветливых слов к некоторым из косарей и желания доброго дня мистрисс Ферфильд, он пошел по дороге, ведущей к его дому. Он уже подошел к забору своего жилища, когда услышал за собою торопливые, но вместе и боязливые шаги. Он обернулся и увидел своего приятеля Ленни.

Ленни (*держа шести-пенсовую монету в руке и протягивая ее к пастору, кричал*): не за что, сэр! я отдал бы все яблоко Недди.

Пастор. В таком случае ты имеешь еще более права на эти шесть пенсов.

Ленни. Нет, сэр; вы дали мне их за пол-яблока. А если бы я отдал целое, как и надо было сделать, то я не мог бы уже получить шести пенсов. Возьмите назад; не сердитесь, но возьмите назад... Ну что же, сэр?

Пастор медлил. И мальчик положил ему монету в руку, так же, как, не задолго до того, осел протягивался к этой же руке, имея виды на яблоко.

В самом деле, обстоятельство было затруднительно.

Сострадание, как незваная гостья, которая всегда заступает вам дорогу и отнимает у других яблоки для того, чтобы испечь свой собственный пирог, лишило Ленни должной ему награды; а теперь чувствительность пыталась отнять у него и вторичное возмездие. Положение было затруднительно; пастор высоко ценил чувствительность и не решался противоречить ей, боясь, чтобы она не убежала навсегда. Таким образом, мистер Дэль стоял в нерешимости, смотря на монету и Ленни, на Ленни и монету, по очереди.

– *Bueno giorno* – добрый день! сказал сзади их голос, отзывавшийся иностранным акцентом, – и какая-то фигура скоро показалась у забора.

Представьте себе высокого и чрезвычайно худого мужчину, одетого в изношенное черное платье: панталоны, которые обжимали ноги у колен и икр и потом расходились в виде, стиблетов над толстыми башмаками, застегнутыми поверх ступни; старый плащ, подбитый красным, висел у него на плече, хотя день был удушливо-жарок; какой-то уродливый, красный, иностранный зонтик, с кривою железною ручкою, был у него под мышкой, хотя на небе не видно было ни облачка; густые черные волосы, в вьющихся пуклях, мягких как шолк, выбивались из под его соломенной шляпы, с чудовищными полями; лицо несколько болезненное и смуглое,

с чертами, которые хотя и показались бы изящными для глаза артиста, но которые не соответствовали понятию о красоте, господствующему между англичанами, а скорее были бы названы страшными; длинный, с горбом, нос, впалые щеки, черные глаза, которых пронизательный блеск принимал что-то магическое, таинственное от надетых на них очков: рот, на котором играла ироническая улыбка, и в котором физиономист открыл бы следы хитрости, скрытности, дополняли картину.

Представьте же, что этот загадочный странник, который каждому крестьянину мог показаться выходцем из ада, – представьте, что он точно вырос из земли близ дома пастора, посреди зеленеющих полей и в виду этой патриархальной деревни; тут он сел, протянув свои длинные ноги, покуривая германскую трубку и выпуская дым из уголка сардонических губ; глаза его мрачно смотрели сквозь очки на недоумевающего пастора и Ленни Ферфилда. Ленни Ферфилд, заметив его, испугался.

– Вы очень кстати пожаловали, доктор Риккабокка, сказал мистер Дэль, с улыбкою:– разрешите нам запутанный тяжёлый вопрос.

И при этом пастор объяснил сущность разбираемого дела.

– Должно ли отдать Ленни Ферфилду шесть пенсов, или нет? спросил он в заключение.

– *Cospetto!* сказал доктор. – Если курица будят держать язык на привязи, то никто не узнает, когда она снесет яйцо.

– Прекрасно, скакал пастор: – но что же из того следует? Изречение очень остроумно, но я не вижу, как применить его к настоящему случаю.

– Тысячу извинений! отвечал доктор Риккабокка, с свойственной итальянцу учтивостью: – но мне кажется, что если бы вы дали шесть пенсов *fancullo*, то есть этому мальчику, не рассказывая ему истории об осле, то ни вы, ни он не попался бы в такую безвыходную дилемму.

– Но, мой милый сэръ, прошептал, с кротостью, пастор, приложив губы к уху доктора: – тогда я потерял бы удобный случай преподать урок нравственности... вы понимаете меня?

Доктор Риккабокка пожал плечами, поднес трубку к губам и сильно затянулся. Это была красноречивая затяжка, – затяжка, свойственная по преимуществу философам, – затяжка, выражавшая совершенную, холодную недоверчивость к нравственному уроку пастора.

– Однако, вы все-таки не разрешили нас, сказал пастор, после некоторого молчания.

Доктор вынул трубку изо рта.

– *Cospetto!* сказал он. – Кто мылит голову ослу, тот только теряет мыло понапрасну.

– Если бы вы мне пятьдесят раз сряду вымыли голову своими загадочными пословицами, то я не сделался бы оттого ни на волос умнее.

– Мой добрый сэръ, сказал доктор, облокотясь на забор, – я вовсе не подразумевал, чтобы в моей история было более одного осла; но мне казалось, что лучше нельзя было выразить моей мысли, которая очень проста – вы мыли голову ослу, не удивляйтесь же, что вы потратили мыло. Пусть *fanciullo* возьмет шесть пенсов; но надо правду сказать, что для маленького мальчика это значительная сумма. Он истратит ее как раз на какие нибудь вздоры.

– Слышишь, Ленни? сказал пастор, протягивая ему монету.

Но Ленни отступил, бросив на судью своего взгляд, выразивший неудовольствие и отвращение.

– Нет, сделайте милость, мистер Дэль, сказал он, упорно. – Я уж лучше не возьму.

– Посмотрите: теперь мы дошли до чувств, произнес пастор, обращаясь к судье; – а, того и гляди, что мальчик прав.

– Если уже разыгралось чувство, сказал доктор Риккабокка: – то нечего тут и толковать. Когда чувство влезет в дверь, то рассудку только и остается, что выпрыгнуть в окно.

– Ступай, добрый мальчик, сказал пастор, кладя монету в карман: – но постой и дай мне руку... ну вот, теперь прощай.

Глаза Ленни заблестели, когда пастор пожал ему руку, и, не смея промолвить ни слова, он поспешно удалился. Пастор отер себе лоб и сел у околицы, возле итальянца. Перед ними расстился прелестный вид, и они оба, любуясь им – хотя не одинаково – несколько минут молчали.

По другую сторону улицы, сквозь ветви дубов и каштанов, которые поднимались из за обросшей мхом ограды Гэзельден-парка, виднелись зеленые холмы, пестревшие стадами коз и овец; влево тянулась длинная аллея, которая оканчивалась лужайкой, делившей парк на две половины и украшенной кустарником и грядками цветов, росших под сению двух величественных кедров. На этой же платформе, видневшейся отсюда лишь частью, стоял старинный дом сквайра, с красными кирпичными стенами, каменными рамами у окон, фронтонами и чудовищными трубами на крыше. По эту сторону, прямо против сидевших у околицы собеседников, извивалась улица деревни, с своими хижинами, то выглядывавшими, то прятавшимися, одна за другую; наконец, на заднем плане, расстился вид на отдаленную синеву неба, на поля, покрытые волнующимися от ветра колосьями, с признаками соседних деревень и ферм на горизонте. Позади, из чащи сирени и акаций, выставлялся дом пастора, с густым старинным садом и шумным ручейком, который протекал перед окнами. Птицы порхали по саду и по живой изгороди, опоясывавшей его, и из отдаленной части леса от времени до времени долетал сюда унылый отзыв кукушки.

– Надо правду сказать, произнес мистер Дэль, с восторгом: – мне досталось на долю прелестное убежище.

Итальянец надел на себя плащ и вздохнул едва слышно. Может быть, ему пришла в голову его родная полуденная страна, и он подумал, что, при всей свежести и роскоши северной зелени, не было посреди её отрадного приюта для чужестранца.

Но, прежде чем пастор успел подметить этот вздох и спросить о причине его, как сардоническая улыбка показалась уже на тонких губах доктора Риккабокка.

– Per Vasso! сказал он: – во всех странах, где случилось мне быть, я замечал, что грачи поселяются именно там, где деревья особенно красивы.

Пастор обратил свои кроткие глаза на философа, и в них было столько мольбы, вместо упрека, что доктор Риккабокка отвернулся и закурил с большим жаром свою трубку. Доктор Риккабокка очень не любил пасторов, но хотя пастор Дэль был пастором во всем смысле этого слова, однако в эту минуту в нем было так мало того, что доктор Риккабокка разумел под понятием пастора, что итальянец почувствовал в сердце раскаяние за свои неуместные шутки. К счастью, в эту минуту начатый так неприятно разговор был прерван появлением лица, не менее замечательного, чем тот осел, который съел яблоко.

## Глава IV

Медник был рослый, смуглый парень, веселый и вместе с тем музыкальный, потому что, повертывая палкой в воздухе, он пел что-то и при каждом *refrain* опускал палку на спину своего осла. Таким образом, медник шел сзади, распевая, осел шел впереди, получая чувствительные удары.

– У вас престранные обычаи, заметил доктор Риккабокка: – на моей родине ослы не привыкли получать побои без причины.

Пастор соскочил с завалины, на которой сидел, и, смотря через забор, который отделял поле от дороги, стал звать к меднику;

– Милейший, милейший! послушай: удары твоей палки мешают слушать твоё приятное пение... Ах, мастер Спротт, мастер Спротт! хороший человек всегда милостив к своей скотине.

Осел, кажется, узнал своего друга, потому что вдруг остановился, глубокомысленно поднял одно ухо и взглянул вверх.

Медник взялся за шляпу и тоже стал глядеть кверху.

– Ах, мое почтение, уважаемый пастор! Вы не бойтесь: он любит это. Я не буду тебя бить, Недди... не бить, что ли?

Осел потряс головою и вздрогнул: может быть, муха опять села на стертое место, которое лишилось уже защиты каштанового листа.

– Я уверен, что ты не желал причинить ему боль, Спротт, сказал пастор, с большею хитростью, чем прямодушием, потому что он применился к твердому и упругому веществу, называемому человеческим сердцем, которое даже в патриархальной среде деревенского быта требует известных уловок, ласки и маленькой лести для того, чтобы можно было употребить успешное посредничество, например, между крестьянином и его ослом: – я уверен, что ты не желал причинить ему боли, заставить страдать его; но у него, бедного, и так уже рана на плече, величиною с мою ладонь.

– Да, в самом деле: это он ссадил себе об ясля в тот день, как я покупал овес, сказал медник.

Доктор Риккабокка поправил очки и взглянул на осла; осел поднял другое ухо и взглянул на доктора Риккабокка.

Пастор имел высокое понятие о мудрости своего друга.

– Скажите и вы чтонибудь в защиту осла, прошептал он.

– Сэр, сказал доктор, обращаясь к мистеру Спротту с почтительным поклоном: – в моем доме, в казино, есть большой котел, который нужно запаять: не можете ли вы мне рекомендовать какого-нибудь медника?

– Что же? это мое дело, сказал Спротт: – у нас в околodge нет другого медника, кроме меня.

– Вы шутите, мой добрый сэр, сказал доктор, ласково улыбаясь. Человек, который не может починить прореху на своем собственном осле, и подавно не унижится до того, чтобы спаивать мой большой котел.

– Государь мой и сэр, сказал медник лукаво: – если бы я знал, что мой бедный Недди приобрел таких высоких покровителей, то стал бы иначе обращаться с ним.

– *Corpo di Vacco!* вскричал доктор: – хотя эта острова и не очень нова, но надо признаться, что медник ловко выпутался из дела.

– Правда; но ослу-то от того не легче! сказал пастор. – Знаете, я бы желал купить его.

– Позвольте мне рассказать вам анекдот по этому случаю, сказал доктор Риккабокка.

– А именно? отвечал пастор вопросительно.

– Однажды, начал Риккабокка: – император Адриан, придя в общественные бани, увидел там старого солдата, служившего под его начальством, который тер себе спину о мраморную стену. Император, который был умен и любопытен, послал за солдатом и спросил его, для чего он прибегает в подобному средству тереть себе спину? «Потому – отвечал солдат – что я слишком беден для того, чтобы нанять банщиков, которые бы терли меня в лежащем положении». Император был тронут и дал ему денег. На другой день, когда император пришел в баню, старики со всего города собрались тут и с ожесточением терлись спинами о стены. Император послал за ними и сделал им такой же вопрос, как и солдату; старые плуты, разумеется, дали такой же ответ, как солдат. «Друзья мои – сказал Адриан – если вас здесь собралось так много, то вы очень можете тереть друг друга». Мистер Дэль, если вы не желаете купить всех ослов в целом графстве, у которых ссажены плечи, то уж лучше не покупайте и осла медника.

– Труднейшая вещь на свете сделать истинное добро, проговорил пастор, и с досады выдернул палку из забора, переломил ее на двое и бросил обломки на дорогу. Осел опустил уши и побрел далее.

– Нутка, трогай (вскричал медник, идя вслед за ослом. Потом, остановившись, он посмотрел на его плечо, и, видя, что взоры пастора грустно устремлены на его *protégé*, он вскричал ему издали: – не бойтесь, почтеннейший пастор, не бойтесь: я не буду бить его.

## Глава V

– Четыре часа! вскричал пастор, посмотрев на часы:– я опоздал уже полу-часом к обеду, а мистрисс Дэль просила меня быть особенно аккуратным, потому что сквайр прислал нам превосходную семгу. Не угодно ли вам, доктор, покушать с нами, как говорится, чем Бог послал?

Доктор Риккабокка, подобно большей части мудрецов, особенно итальянских, не был вовсе доверчивым в отношении к человеческой природе. Он был склонен подозревать своекорыстные интересы в самых простых поступках своего ближнего, и когда пастор пригласил его откушать, он улыбнувшись с некоторого рода гордою снисходительностью, потому что мистрисс Дэль, по отзывам её друзей, была очень слабонервна. А как благовоспитанные лэди редко позволяют разыгрываться своим нервам в присутствии третьего лица не из их семейства, то доктор Риккабокка и заключил, что он приглашен не без особенной цели. Несмотря на то, однако, любя особенно семгу и будучи гораздо добрее, чем можно было бы подумать, судя по его понятиям, он принял приглашение, но сделал это, бросив такой лукавый взгляд поверх своих очков, что заставил покраснеть бедного пастора. Должно быть, Риккабокка угадал на этот раз тайные помышления своего спутника.

Они отправились, перешли маленький мост, переброшенный через ручей, и вошли на двор пасторского жилища. Две собаки, которые, казалось, караулили своего барина, бросились к нему с воем; вслед за тем мистрисс Дэль, с зонтиком в руке, высунулась из окна, выходявшего на лужайку. Теперь я понимаю, читатель, что, в глубине своего сердца, ты смеешься над неведением тайн домашнего очага, обнаруженным автором, и говоришь сам себе: «прекрасное средство: укрощать раздраженные нервы тем, чтобы испортить превосходную рыбу, привести еще неожиданного приятеля есть ее!»

Но, к твоему крайнему стыду и замешательству, узнай, о читатель, что и автор и пастор Дэль были себе на уме, поступая таким образом.

Доктор Риккабокка был особенным любимцем мистрисс Дэль; он был единственное лицо в целом графстве, которое не смущало её своим неожиданным приходом. Действительно, как он ни казался странным с первого взгляда, доктор Риккабокка имел в себе что-то неизяснимо-привлекательное, непонятное для людей одного, с ними пола, но ощутительное для женщин, этим он был обязан своей глубокой и вместе притворной политике в сношениях с ними он смотрел на женщину как на закоренелого врага мужчин, – как на врага, против которого надо употреблять все меры предосторожности, которого надо постоянно обезоруживать всеми возможными видами угодливости и предупредительности. Он обязан был этим отчасти и сострадательной их натуре, потому что женщины непременно начинают любить того, о ком сожалеют без презрения, а бедность доктора Риккабокка, его одинокая жизнь в изгнании добровольном ли, или принужденном, были в состоянии возбудить чувство сострадания; с другой стороны, несмотря на изношенный плащ, красный зонтик, растрепанные волосы, в нем было что-то, особенно когда он начинал говорить с дамами, – что-то напоминавшее приемы дворянина и кавалера, которые более свойственны всякому благовоспитанному итальянцу, какого бы происхождения он ни был, чем самой высшей аристократии всякой другой страны Европы. Потому что хотя я соглашаюсь, что ничто не может быть изысканнее учтивости французского маркиза прошлого столетия, ничего привлекательнее открытого тона благовоспитанного англичанина; ничего более отрадного, чем глубокомысленная доброта патриархального германца, готового забыть о себе, лишь бы оказать вам услугу, – но эти образцы отличных качеств во всех этих нациях составляют исключение, редкость, тогда как приветливость и изящество в манерах составляют принадлежность почти всякого итальянца, кажется, соединили в себе превосходные качества своих предков, украшая образованность Цезаря грацией, свойственную Горацию.

– Доктор Риккабокка был так добр, что согласился откусать с нами, произнес пастор поспешно.

– Если позволите, сказал итальянец, наклонившись над рукой, которая ему была протянута, но которой он не взял, думая что так будет осторожнее.

– Я думаю только, что семга совсем переварилась, начала мистрисс Дэль плачевным голосом.

– Когда обедаешь с мистрисс Дэль, то забываешь о семге, сказал предательски доктор.

– Джемс, кажется, идет доложить, что кушанье подано? спросил пастор.

– Он уже докладывал об этом три-четверти часа тому назад, Чарльз, мой милый, возразила мистрисс Дэль, подав руку доктору Риккабокка.

Пока пастор и его супруга занимают своего гостя, я намерен угостить читателя небольшим трактатом по поводу слов: «милый Чарльз», произнесенных так невыразимо-ласково мистрисс Дэль, – трактатом, написанным в пользу нежных супругов.

Кто-то давно уже сострил, что в целом словаре какого хотите языка нет ни одного слова, которое бы так мало выражало, как слово *милый*, но хотя это выражение опошлилось уже от частого употребления, в нем остаются еще для пытливого исследователя некоторые неизведанные оттенки, особенно когда он обратит внимание на обратный смысл этого коротенького слова.

Никогда, сколько мне случилось узнать по опыту, степень приязни или неприязни, выражаемых им, определяется положением его в известной фразе. Когда, как будто лениво, нехотя, оно ускользает в самый конец периода, как это мы видели во фразе, сказанной мистрисс Дэль, то разликает столько горечи на пути своем, что всегда почти сдабривается улыбкою, придерживаясь правила *amara lento temperet risum*. Иногда подобная улыбка полна сострадания, иногда она по преимуществу лукава. Например:

(*Голосом жалобным и протяжным*)

– Я знаю, Чарльз, что все, что бы я ни сделаю, всегда невпопад, мой милый.

– Ну, что же, Чарльз? я очень довольна, что тебе без меня так весело, мой милый.

– Пожалуйте потише! Если бы ты знал, Чарльз, как у меня болит голова, милый, и пр.

(*С некоторым лукавством*)

– Ты, я думаю, Чарльз, *мог бы* и не проливать чернил на самую лучшую скатерть, мой милый!

– Хоть ты и говоришь, Чарльз, что всегда идешь по прямой дороге, однако не менее других ошибаешься, мой милый, и проч.

При подобной расстановке, могут встречаться милые особы из родственников, точно так же, как и супруги. Например:

– Подними голову; полно упрямитесь, мой милый.

– Будь хоть на один день хорошим мальчиком; ведь это, мой милый... и пр.

Когда недруг останавливается на середине мысли, то и жолчь, выражаемая этою мыслию, приливает ближе к началу. Например:

– В самом деле, я должна тебе сказать, Чарльз, мой милый, что ты из рук вон нетерпелив... и пр.

– И если наши счета, Чарльз, на прошлой неделе не были уплачены, то я желаю знать, милый мой, кто виноват в этом.

– Неужели ты думаешь, Чарльз, что тебе некуда положить свои ноги, мой милый, кроме как на ситцевую софу?

– Ты сам знаешь, Чарльз, что ты, милый, не очень-то заботишься обо мне и о детях, не более... и пр.

Но если это роковое слово является во всей своей первобытной свежести в начале фразы, то преклоните голову и ожидайте бури. Тогда уже ему непременно предшествует величествен-

ное *мой*, тут уже дело не обходится одним упреком или жалобой: тут уже ожидайте длинного увещания. Я считаю себя обязанным заметить, что в этом смысле страшное слово всего чаще употребляется строгими мужьями или вообще лицами, которые играют роль *pater-familias*, главы семейства, признавая цель своей власти не в том, чтобы поддержать мир, любовь и спокойствие семьи, а именно выразить свое значение и право первенства. Например:

– Моя милая Джен, я думаю, что ты могла бы обложить иголку и выслушать меня как должно.... и пр.

– Моя милая Джен, я хочу, чтобы ты поняла меня хоть раз в жизни. Не думай, чтобы я сердился: я только огорчен. рассуди сама.... и пр.

– Моя милая Джен, я не понимаю, намерена, что ли, ты разорить меня совершенно? Я бы желал только, чтобы ты следовала примеру других хороших жен и училась беречь всякую копейку из собственности твоего мужа, который... и пр.

– Моя милая Джен, я думаю, ты убедилась, что никто так не далек от ревности, как я, но я соглашусь быть повешенным, если этот пузатый капитан Преттимэн.... и пр.

## Глава VI

По наступлении прохладного вечера, доктор Риккабокка отправился домой по дороге, пролегавшей полем. Мистер и мистрисс Дэль проводили его до половины дороги, и когда они возвращались теперь к своему дому, то оглядывались от времени до времени назад, чтобы посмотреть на эту высокую, странную фигуру, которая удалялась по извилистой дороге и то пряталась, то выставлялась из за зеленевшихся хлебных колосьев.

– Бедняжка! сказала мистрисс Дэль чувствительно, и бантик, приколотый у неё на груди, приподнялся. – Как жаль, что некому о нем позаботиться! Он смотрит хорошим семьянином. Не правда ли, Чарльз, что для него было бы великим благодеянием, если бы мы приискали ему хорошую жену.

– Мм, сказал пастор: – я не думаю, чтобы он уважал супружество как должно.

– Почему же, Чарльз? Я не видала человека, который был бы так учтив с дамами, как он.

– Так, но....

– Что же? Ты всегда, Чарльз, говоришь так таинственно, мой милый, что ни на что не похоже.

– Таинственно! вовсе нет. Хорошо, что ты не слыхала, как доктор отзывается иногда о женщинах.

– Да, когда вы, мужчины, сойдетесь вместе. Я знаю, что вы рассказываете тогда о вас славные вещи. Но вы ведь все таковы; не правда ли все, мой милый?

– Я знаю только то, отвечал пастор простодушно:– что я обязан иметь хорошее мнение о женщинах, когда думаю о тебе и о моей бедной матери.

Мистрисс Дэль, которая, несмотря на расстройство нервов, все-таки была добрая женщина и любила своего мужа всею силою своего живого, миниатюрного сердечка, была тронута.

Она пожала мужу руку и не называла его *милым* во все продолжение дороги.

Между тем итальянец перешел поле и выбрался на большую дорогу, в двух милях от Гезельдена. На одной стороне тут стояла старая уединенная гостиница, такая, какими были все английские гостиницы, пока не сделались отелями ври железных дорогах – четырех-угольная, прочно выстроенная в старинном вкусе, приветливая и удобная на взгляд, с большой вывеской, колеблющейся на длинном вязовом шесте, длинным рядом стойл сзади, с несколькими возами, стоящими на дворе, и словоохотливым помещиком; рассуждающим об урожае с каким-то толстым фермером, который приворотил свою бурую лошадку к двери знакомой гостиницы. Напротив, по другую сторону дороги, стояло жилище доктора Риккабокка.

За несколько лет до описанных нами происшествий, почтовый дилижанс, на пути от одного из портовых городов в Лондон, остановился, по обыкновению, у этой гостиницы, на целый час, с тем, чтобы пассажиры могли пообедать как добрые, истые англичане, а не принуждены бы была проглатывать одним разом тарелку горячего супу, как заморские янки<sup>3</sup>, при первом свистке, который раздастся в их ушах, точно крик нападающего неприятеля. Это была лучшая обеденная стоянка на целой дороге, потому что семга из соседней реки была превосходна, бараны Гэзельден-парка славились во всем околдке.

С крыши дилижанса сошли двое путешественников, которые одни лишь, пребыли нечувствительны к прелестям барана и семги и отказались от обеда: это были, меланхолического вида, чужестранцы, из которых один был синьор Риккабокка, точь-в-точь такой же, каким мы его видели теперь; только плащ его не был так истаскан, стан не так худ, и он не носил еще очков. Другой был его слуга. Покуда дилижанс переменил лошадей, они стали бродить по окрестности. Глаза итальянца были привлечены разрушенным домом без крыши, на другой

---

<sup>3</sup> Так англичане в насмешку величают американцев.

стороне дороги, который, впрочем, как видно, был выстроен довольно роскошно. За домом возвышался зеленый холм, склонявшийся к югу; с искусственной скалы тут падал каскад. При доме были терраса с перилами, разбитыми урнами и статуями перед портиком в ионическом вкусе; на дорогу прибита была доска с изгладившеюся почти надписью, объяснявшею, что дом отдается в наймы, без мебели, с землею, или и без земли.

Жилище, которое представляло такой печальный вид, и которое так давно было в совершенном забросе, принадлежало сквайру Гэзельдену.

Оно было построено его прадедом по женской линии, помещиком, который ездил в Италию (путешествие, которого примеры в эту пору довольно редки) и по возвращении домой вздумал выстроить в миниатюре итальянскую виллу. Он оставил одну дочь, свою единственную наследницу, которая вышла замуж за отца известного нам сквайра Гэзельдена; и с этого времени дом, оставленный своими владельцами для более просторного жилища, пребывал в запустении и пренебрежения. Некоторые охотники вызывались было его нанять, но сквайр не решался пустить на свою территорию опасного соседа. Если являлись любители стрельбы, Гэзельден не хотел и начинать с ними дела, потому что сами дорожили дичиной и непроходимыми болотами. Если являлись светские люди из Лондона, Гэзельден опасались, чтобы лондонские слуги не испортили их слуг и не произвели возвышения в ценах на съестные припасы. Являлись и фабриканты, прекратившие свои дела, но Гэзельден слишком высоко поднимали свои агрономические носы. Одним словом, одни были слишком важны, другие слишком незначительны. Некоторым отказывали потому, что слишком коротко были с ними знакомы. Друзья обыкновенно кажутся лучше на некотором расстоянии» – говорили Гэзельден. Иным отказывали потому, что вовсе не знали их, говоря, что от чужого нечего ожидать доброго. Таким образом, дом стоял пустой и все более и более приходил в разрушение. Теперь на его террасе стояли два забредшие итальянца, осматривая его с улыбкою со всех сторон, так как в первый раз еще после того, как они вступили на английскую землю, они узнали в полуразрушенных пилястрах, развалившихся статуях, поросшей травой террасе и остатках орранжереи хотя бледное, но все-таки подобие того, что красовалось в их родной стране, далеко оставшейся у них позади.

Возвратясь в гостиницу, доктор Риккабокка воспользовался случаем узнать от содержателя её, который был прикащиком сквайра, некоторые подробности об этом доме.

Несколько дней спустя после того, мистер Гэзельден получает письмо от одного из известных лондонских комиссионеров, объясняющее, что очень почтенный иностранный джентльмен поручил ему договориться насчет дома в итальянском вкусе, называемого *casino*, который он желает нанять; что помянутый джентльмен не стреляет, живет очень уединенно и, не имея семейства, не нуждается в поправке своего жилища, исключая лишь крыши, которую и он признает необходимою, и что, за устранением всех побочных расходов, он полагает, что наемная плата будет соответствовать его финансовому состоянию, которое очень ограничено. Предложение пришло в счастливую минуту, именно тогда, когда управляющий представил сквайру о необходимости сделать некоторые починки в *casino*, чтобы не допустить его до совершенного разрушения, а сквайр проклинал судьбу, что *casino* должен был перейти к старшему в роде и потому не мог быть сломан или продан. Мистер Гэзельден принял предложение подобно одной прекрасной лэди, которая отказывала самым лучшим женихам в королевстве и наконец вышла за какого-то дряхлого капитана готового поступит в богадельню, – и отвечал, что, что касается до платы, то, если будущий жилец его действительно почтенный человек, он согласен на всякую уступку; что на первый год джентльмен может вовсе избавиться от платы, с условием очистить пошрины и привести строение в некоторый порядок; что если они сойдутся, то можно и назначить срок переезда. Через десять дней после этого любовного ответа, синьор Риккабокка и слуга его приехали; а прежде истечения года сквайр так полюбил своего жильца, что дал ему льготу от платежа на семь, четырнадцать или даже двадцать слиш-

ком лет, с условием, что синьор Риккабокка будет чинить строение и вставит в иных местах железные решетки в забор, который он поправит за свой счет; Удивительно, как мало по малу итальянец сделал из этой развалины красивый домик и как дешево стоили ему все поправки. Он выкрасил сам стены в зале, лестницу и свои собственные апартаменты. Слуга его обивал стены и мебель. Оба они занялись и садом; впоследствии душевно привязались к своему жилищу и лелеяли его.

Нескоро, впрочем, окрестные жители привыкли к непонятным обычаям чужестранцев. Первое, что удивляло их, была необыкновенная умеренность в выборе провизии. Три дня в неделю и господин и слуга обедали только овощи из своего огорода и рыбу из соседней речки; когда не попадалась семга, они довольствовались и пискарями (а разумеется, во всех больших и малых реках пискари попадают легче, чем семга). Второе, что не нравилось соседним крестьянам, в особенности прекрасной половине жителей, это то, что оба итальянца чрезвычайно мало нуждались в женской прислуге, которая обыкновенно считается необходимою в домашнем быту. Сначала у них вовсе не было женщины в доме. Но это произвело такое волнение в околдке, что пастор Дэл дал на этот счет совет Риккабокка, который вслед за тем нанял какую-то старуху, поторговавшись, впрочем, довольно долго, за три шиллинга в неделю – мыть и чистить все сколько ей угодно, в продолжении дня. Ва ночь она обыкновенно возвращалась к себе домой. Слуга, которого соседи звали Джакеймо, делал все для своего господина: мел его комнаты, обтирал пыль с бумаг, варил ему кофей, готовил обед, чистил платье и трубки, которых у Риккабокка была большая коллекция. Но как бы ни был скрытен характер человека, он всегда выкажется в какой нибудь мелочи; таким образом, в некоторых случаях итальянец являл в себе примеры ласковости, снисхождения и даже, хотя очень редко, некоторой щедрости, что и заставило молчать его клеветников. Исподволь он приобрел себе прекрасную репутацию – хотя и подозревали, сказать правду, что он склонен заниматься черной магией, что он морит себя и слугу голодом; но во всех других отношениях он считался смирным, покойным человеком.

Синьор Риккабокка, как мы уже видели, был очень короток в доме пастора, – в доме сквайра – не в такой степени. Хотя сквайр и желал жить в дружбе с своими соседями, но он был чрезмерно вспыльчив. Риккабокка всегда, очень учтиво, но вместе и упорно, отказывался от приглашений мистера Гэзельдена к обеду, и когда сквайр узнал, что итальянец соглашался иногда обедать у пастора, то был затронут за самую слабую струну своего сердца, считая это нарушением уважения к гостеприимству дома Гэзельденов, а, потому и прекратил свои приглашения. Но как сквайр, несмотря на свою вспыльчивость, не умел сердиться, то от времени до времени напоминал Риккабокка о своем существовании, принося ему в подарок дичь; впрочем, Риккабокка принимал его с такою изысканною вежливостью, что провинциальный джентльмен конфузился, терялся и говорил обыкновенно, что к Риккабокка ездить так же мудрено, как ко двору.

Но я оставил доктора Риккабокка на большой дороге. Он вышел за тем на узкую тропинку, извивавшуюся, около каскада, прошел между трельяжами, увешенными виноградными лозами, из которых Джакеймо приготовлял так называемое им вино – жидкость, которая, если бы холера была общеизвестна в то время, показалась бы самым действительным лекарством; потому что сквайр Гэзельден хотя и был плотный джентльмен, уничтожавший безнаказанно ежедневно по бутылке портвейна, – но, попробовав раз этой жидкости, долго не мог опомниться и пришел в себя только при помощи микстуры, прописанной по рецепту, длиною в его руку. Пройдя мимо трельяжа, доктор Риккабокка поднялся на террасу, выложенную камнем так тщательно и красиво, как только можно было сделать при усиленном труде и внимании. Здесь, на красивых скамьях, расставлены были его любимые цветы. Здесь были четыре померанцовые деревья в полном цвету; вблизи, возвышался род детского дома или бельведера, построенный самим доктором и его слугою и бывший его любимую комнатой, по утрам, с мая

по октябрь. Из этого бельведера расстился удивительный вид на окрестность, за которой гостеприимная английская природа, как будто с намерением, собрала все свои сокровища, чтобы веселить взоры пришлого изгнанника.

Человек без сюртука, который был помещен на балюстрад, поливал в это время цветы, – человек с движениями до такой степени механическими, с лицом до того строгим и важным, при смуглом его оттенке, что он казался автоматом, сделанным из красного дерева.

– Джакомо! сказал доктор Риккабокка, тихо.

Автомат остановился и повернул голову.

– Поставь лейку и поди сюда, продолжал он по итальянски и, подойдя к балюстраду, оперся за него.

Мистер Митфорд, историк, называет Жан-Жака *Джемс*. Следуя этому непреложному примеру, Джакомо был переименован в Джакеймо.

Джакеймо также подошел к балюстраду и встал несколько позади своего господина.

– Друг мой, сказал Риккабокка: – предприятия наши не всегда удаются вам. Не думаешь ли ты, что нанимать эти поля у помещика значит испытывать только по напрасну судьбу?

Джакеймо перекрестился и сделал какое-то странное движение маленьким коралловым амулетом, который был обделан в виде кольца и надет у него на пальце.

– Может быть, Бог пошлет нам счастья и мы дешево найдем работника, сказал Джакеймо, недоверчивым голосом.

– *Piu vale un presente che due futuri* – не сули журавля в небе, и дай синицу в руки, сказал Риккабокка.

– *Chi non fa quando può, non può fare quando vuole* – спустя лето, нечего идти по малину, отвечал Джакеймо, так же, как и господин его, в виде сентенции. – Синьор должен подумать о том времени, когда ему придется дать приданое бедной синьорине.

Риккабокка вздохнул и не отвечал ничего.

– Она должна быть теперь вот такая, оказал Джакеймо, держа руку несколько выше балюстрада.

Глаза Риккабокка, смотря через очки, следовали за рукою слуги.

– Если бы синьор хоть посмотрел на нее здесь...

– Хорошо бы было, пробормотал итальянец.

– Он уже не отпустил бы ее от себя, до тех пор, как она вышла бы замуж, продолжал Джакеймо.

– Но этот климат – она не вынесла бы его, сказал Риккабокка, надевая на себя плащ, потому что северный ветер подул на него сзади.

– Померанцы цветут же здесь при надзоре, сказал Джакеймо, опуская раму с той стороны померанцевых деревьев, которая обращена была к северу. – Посмотрите! продолжал он, показывая ветку, на которой развивалась почка.

Доктор Риккабокка наклонился над цветком, потом спрятал его у себя на груди.

– *Другой* бутон скоро будет тут же, рядом, сказал Джакеймо.

– Для того чтобы умереть, как уже умер его предшественник! отвечал Риккабокка. – Полно об этом.

Джакеймо пожал плечами, потом, взглянув на своего господина, поднес руку к глазам.

Прошло несколько минут в молчании. Джакеймо первый прервал его.

– Но, здесь, или там, красота без денег то же, что померанец без покрова. Если бы нанять дешево работника, я снял бы землю и возложил бы всю надежду на Бога.

– Мне кажется, у меня есть на примете мальчик, сказал Риккабокка, придя в себя и показав едва заметную сардоническую улыбку на губах: – парень, как будто нарочно сделанный для нас.

– Кто же такой?

– Видишь ли, друг мой, сегодня я встретил мальчика, который отказался от шестипенсовой монеты.

– *Cosa stupenda* – удивительная вещь! произнес Джакеймо, вытаращив глаза и выронив из рук лейку.

– Это правда сущая, мой друг.

– Возьмите его, синьор, – именем Феба, возьмите, – и наше поле принесет нам кучу золота.

– Я подумаю об этом, потому что нужно ловко заманить этого мальчика, сказал Рикка-бокка. – А между тем, зажги свечи у меня в кабинете и принеси мне из спальни большой фолиант Макиавелли.

## Глава VII

В настоящей главе я представлю сквайра Гэзельдена в патриархальном быту, – конечно, не под смоковницею, которой он не насаждал, но перед зданием приходской колоды, которое он перестроил. Сквайр Гэзельден и его семейство на зеленеющем фоне деревни – что может быть привлекательнее! Полотно совсем готово и ожидает только красок. Предварительно я должен, впрочем, бросить взгляд на предыдущие происшествия, чтобы показать читателю, что в семействе Гэзельден есть такая особа, с которою он, может быть, и не встретится в деревне. – Наш сквайр лишился отца, будучи двух лет от роду; его мать была прекрасна собой; состояние её было не менее прекрасно. По истечении года траура, она вышла вторично замуж, и выбор её пал при этом на полковника Эджертона. Сильно было удивление Пэлли-Мэлла и глубоко сожаление парка Лэна, когда эта знаменитая личность снизошла до звания супруга. Но полковник Эджертон не был только лишь красивою бабочкой: он обладал и предупредительным инстинктом, свойственным пчеле. Молодость улетела от него и увлекла в своем полете много существенного из его имущества; он увидал, что наступает время, когда домашний уголок, с помощницей, способной поддержать в этом уголке порядок, вполне соответствовал бы его понятиям о комфорте, и что яркий огонь, разведенный в камине в ненастный вечер, сделал бы большую пользу его здоровью. Среди одного из сезонов в Брайтоне, куда он сопровождал принца валлийского, он увидал какую-то вдову, которая хотя и носила траурное платье, но не казалась безутешною. её наружность удовлетворяла требованиям его вкуса; слухи об её приданом располагали в её пользу и рассудок его. Он решился начать действовать и, ухаживая за нею очень недолго, привел намерение свое к счастливому результату. Покойный мистер Гэзельден до такой степени предчувствовал вторичное замужество своей жены, что распорядился в своем духовном завещании, чтобы опека над его наследником, в подобном случае, передана была от матери двум сквайрам, которых он избрал своими душеприказчиками. Это обстоятельство, в соединении с новыми брачными узами утешенной вдовы, послужило, некоторым образом, к отдалению её от залога первой любви, и когда она родила сына от полковника Эджертона, то сосредоточила на этом ребенке всю свою материнскую нежность. Уильям Гэзельден был послан своими опекунами в одну из лучших провинциальных академий, в которой, с незапамятных времен, воспитывались и его предки. Сначала он проводил праздники с мистрисс Эджертон; но так как она жила то в Лондоне, то ездила с своим мужем в Брайтон, чтобы пользоваться удовольствиями Павильона, то Уильям, который между тем подрос, оказывая неудержимое влечение к деревенской жизни, тогда как его неловкость и резкия манеры заставляли краснеть мистрисс Эджертон, сделавшуюся особенно взыскательною в этом отношении, – выпросил позволение проводить каникулярное время или у своих опекунов, или в старом отцовском доме. Потом он поступил в коллегиум в Кембридже, основанный, в XV столетии, одним из предков Гэзельденов, и, достигнув совершеннолетия, оставил его, не получив, впрочем, степени. Несколько лет спустя, он женился на молодой лэди, также деревенской жительнице и сходной с ним по воспитанию.

Между тем его единоутробный брат, Одлей Эджертон, начал посвящаться в таинства большего света, не успев еще окончательно распрощаться с своими игрушками; в детстве он сиживал зачастую на коленях у герцогинь и скакал по комнатам верхом на палках посланников. Дело в том, что полковник Эджертон не только имел сильные связи, не только был одним из *Dii majores* большего света, но пользовался редким счастьем быть популярным между всеми людьми, знавшими его; он был до такой степени популярен, что даже лэди, в которых он некогда был влюблен и которых потом оставил, простили ему брак и сохранили к нему прежнюю дружбу, как будто он не был вовсе женат. Люди, слышавшие в общем мнении за бездушных, некогда не тяготились сделать всякую любезность Эджертоном. Когда наступило время Одлею

оставить приготовительную школу в которой он развивался из здоровой почки в пышный цветок, и перейти в Итон<sup>4</sup>, начальство и товарищи дали о нем самый лестный отзыв. Мальчик скоро показал, что он не только наследовал отцовскую способность приобретать популярность, но к этой способности присоединял талант навлекать из неё существенные выгоды. Не отличавшись никакими особенными познаниями, он, однако, составил о себе в Итоне самую заводную репутацию, какой только позволительно добиваться в его лета – репутацию мальчика, который произведет что побудь замечательное, сделавшись человеком. Будучи студентом богословского факультета в Оксфорде, он продолжал поддерживать эту сладкую надежду, и хотя не получал премий и при выходе был удостоен очень обыкновенной степени, однако, это еще более убедило членов университета, что питомцу их предназначена блестящая карьера государственного человека.

Когда еще он был в университете, родители его умерли, один вслед за другим. Достигнув совершеннолетия, он предъявил свои права на отцовское наследство, которое считалось очень значительным, и которое действительно когда-то было довольно велико; но полковник Эджертон был человек слишком расточительный для того, чтобы обогатить наследника, и теперь осталось около 1,500 фунтов стерлингов годового дохода от имения, приносившего прежде до десяти тысяч фунтов ежегодно.

Впрочем, Одлея все считали богатым, а сам он был далек от того, чтобы уничтожить эту благоприятную молву признаком собственной несостоятельности. Лишь только он вступил в лондонский свет, как все клубы приняли его с распростертыми объятиями, и он проснулся, в одно прекрасное утро, если не знаменитым, то по крайней мере вполне светским человеком. К этой изящной светскости он присоединил некоторую дозу значительности и важности, стараясь сходитьсь с государственными людьми и занимающимися политикою лэди и утвердил всех во мнении, что он был рожден для великих дел.

Теперь самым близким, искренним другом его был лорд л'Эстрендж, с которым он был неразлучен еще в Итоне, и в то время, как Одлей приводил Лондон лишь в восторг, л'Эстрендж восхищал общество до исступления: Гэрлей лорд л'Эстрендж был единственный сын графа лансмерского, владельца большего состояния и породнившегося с знатнейшими и могущественнейшими фамилиями в Англии. Впрочем, лорд Лансмер был не очень известен в Лондоне обществом. Он жил большею частью в своих имениях, занимаясь делами по хозяйственному управлению, и очень редко приезжал в столицу; все это позволяло ему давать большие средства к жизни сыну, когда Гэрлей, будучи шестнадцати лет, и достигнув шестого класса в школе, вышел оттуда и поступил в один из гвардейских полков. Никто не знал, что делать с Гэрлеем л'Эстренджем: потому-то, может быть, им так и занимались. Он был самым блестящим воспитанником в Итоне – не только гордостью гимнастической залы, но и классной комнаты; однако, при этом в нем было столько странностей и неприятных выходок, награды же, полученные им за успехи, доставались ему, по видимому, так легко, без малейшего прилежания и усидчивости, что он не заставлял ожидать от себя столь многого, как его друг Одлей Эджертон. Его странности, оригинальность выражений и самые неожиданные выходки так же заметны была в большом свете, как некогда в тесной сфере школы. Он был остер, без всякого сомнения; и что его остроумие было высокого полета, это доказывали не только оригинальность, но и независимость его характера. Он ослеплял свет, вовсе не заботясь о своем триумфе и об общественном мнении, – ослеплял потому, что не умел блеснуть в меру. Молодость и странные понятия всегда идут рука об руку. Я не знаю, что думал Гэрлей л'Эстрендж, но знаю, что в Лондоне не было молодого человека, который бы менее заботился о том, что он наследник знатного имени и сорока-пяти тысяч фунтов годового дохода.

---

<sup>4</sup> Одно из лучших в Лондоне учебных заведений.

Отец его желал, чтобы, когда Гэрлэй достигнет совершеннолетия, он был депутатом местечка Лансмер. Но это желание никогда не осуществилось. В то самое время, как молодому лондонскому идолу оставалось только два или три года до совершеннолетия, в нем явилась новая странность. Он совершенно удалился от общества: оставил без ответа самонужнейшие треугольные записочки, заключающие в себе разного рода вопросы и приглашения, – записочки, которые необходимо покрывают письменный стол всякого модника; он редко стал показываться в кругу своих прежних знакомых, и если где нибудь его встречали, то или одного, или вместе с Эджертоном; его веселость, казалось, совсем оставила его. Глубокая меланхолия была начертана на его лице и выражалась в едва слышных звуках его голоса. В это время гвардия покрывала себя славою в военных действиях на полуострове, но батальон, к которому принадлежал Гэрлей, остался дома. Неизвестно, соскучившись ли бездействием, или из славоблюбия, молодой лорд вдруг перешел в кавалерийский полк, который в одной из жарких схваток потерял половину офицеров. Перед самым его отъездом, открылась вакансия для депутата за Лэнсмеров, но он отвечал на просьбы отца по этому предмету, что их семейные интересы могут быть предоставлены попечениям его друга Эджертова, приехал в Парк проститься с своими родителями, а вслед за ним явился Эджертон отрекомендоваться избирателям. Это посещение было важною эпохой для многих лиц моей повести; но пока я ограничусь замечанием, что при самом начале выборов случились обстоятельства, вследствие которых л'Эстрендж и Одлей должны были удалиться с поприща общественной деятельности, а потом последний написал лорду Лэнсмеру, что он соглашается принять звание депутата. К счастью для карьеры Одлея Эджертона, выборы представляли для лорда Лэнсмера не только общественное значение, но тесно связаны были с его собственными интересами. Он решился, чтобы даже, при отсутствии кандидата, борьба продолжалась до последней крайности, хотя бы на его счет. Потому все дело выборов ведено было так, что противниками интересов Лонсмеров являлись представители той или другой из враждующих фамилий в графстве; а так как сам граф был гостеприимный, любезный человек, очень уважаемый всем соседним дворянством, то и кандидаты даже противной стороны всегда наполняли свои речи выпрепными похвалами благородному характеру лорда Лэнсмера и учтивостями в отношении к его кандидатам. Но, благодаря постоянной перемене должностей, одна из враждебных фамилий уклонилась от выборов, и представители её приняли звание адвокатов; глаза другой фамилии был избран членом Палаты, и так как настоящие его интересы были неразрывны с интересами Лэнсмеров, то он и пребыл нейтральным в той мере, в какой это возможно при борьбе страстей. Судя по этому, все были уверены, что Эджертон будет избран без оппозиции, когда, вслед за отъездом его куда то, объявление, подписанное «Гэвервилль, Дэшмор, капитан Р. И., Бэкер-Стрит, Портмен-Сквэр», извещало в довольно сильных выражениях, что этот джентльмен намерен освободить кандидатуру от непоследовательной власти олигархической партии, не столько из видов собственного своего политического возвышения, так как подобная протестация всегда влечет за собой ущерб личному интересу, но единственно из патриотического желания сообщить выборам должную законность.

За этим объявлением через два часа явился и сам капитан Дэшмор, в карете четверней, с жолтыми бантиками к хвостам и гривам лошадей. Внутри и снаружи этой кареты сидели какие-то сорванцы, по видимому, друзья его, которые, вероятно, приехали с целию помочь ему в трудах и разделить с ним удовольствия.

Капитан Дэшмор был когда-то моряком, но возымел отвращение к этому званию с тех пор, как племянник одного министра получил под команду корабль, на который капитан считал права свои неоспоримыми. По этой же причине он не слушался приказаний, которые присылались ему от начальства, руководствуясь примером Нельсона; но при этом случае непослушание не оправдалось таким успехом, как это было с Нельсоном, и капитан Дэшмор должен был считать себя вполне счастливым, что избежал более строгого наказания, чем отказ в повы-

шении. Но правду говорится, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Выйдя в отставку и видя себя совершенно неожиданно обладателем наследства в сорок или пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, предоставленных ему каким-то дальним родственником, капитан Дэшмор возымел непреодолимое желание поступить в Парламент и, при помощи своего ораторского таланта, принять участие в администрации.

В несколько часов наш моряк выказался самым отчаянным говоруном, самым сильным действователем, на случай выборов во мнении простодушных и доверчивых жителей местечка. Правда, что он говорил такую бессмыслицу, какой, может быть, сроду никому не удавалось слышать, но зато его выходки так были размашисты, манеры так открыты, голос так звучен, что в эти патриархальные времена он был в состоянии загонять хоть какого философа. Кроме того, капитан Дэшмор звал всякий день большое общество к себе обедать, и тут, махая своим кошельком в воздухе, объявлял во всеуслышание, что он до тех пор будет стрелять, пока у него останется хотя один патрон в лядунке. До тех пор было мало различия в политическом отношении между кандидатом, поддерживаемым интересами лорда Лэнсмера, и кандидатом противной стороны, потому что помещики того времени были почти все одного и того же образа мыслей, и вопрос административный, подобно настоящему, имел для них чисто местное значение: он состоял лишь в том, пересилит или нет фамилия Лэнсмеров две другие значительные фамилии, которые до тех пор придерживались оппозиции. Хотя капитан был в самом деле очень хороший человек и слишком опытный моряк для того, чтобы думать, что государство – которое., согласно общепринятой метафоре, уподобляется кораблю *par excellence* – станет терпеть кого ни попало у себя на шканцах, но он привык более руководствоваться в поступках жолчными побуждениями своего характера, чем голосом рассудка, испытывая в то же время над собою одуряющее свойство своего собственного красноречия. Таким образом, чувствуя себя так же мало способным к проискам, как и к тому, чтобы зажечь Темзу, по своим речам он показался бы, однако, всякому отчаянным человеком. Точно таким же образом, не привыкнув уважать своих противников, он обращался с графом Лэнсмером слишком непочтительно. Он обыкновенно называл этого почтенного джентльмена «старой дрязгой»; мэра, который хвастался своими миниатюрными ножками, он прозвал «лучинкой», а прокурора, который был сложен довольно прочно – «кряжем». После этого понятно, что выборы должны были служить только для удовлетворения частных интересов известных лиц, и дело принимало между тем такой оборот, что граф Лэнсмер начинал бояться за успех своих предположений. Пришлец из Бэкер-Стрита, с своею необыкновенною дерзостью, показался ему существом страшным, зловещим, – существом, на которое он смотрел с суеверною боязнью: он ощущал то же, что многоуважаемый Монтецума, когда Кортес, с толпой испанцев, схватил его, среди его собственной столицы, в виду мексиканского блеска и великолепия двора. «Самим богам придется плохо, если люди будут так дерзки», говорили мексиканцы про Кортеса; «общество погибнет, если пришлец из Бэкер-Стрита заступит место Лэнсмера», говорили принимавшие участие в выборах местные джентльмены. Во время отсутствия Одлея выборы представлялись в самом неблагоприятном виде, и капитан Дэшмор с каждым шагом все более и более приближался к своей цели, когда адвокат Лэнсмера напомнил ему, что есть в виду довольно сильный ходатай за отсутствующего кандидата. Сквайр Гэзельден, с своею молодою женою, еще прежде согласились на кандидатуру Одлея, а в сквайре адвокат видел единственного смертного, который был в состоянии тягаться с моряком. Вообще, на то, чтобы защищать пользы местного дворянства, чтобы уметь в случае нужды произнести речь чрез открытое окно, с высоты скамьи, бочки, балкона или даже крыши на доме, сквайр имел даже более способностей, более представительности и сановитости, чем сам баловень Лондона Одлей Эджертон.

Сквайр, к которому пристали со всех сторон с просьбами по этому предмету, сначала ответил резко, что он согласен сделать чтонибудь в пользу своего брата, но что не желал бы, с своей стороны, даже при выборах, показаться клиентом лорда, кроме того, что если бы ему

пришлось отвечать за брата, то каким образом он обяжется от его имени быть блюстителем пользы и верным слугою своего края, каким образом он докажет, что Одлей, поступив в Палату, не забудет о своем сословии, а тогда он, Уильям Гэзельден, будет назван лжецом и переметной сумой.

Но когда эти сомнения и затруднения были устранены убеждениями джентльменов и просьбами лэди, которые принимали в выборах такое же участие, какое эти прелестные существа принимают во всем, представляющем материал для спора, сквайр согласился наконец выступить против жителя Бэкер-Стрита и принялся за это дело от всего сердца и с тем добродушием старого англичанина, которое он оказывал при всяком роде деятельности, серьезно занимавшей его.

Предположения насчет общественных выборов, основанные на способностях сквайра, вполне оправдались. Он говорил обыкновенно такую же околесицу как и капитан Дэшмор, обо всем, исключая, впрочем, интересов своего края, своего имения: тут он являлся великим, потому что знал этот предмет хорошо, знал его по инстинкту, приобретаемому практикою, в сравнении с которою все наши выпренния теории не что иное, как паутина илинутренний туман.

Представители помещичьего сословия, долженствовавшие подавать голоса, не были в зависимости от лорда Лэнсмера и занимали даже общественные должности; они сначала готовы были хвалиться своим обеспеченным положением и идти против лорда, но не смели противостоять тому, кто имел такое сильное влияние на их поземельные интересы. Они начали переходить на сторону графа против жителя Бэкер-Стрита; и с этих пор эти толстые агрономы, с ногами, бывшими в обхвате таких же обширных размеров, как все туловище капитана Дэшмора, и с страшными бичами в руках, стали расхаживать по лавкам и *пугать избирателей*, как капитан говорил в припадках негодования. Эти новые приверженцы сделали большую разницу в количестве голосов той и другой стороны, и когда день балотировки наступил, то вопрос оказался уже окончательно решенным. После самой отчаянной борьбы, мистер Одлей Эджертон пересилил капитана двумя голосами. Имена подавших эти два лишние голоса, решившие спор, были: Джон Эвенель, местный фермер, и его зять, Марк Ферфилд, который поселился в имении Гэзельдена, где он занимал должность главного плотника.

Эти два голоса даны были совершенно неожиданно, потому что хотя Марк Ферфилд и готов был держать сторону Лэнсмера, или, что-тоже, сторону брата сквайра, и хотя Эвенель был всегдашним защитником интересов Лэнсмеров, но ужасное несчастье, о котором я до сих пор умолчал, не желая начинать свою повесть печальными картинами, поразило их обоих, и они уехали из города именно в тот день, когда лорд л'Эстрендж и мистер Эджертон отправились из Лэнснер-Парка. В каком сильном восторге ни был сквайр, как главный действующий и как брат, при торжестве мистера Эджертона, восторг этот значительно затих, когда, выходя из за обеда, данного в честь победы Лэнсмеров, и шествуя не совсем твердою поступью в карету, которая должна была везти его домой, он получил письмо из рук одного из джентльменов, которые сопровождали капитана на его общественном поприще; содержание этого письма, а равно и несколько слов, произнесенных тихо подателем его, доставили сквайра к мистрисс Гэзельден далеко в более трезвом состоянии, чем она надеялась. Дело в том, что в самый день избрания капитан почтил мистера Гэзельдена некоторыми поэтическими и аллегорическими прозваниями, как-то: «племянный бык», а ненасытный вампир» и «безвкуснейшая оладья», на что сквайр отвечал, что капитан не что иное, как «морской соленый боров»; капитан, подобно всем сатирикам, будучи обидчивым и щекотливым, не считал для себя особенно лестным получить название «морского соленого борова» от «племянного быка» и «ненасытного вампира». Письмо, принесенное, теперь к мистеру Гэзельдену джентльменом, который, принадлежа к противной стороне, считался самым жарким приверженцем капитана, заключало в себе ни более, ни менее, как вызов за дуэль; и податель, кроме того, с очаровательною учти-

востью, требуемую этикетом при этих случаях, присовокуплял подробные сведения о месте, назначенном для поединка, в окрестностях Лондона, чтобы избежать неприятного вмешательства подозрительных Лэнсмеров.

Французы, по видимому, очень мало размышляли о дуэлях. Может быть, поэтому они и преданы им всею душою. Но для истого англичанина – будь он Гэзельден или не Гэзельден – нет ничего ужаснее, отвратительнее дуэли. Она не входит в разряд обыкновенных мыслей и обычаев англичанина. Англичанин скорее пойдет судиться перед законом, который наказывает еще строже дуэли. За всем тем, если англичанин должен драться, он будет драться. Он говорит: «это очень глупо», он уверен, что это бесчеловечно, он соглашается со всем, что сказано было на этот счет философами, проповедниками и печатными книгами, и в то же время идет драться как какойнибудь гладиатор.

Впрочем, сквайр не имел привычки теряться в неприятных случаях. На другой же день, под предлогом, что ему нужно купить крупных гвоздей в Тэттер-Солле, он отправился на самом деле в Лондон, простившись особенно нежно с своею женой. Сквайр был уверен, что он иначе не возвратится домой, как в гробу. «Несомненно – говорил он сам себе – что человек, который стрелял всю свою жизнь, с тех пор, как надел куртку мичмана, несомненно, что он нелегко на руку и в поединке. Я бы еще ничего не сказал, если бы это были ментонские двуствольные пистолеты с маленькими пулями, а то у него чуть не ружья; это несовместно ни с достоинством человека, ни с понятиями охотника!»

Однако, сквайр, отложив в сторону все житейские попечения и отыскав какого-то старого приятеля по коллегиям, уговорил его быть своим секундантом, и отправился в скрытый угол Уимблдон-Конмона, назначенный местом дуэли. Там он стал перед своим противником, ее в боковом положении – каковое положение он считал уловкою труса – а всею шириною своей груди, прямо под дуло пистолета, с таким невозмутимым хладнокровием на лице, что капитан Дэшмор, который был превосходный стрелок, но в то же время и добрейший человек, выразил свое одобрение такому беспримерному мужеству тем, что, всадив пулю своему противнику в мягкое место плеча, объявил себя окончательно удовлетворенным. Противники пожали друг другу руки, произнесли взаимные объяснения, и сквайр, не придя в себя от удивления, что он еще жив, был привезен в Диммер-Отель, где, после значительных, впрочем, хлопот, пуля была вынута и рана залечена. Теперь все прошло, и сквайр чрез это много возвысился в своих собственных глазах; в веселом или особенно гневном расположении духа, он не переставал с удовольствием вспоминать об этом происшествии. Кроме того, будучи убеждав, что брат обязан ему лично чрезвычайно многим, что он доставил Одлею доступ в Парламент и защищал его интересы с опасностью собственной жизни он считал себя в полном праве предписывать этому джентльмену, как поступать во всех случаях, касающихся дел дворянства. И когда, немного спустя после того, как Одлей занял место в Парламенте – что случилось лишь по прошествии нескольких месяцев – он стал подавать мнения и голоса несообразно с ожиданиями сквайра на этот счет, сквайр написал ему такой нагоняй, который не мог остаться без дерзкого ответа. Вслед за тем, негодование сквайра достигло высшей степени, потому что, проходя, в базарный день, по имению Лэнсмера, он слышал насмешки со стороны тех самых фермеров, которых он убеждал прежде стоять за брата; и, приписывая причину всего этого Одлею, он не мог слышать имя этого изменника родным интересам без того, чтобы не измениться в лице и не выразить своего негодования в потоке бранных слов. Г. де-Рюквилль, который был величайший современный остряк, имел также брата от другого отца и был с ним не совсем в хороших отношениях. Говоря об этом брате, он называл его *frère de loin*. Одлей Эджертон был для сквайра Газельдена таким же *отдаленным братцем*... Но довольно этих объяснительных подробностей: возвратимся к нашему повествованию.

## Глава VIII

Плотники сквайра были взяты от работы за забором парка и принялись за переделку приходской колоды. Потом явился живописец и разделал ее прекрасною синею краской, с белыми каймами по углам, белыми же полосками около дверей и окон и с изображением великолепных букетов посредине.

Это было самое красивое здание в целой деревне, хотя деревня обладала еще тремя памятниками архитектурного гения Гэзельденов, а именно: лечебницей, школой и приходским пожарным дэпо.

Никогда еще более изящное, привлекательное и затейливое здание не услаждало взоров окружного начальства.

И сквайр Гэзельден наслаждался не менее других. С чувством самодовольствия, он привел всю свою семью смотреть на здание приходской колоды. Семейство сквайра (исключая *отдаленного брата*) состояло из мистрисс Гэзельден – жены его, мисс Джемимы Гэзельден – его кузины, мистера Френсиса Гэзельдена – его единственного сына, и капитана Бернэбеса Гиджинботэма – дальнего родственника, который, собственно говоря, не принадлежал к их семейству, а проводил с ними по десяти месяцев в году.

Мистрисс Гэзельден была во всех отношениях настоящая лэди – лэди, пользующаяся известным значением в целом приходе. На её благоприличном, румянном и несколько загорелом лице выражались и величие и добродушие; у неё были голубые глаза, внушавшие любовь, и орлиный нос, возбуждавший уважение. Мистрисс Гэзельден не имела претензий: не считала себя ни выше, ни лучше, ни умнее, чем она была в самом деле. Она понимала себя и свое положение и благодарила за него Бога. В разговоре и манерах её была какая-то кротость и решительность. Мистрисс Гэзельден одевалась превосходно. Она носила шелковые платья, которые могли передаваться в наследство от поколения поколению: до такой степени они были прочны, ценны и величественны. Поверх такого платья, когда она была внутри своих владений, она надевала белый как снег фартук; у пояса её не было видно шатленок и брелоков, а были привешены здоровые золотые часы, обозначающие время, и длинные ножницы, которыми она срезывала сухие листья у цветов, будучи большою охотницей до садоводства. Когда требовали того обстоятельства, мистрисс Гэзельден снимала свою великолепную одежду, заменяла ее прочным синим верховым платьем и галопировала возле своего мужа, пока спускали собак ее своры, приготавливаясь к охоте.

В те дни, когда мистер Гэзельден направлял своего знаменитого клепера-иноходца в городскому рынку, жена почти всегда сопутствовала ему в этой поездке, сидя с левой стороны кабриолета. Она, так же, как и муж её, обращала очень мало внимания на ветер и непогоду, и во время какогонибудь проливного дождя её оживленное лицо, выставлявшееся из под капюшона непромокаемого салопы, расцветало улыбкой и румянцем, точно воздушная роза, которая раскрывается и благоухает под каплями росы. Нельзя было не заметить, что достойная чета соединилась по любви. Они были чрезвычайно редко друг без друга, и первое сентября каждого года, если в доме не было общества, которое хозяйка должна была занимать, она выходила вместе с мужем на сжатое поле такую же легкую поступью, с таким же оживленным взором, как и в первый год её замужства, когда она восхищала сквайра сочувствием всем его склонностям.

Таким образом и в настоящую минуту Герриэт Гэзельден стоит, опершись одною рукою на широкое плечо сквайра; другую заложила она за свой фартук и старается разделить восторг своего мужа от совершенного им патриотического подвига возобновления общественной колоды. Немного позади, придерживаясь двумя пальчиками за сухую руку капитана Бернэбеса, стоит мисс Джемима, сирота, оставшаяся после дяди сквайра, который был женат на похищен-

ной им девице из фамилии, бывшей во вражде с Гэзельденами со времен Карла I, за право проезжать по дороге к небольшому лесу, или, скорее, кустарнику, величиною в десятину, чрез клочок кочкарника, который отдавался на аренду кирпичному заводчику за двенадцать шиллингов в год.

Лес принадлежал Гэзельденам, кочкарник – Стикторейтам (древняя саксонская фамилия, если только была таковая), Всякие двенадцать лет, когда деревья и валежник были нарублены, вражда возобновлялась, потому что Стикторейты отказывали Гэзельденам в праве провозить лес по единственной проезжей для телеги дороге. Надо отдать справедливости Гэзельденам, что они изъявляли желание купить эту землю вдесятеро дороже её настоящей цены. Но Стикторейты с подобным же великодушием отвечали, что они не намерены жертвовать фамильною собственностью для прихоти самого лучшего из всех сквайров, когда либо носивших кожаные сапоги. Потому каждые двенадцать лет происходили длинные переговоры о мире между Гэзельденами и Стикторейтами. Дело было глубокомысленно обсуживаемо, представителями обеих сторон и заключалось исковыми жалобами на завладение чужою собственностью.

Так как в законе на подобные случаи не было прямого указания, то дело никогда и не решалось окончательно, тем более, что ни та, ни другая сторона не желала окончания тяжбы, так как не была уверена в законности своих притязаний. Женитьба младшего из семьи Гэзельденов на младшей дочери Стикторейтов была одинаково неприятна обеим фамилиям; последствием было то, что молодая чета, обвенчавшаяся тайно и не получив ни благословения, ни прощения, провела жизнь как могла, существуя жалованьем, которое получал муж, служивший в действующем полку, и процентами с тысячи фунтов стерлингов, которые были у жены независимо от родительского состояния. Они оба умерли, оставив дочь, которой и завещали материнские тысячу фунтов, около того времени, когда сквайр достиг совершеннолетия и вступил в управление своими именьями. И хотя он наследовал старинную вражду к Стикторейтам, однако, не в его характере было питать ненависть к бедной сироте, которая все-таки была дочерью Гэзельдена. Потому он воспитывал Джемиму с такою же нежностью, как бы она была его родною сестрою; отложил её тысячу фунтов в рост, прибавил к ним часть из капитала, который составился во время его малолетства, что все вместе с процентами составило не менее четырех тысяч фунтов – обыкновенное приданое в фамилии Гэзельден. Когда она достигла совершеннолетия, сумма эта была отдана в её полное распоряжение, так, чтобы она считала себя независимую, была бы в состоянии выезжать в свет и выбирать себе партию, если бы ей вздумалось выйти замуж, или наконец могла бы жить этою суммою одна, если бы решились остаться девицею. Мисс Джемима отчасти пользовалася этою свободою, выезжая иногда в Нелтейгам и другие места на воды. Но она так была привязана к сквайру чувством благодарности, что не могла на долго отлучиться из его дома. И это было тем великодушнее с её стороны, что она была далека от мысли остаться в девицах. Мисс Джемима была одно из нежных, любящих существ, и если мысль о счастии в одиночестве не совсем улыбалась ей, то это было во свойственном женщине инстинктивному влечению к семейной, домашней жизни, без чего всякая лэди, как бы она ни были совершенна во всех других отношениях, немногим лучше бронзовой статуя Минервы. Но как бы то ни было, несмотря на её состояние и наружность, из которых последняя, хотя не вполне изящная, была привлекательна и была бы еще привлекательнее, если бы мисс почаще смеялась, потому что при этом у неё являлись на щеках ямочки, незаметные в более серьезные минуты, – несмотря на все это, потому ли, что мужчины, встречавшие ее, были очень равнодушны, или сама она слишком разборчива, только мисс Джемима достигала тридцатилетнего возраста и все еще называлась мисс Джемима. С течением времени, её простодушный смех все слышался реже и реже, и наконец она утвердилась в двух убеждениях, вовсе не развивавших потребности смеха. Одно из убеждений касалось всеобщей испорченности мужской половины человеческого рода, другое выражалось решительною

и печальной уверенностью, что весь мир приближается в близкому падению. Мисс Джемима теперь была в сопровождении любимой собачки, верного Бленгейма, отличавшегося приплюснутым носом. Собачка эта была уже преклонных лет и довольно тучна. Она сидела, обыкновенно, на задних лапах, высуня язык, и только от времени до времени показывала признаки жизни тем, что бросалась на мимо неё и по ней ходящих и летающих мух. Кроме того, глубокая дружба существовала между мисс Джемимой и капитаном Бернэбесом Гиджшиботэмом, потому что он не был женат и имел такое же дурное понятие о всех вас, читательницы, как мисс Джемима о всех людях нашего пола. Капитан был довольно строен и недурен лицом... Впрочем, чем меньше говорить о лице, тем лучше; в этой истине был убежден сам капитан, утверждавший, что для мужчины всякая рожа довольно красива и благородна. Капитан Бернэбес не отрицал, что мир стремится к разрушению, только разрушение это, по его соображением, должно было последовать после его смерти. Поодаль от всей компании, с ленивыми приемами возникающего дендизма Френсис Гэзельден смотрел поверх высокого галстуха, какие тогда были в моде. Это был красивый юноша, свежий питомец Итона, приехавший на каникулы. Он вступил в тот переходный возраст, когда обыкновенно начинаешь бросать детские забавы, не достигнув еще основательности и положительности человека возмужалого.

– Мне бы приятно было, Франк, сказал сквайр, внезапно повернувшись к сыну; – мне бы приятно было видеть, что тебя хоть немного, но интересуют те обязанности, которые, рано или поздно, будут лежать на твоей ответственности. Я решительно не могу допустить той мысли, что это мнение перейдет в руки такого джентльмена, который, вместо того, чтоб поддерживать его, так, как я поддерживаю, доведет все до разрушения.

И вместе с этим сквайр показал на исправительное учреждение.

Взоры мастера Франка устремились по направлению, куда указывала трость, и устремились на столько, на сколько позволял тому накрахмаленный галстух.

– Совершенно так, сэръ, сказал молодой человек довольно сухо: – но скажите, почему же это учреждение оставалось так долго без починки?

– Потому, что одному человеку невозможно углядеть за всем в одно и то же время, с некоторою колкостью отвечал сквайр. – Человек с восемью тысячами акров земли, за которыми нужно присмотреть, я думаю, не останется ни на минуту без дела.

– Это правда, заметил капитан Бернэбес. – Я знаю это по опыту.

– Вы ровно ничего не знаете! вскричал сквайр весьма грубо. – Выдумал сказать, у него есть опытность в восьми тысячах акров земли!

– Совсем нет. Я знаю это по опыту в моей квартире, в Албани, номер третий, под литерою А. Вот уже десять лет, как я занимаю эту квартиру, а только что на прошлых Святках купил себе японскую кошку.

– Скажите пожалуйста! возразила мисс Джемима: – японская кошка! это, должно быть, весьма любопытно!.. Какого рода это животное!

– Неужели вы не знаете? Помилуйте! эта вещица имеет три ножки и служит для того, чтоб держать в себе горячие тосты! Я никогда бы не подумал о ней, уверяю вас; да друг мой Кози, завтракая однажды у меня на квартире, сказал мне: «помилуй, Гиджинботэм! как это так случилось, что ты, окруженный таким множеством предметов, доставляющих комфорт, до сих пор не имеешь кошки?»<sup>5</sup> «Клянусь честью – отвечал я – невозможно усмотреть за всем в одно и то же время», точь-в-точь, как вы, сквайр, сказали об этом сию минуту.

– Фи, сказал мистер Гэзельден, с негодованием: – тут нет ни малейшего сходства с моими словами. И на будущее время прошу вас, кузен Гиджинботэм, не прерывать меня, когда я говорю о делах серьезных. Ну, кстати ли соваться с вашей кошкой? Не правда ли, Гэрри? А ведь теперь это учреждение на чтонибудь да похоже! Я уверен, что наружность всей деревни будет

---

<sup>5</sup> Cat собственно значит кошка; но этим словом называется столовый прибор для подогревания кушанья. *Прим. пер.*

казаться теперь гораздо солиднее. Удивительно, право, что даже и маленькая починка придает... придает....

– Большую прелесть ландшафту, возразила мисс Джемима, сентиментальным тоном.

Мистер Гэзельден не хотел согласиться, но в то же время и не отрицал досказанного окончания. Оставив эту сентенцию в прерванном виде, он вдруг начал другую:

– А если бы я послушал пастора Дэля.

– Тогда бы вы сделали весьма умное дело, сказал голос позади Гэзельдена.

Этот голос принадлежал пастору Дэлю, который, при последних словах сквайра, присоединился к обществу.

– Умное дело! Конечно, конечно, мистер Дэль, сказала мистрисс Гэзельден, с горячностью, потому что всякое противоречие её супругу она считала за оскорбление – быть может, она видела в этом столкновение с её исключительными правами и преимуществами! – Конечно, умное дело!

– Совершенная правда! продолжай, продолжай, Гэрри! восклицал сквайр, потирая от удовольствия ладони. – Вот так! хорошенько его! А! каково мистер Дэль? что вы скажете на это?

– Извините, сударыня, сказал пастор, оказывая ответом своим предпочтение мистрисс Гэзельден: – я должен сказать вам, что в нашем отечестве есть множество зданий, которые чрезвычайно ветхи, чрезвычайно безобразны и, по видимому, совершенно бесполезны, но при всем том я не решился бы разрушить их.

– Поэтому вы возобновили бы их, сказала мистрисс Гэзельден, недоверчиво и в то же время бросая на мужа взгляд, которым будто говорила ему: – он хочет свести на политику – так это уж твое дело.

– О нет, сударыня, я этого не сделал бы, отвечал пастор весьма решительно.

– Что же после этого вы стали бы делать с ними? спросил сквайр.

– Оставил бы их в прежнем виде, отвечал пастор. – Мистер Франк, вам, вероятно, знакома латинская пословица, которая очень часто слетала с уст покойного сэра Роберта Вальполя, и которую включили впоследствии в число примеров латинской грамматики; вот эта пословица: *Quieta non movere!* Спокойное пусть и остается спокойным!

Сквайр Гэзельден был большой приверженец политики старинной школы и, вероятно, не подумал о том, что, возобновляя исправительное заведение, он отступал от принятых им правил.

– Постоянное стремление к нововведениям, сказала мисс Джемима, внезапно принимаясь за более мрачную из своих любимых тем разговора: – служит главным признаком приближения великого переворота. Мы изменяем, починиваем, реформируем, тогда как много, много что через двадцать лет и самый мир превратится в развалины!

Прекрасный оракул замолк. Вещие слова его отозвались в душе капитана Бернэбеса, и он задумчиво сказал:

– Двадцать лет! это весьма значительный срок! Наши общества страхования жизни редко принимают самую лучшую жизнь больше чем на четырнадцать лет.

Произнося эти слова, он ударил ладонью по стулу, на котором сидел, и прибавил свое обычное утешительное заключение:

– Бояться нечего, сквайр: на ваш век хватит!

К чему относились эти слова, он выразил весьма неопределенно, а из окружающих никто не хотел потрудиться разъяснить их.

– Мне кажется, сэра, сказал мастер Франк, обращаясь к родителю: – теперь совершенно бесполезно рассуждать о том, нужно ли, или не нужно было возобновлять это исправительное учреждение.

– Справедливо, сказал сквайр, принимая на себя весьма серьёзный вид.

– Да, вот оно что! сказал пастор печальным голосом. – Если бы вы только знали, что значит это *non quiescit movere!*

– Мистер Дэль, нельзя ли избавить меня от вашей латыни! вскричал сквайр, сердитым тоном. – Я сам могу представить вам пословицу не хуже вашей:

*Propria quae maribus tribuuntur macula dicas.*

*As in praesenti, perfectum format in avi. (\*)*

(\*) Качества, приписываемые мужскому полу, называются мужчинами. Малость в настоящем часто принимает огромные размеры в будущем.

Ведите теперь, прибавил сквайр, с триумфом обращаясь к своей Гэрри, которая при этом неожиданном взрыве учености со стороны Гэзельдена смотрела на него с величайшим восхищением: – выходит, что коса нашла на камень! Теперь, я думаю, можно воротиться домой и пить чай. Не придете ли и вы к нам, Дэль? мы сыграем маленький робер. Нет? ну полно, мой друг! я не думал оскорбить вас: ведь вам известен мой нрав, мои привычки.

– Как же, очень хорошо известны; поэтому-то они и остаются для меня между предметами, перемены в которых я не желал бы видеть, отвечал мистер Дэль, с веселым видом, протягивая руку.

Сквайр от чистого сердца пожал ее, и мистрисс Гэзельден поспешила сделать то же самое.

– Приходите, пожалуйста, сказала она. – Я боюсь, что мы были очень невежливы; в этом отношении мы ни под каким видом не можем называть себя людьми благовоспитанными. Пожалуста, приходите – вы доставите нам большое удовольствие – и приводите с собою бедную мистрисс Дэль.

Каждый раз, как только Гэзельден упоминала в разговоре мистрисс Дэль, то непременно прибавляла эпитет *бедная*, – почему? мы увидим это впоследствии.

– Я боюсь, что жена моя снова страдает головною болью; но я передам ей ваше приглашение, и во всяком случае на мой приход, сударыня, вы можете рассчитывать.

– Вот это так! вскричал сквайр: – через полчаса мы ждем вас... Здравствуй, мой милый! продолжал мистер Гэзельден, обращаясь к Ленни Ферфильду, в то время, как мальчик, возвращаясь домой с каким-то поручением из деревни, остановился в стороне от дороги и обеими руками снял шляпу. – Ах, постой! постой! ты видишь эту постройку, э? Так скажи же всем ребятишкам в деревне, чтобы они боялись попасть в нее: Это ужасный позор! Надеюсь, ты никогда не доведешь себя до такого сраму.

– В этом я ручаюсь за него, сказал мистер Дэль.

– И я тоже, заметила мистрисс Гэзельден, глядя кудрявую голову мальчика. – Скажи твоей матери, что завтра вечером я побываю у неё: у меня есть много о чем поговорить с ней.

Таким образом партия гуляющих продолжала идти по направлению к господскому дому; между тем Ленни как вкопанный стоял на месте и, выпуча глаза, смотрел на уходящих.

Впрочем, Ленни недолго оставался одиноким. Едва только большие люди скрылась из виду, как маленькие, один за другим и боязливо, стали выползать из соседних домов и с крайним изумлением и любопытством приблизились к месту исправительного учреждения.

В самом деле, возобновленное появление этого учреждения *à propos de bottes*, как другой бы назвал его – произвело уже заметное впечатление на жителей Гэзельдена. Когда неожиданная сова появится среди белого дня, то все маленькие птички покидают деревья и заборы и окружают своего врага, так точно и теперь все более или менее взволнованные поселяне окружили неприятный для них феномен.

– Что-то скажет нам Гаффер Соломонс, для чего именно сквайр перестроил такую диковинку? спросила многодетная мать, у которой на одной руке покоился грудной ребенок (трехлетний мальчик робко держался за складки её юбки), а другой рукой, с чувством материн-

ского страха за свое детище, она тянула назад более предприимчивого, шестилетнего шалуна, который имел сильное желание просунуть голову в одно из отверстий учреждения. Все взоры устремились на мудрого старца, деревенского оракула, который, облокотясь обеими руками на клюку, покачивал головой, с видом, непредвещающим ничего хорошего.

– Быть может, сказал Гаффер Соломонс, – ктонибудь из наших ребятишек произвел опустошение в господском фруктовом саду.

– В фруктовом саду! возразил огромный детина, который, по видимому, полагал, что слова старика относились прямо к нему: – да там еще нечего и воровать: там еще ничего не созрело.

– Значит это неправда! воскликнула мать большего семейства и при этом вздохнула свободнее.

– Может быть, сказал Гаффер Соломонс: – ктонибудь из вас крадучи ставил капканы?

– Да для кого теперь ставить капканы? сказал здоровый, с угрюмым лицом молодой человек, не совсем-то чистая совесть которого, весьма вероятно, вызвала это замечание. – Для кого, когда еще пора не пришла? А если и придет, то нашему ли брату заниматься капканами!

Последний вопрос, по видимому, решал дело, и мудрость Гаффера Соломонса упала в общем мнении жителей Гэзельдена на пятьдесят процентов.

– А может быть, сказал Гаффер, и на этот раз с таким поразительным эффектом, который восстанавливал его репутацию: – может быть, из вас ктонибудь любит напиваться допьяна и делаться скотоподобным.

Наступила мертвая тишина, потому что старик, делая этот намек, ни под каким видом не рассчитывал на возражение.

– Да сохранит Господь нашего сквайра! воскликнула наконец одна из женщин, бросая угрожающий взгляд на мужа. – Если это правда, то многих из нас он осчастливит.

Вслед за тем между женщинами поднялся единодушный ропот одобрения, тогда как мужчины, с печальным выражением в лице, взглянули сначала друг на друга, а потом на учреждение.

– А может статься, и то, снова начал Гаффер Соломонс, побуждаемый успехом третьей догадки выразить четвертую: – может статься, и то, что некоторые из жон любят чересчур братья своих мужей. Мне сказывали, в ту пору, когда жил еще мой дедушка, что первое учреждение было выстроено исключительно для женщин, из одного будто бы сострадания к мужьям; это было как раз в то время, когда бабушка Банг – я и сам не помню её – умерла в припадке злости. А ведь каждому из вас известно, что сквайр наш добрый человек... пошли ему Господи доброе здоровье!

– Пошли ему Господи! вскричали мужчины от всей души и уже без страха, но с особенным удовольствием собрались вокруг Соломонса.

Но вслед за тем раздался пронзительный крик между женщинами. они нехотя отступили к окраине луга и бросали на Соломонса и учреждение такие сверкающие взгляды и указывали на них обоим такими грозными жестами, что небу одному известно, остался ли бы хоть клочок из них двоих от негодования прекрасного пола, еслиб, к счастью и весьма кстати, не подошел мистер Стирн, правая рука сквайра Гэзельдена.

Мистер Стирн была страшная особа, страшнее самого сквайра, как и следует быть правой руке. Он внушал к себе большее подобострашие, потому что, подобно исправительному учреждению, которого он был избранным блюстителем, его власть и сила были непостижимы и таинственны, и, кроме того, никто не знал, какое именно место занимал он в хозяйственном управлении имением Гэзельдена. Он не был управителем, хотя и исполнял множество обязанностей, которые, по настоящему, должны лежать на одном только управителе. Он не был деревенским старостой, потому что этот титул сквайр решительно присвоил себе; но, несмотря на то, мистер Гэзельден делал посевы и запашки, собирал хлеб и набивал амбары, покупал

и продавал не иначе, как по советам, какие угодно было дать мистеру Стирну. Он не был смотрителем парка, потому что никогда не стрелял оленей, и никогда не занимался присмотром за зверинцем, а между тем, кроме его, никто не разыскивал, кто сломал палисад, окружавший парк, или кто ставил капканы на кроликов и зайцев. Короче сказать, все трудные и многосложные обязанности, которых всегда отыщется величайшее множество у владельца обширного места, возлагались, по принятому обыкновению и по желанию самого владельца, на мистера Стирна. Если нужно было увеличить арендную плату или отказать арендатору в дальнейшем производстве работ на господской земле, и если сквайр знал, что приведение в исполнение подобного предположения не согласовалось с его привычками, но что управитель его так же будет снисходителен, как и он сам, то в этих случаях мистер Стирн являлся тройным вестником роковых приказаний господина, – так что обитателям Гэзельдена он казался олицетворением беспощадной Немезиды. Даже самые животные трепетали пред мистером Стирном. Стадо телят знало, что это был именно тот человек, по назначению которого ктонибудь из их среды продавался мяснику, и потому, слышав его шаги, они с трепещущим сердцем забивались в самый отдаленный угол стойла. Свиньи хрюкали, утки квакали, наседка растопыривала крылья и тревожным криком созывала цыплят, едва только мистер Стирн, случайно или по обязанности своей, приближался к ним.

– Что вы делаете здесь? кричал мистер Стирн. – Чего вы тараторите здесь? Эй вы, бабы! Того и смотри, что сквайр пошлет узнать, нет ли пожара в деревне! Пошли все домой! Этакой неугомонный народец!

Но прежде, чем половина этих восклицаний была произнесена, как уже толпа рассеялась по всем направлениям: женщины, удалявшись на безопасное расстояние от мистера Стирра, снова образовали из себя совещательный кружок, а мужчины сочли за лучшее скрыться в пивной лавочке. Таково было действие исправительного учреждения в первый день возобновления его!

Как бы то ни было, но при рассеянии всякой толпы всегда случается, что ктонибудь попадает свое место последним; так точно случилось и теперь: приятель наш Денни Ферфильд, механически приблизившийся к толпе, чтобы услышать прорицания Гаффера Соломона, почти также механически, при внезапном появлении мистера Стирна скрылся из виду – по крайней мере ему так казалось, что он скрылся – за стволом широкого вяза. Денни прижался к стволу, не смея явиться на глаза мистера Стирна, как вдруг пронзительный взор последнего обнаружил убежище испуганного юноши.

– Эй, сэр! что ты делаешь там? не хочешь ли взорвать на воздух наше учреждение? Не хочешь ли ты сделаться вторым Гай-Фоксом? Покажи сюда, что у тебя зажато в кулаке!

– У меня нет ничего, мистер Стирн, отвечал Ленни, показывая открытую ладонь.

– Ничего! гм! произнес мистер Стирн, весьма недовольный.

И потом, когда он начал смотреть на предметы гораздо хладнокровнее и узнал в стоявшем перед ним юноше Ленни Ферфильда, мальчика, служившего образцом всем деревенским ребятишкам, на бровях его нависло облако мрачнее прежнего. Это было вследствие того, что мистер Стирн, который придавал себе большую цену за свою ученость, и который именно потому только и занял такое высокое положение в жизни, что обладал познаниями и умом, гораздо большими в сравнении с другими ему подобными, – это неудовольствие, повторяю я, отразившееся на лице мистера Стирна, происходило оттого, что он чрезвычайно желал, чтобы его единственный сын сделался также хорошим грамотеем; но желание его, к несчастью, не выполнялось.

Маленький Стирн в школе пастора был замечательным неучем, между тем как Ленни Ферфильд служил гордостью и похвалой этой школы. Поэтому мистер Стирн весьма натурально и даже, с одной стороны, весьма справедливо питал сильное нерасположение к Ленни Фер-

фильду, присвоившему себе все те почести и похвалы, которые мистер Стирн предназначал своему сынку.

– Гм! произнес мистер Стирн, бросая на Ленни взгляд, полный негодования:– так это ты и есть образцовый мальчик вашей деревни? И прекрасно, и очень кстати! Я смело могу поручить тебе охранение этого учреждения, то есть ты должен гонять отсюда ребяташек, когда они соберутся, рассядутся и станут стирать краску, или разыграются на горке в лунку и орлянку. Смотри же, мой милый, помни, какая ответственность лежит на тебе. Эта ответственность, в твои лета, делает тебе великую честь. Если чтонибудь будет испорчено, ты ответишь за это, – понимаешь? ты не подумай, что я поручаю тебе это от себя, нет, мой друг! я передаю тебе приказание сквайра. Вот что значит быть образцовым-то мальчиком! Ай да мастер Ленни!

Вместе с этим мистер Стирн медленно отправился сделать визит двум молодым щенкам, вовсе неподозревавшим, что он дал обещание владельцу их в тот же вечер обрубить им хвосту и уши. Хотя немного можно насчитать поручений, которые были бы для Ленни тягостнее поручения быть блюстителем деревенского исправительного учреждения, так как оно видимо клонилось к тому, чтобы сделать Ленни Ферфилда несносным в глазах его сверстников, но Ленни Ферфилд не был до такой степени безразсуден, чтобы показать малейшее неудовольствие или огорчение. Все дурное редко, или, лучше сказать, никогда не остается без наказания. Закон кладет преграду коварным умыслам всякого Стирна: он уничтожает западни, расставленные завистью и злобой, и, по возможности, для каждого очищает дорогу жизни от колючего терния; иначе какого бы труда стоило бессильному человеку пройти по этой дороге и достичь конца её без царапины, без язвы!

## Глава IX

Карточный стол давно уже приготовлен в гостиной господского дома Гэзельдена, а маленькое общество все еще оставалось за чайным столом, в глубокой ниши огромного окна, которая в размерах своих поглотила бы, кажется, лондонскую гостиную умеренной величины. Прекрасный летний месяц разливал по зеленой мураве такой серебристый блеск, высокие, густые деревья бросали такую спокойную тень, цветы и только что скошенная трава наполняли воздух таким приятным благоуханием, что затворить окна, опустить занавески и осветить комнаты не тем небесным светом, которым освещалась вся природа, было бы явной насмешкой над поэзией жизни, о чем не решался даже намекнуть и капитан Бернэбесь, для которого вист в городе составлял дельное занятие, а в деревне – приятное развлечение, или лучше сказать, увеселение. Сцена за стенами дома Гэзельдена, освещенная светлым сиянием луны, дышала прелестью свойственной местности, окружающей те старинные деревенские резиденции английских лордов, в наружности которых хотя и сделаны некоторые изменения, разнообразные с требованиями и вкусом нынешнего века, но которые до сей поры еще сохранили свой первоначальный характер: вы видите здесь, налево от дома, бархатный луг, испещренный большими цветными куртинами, окаймленный кустами сирени, раkitника и пышной розы, от которых долетало до вас сладкое благоухание; там, направо, по ту сторону низко выстриженных тисов, расстился другой зеленый луг, назначенный для гимнастических игр, по середине которого мелькали белые колонны летней беседки, построенной в голландском вкусе, во времена Вильяма III. Наконец, перед главным фасадом здания, широкий луг, как гладкий, пушистый зеленый ковер, далеко расстился от дома и сливался с мрачною тенью густого, волнистого парка, окаймленного рядом незыблемых кедров. Сцена внутри здания, при тихом, спокойном мерцании той же луны, не менее того характеризовала жилища людей, которых нет в других землях, и которые теряют уже эту, так сказать, природную особенность в своем отечестве. Вы видите здесь толстого провинциала-джентльмена, – но отнюдь не в строгом смысле провинциала: нет! вы видите здесь джентльмена, который редко, очень редко оставляет свое поместье, который успел смягчить несколько грубые привычки, свыкнуться с требованиями просвещенного века и совершенно отделиться от обыкновенного *спортсмена* или фермера, – во все еще джентльмена простого и даже грубого, который ни за что не отдает преимущества гостиной пред старинной залой, и у которого на столе, вместо «Творений Фокса» и «Летописей Бекера», не лежат книги, вышедшие в свет не далее трех месяцев назад, который не покинул еще предрасудков, освещенных глубокой стариной, – предрасудков, которые, подобно сучьям в его наследственной дубовой мебели, скорее придают красоту слоям дерева, но отнюдь не отнимают его крепости. Против самого окна, до тяжелого карниза, высился огромный камин, с темными, полированными украшениями, на которых играл отблеск луны. Широкие, довольно неуклюжие, обтянутые ситцем диваны и скамейки времен Георга III представляли резкий контраст с расставленными между ними дубовыми стульями с высокими спинками, которые должно отнести к более отдаленным временам, когда лэди в фижмах и джентльмены в ботфортах не были еще знакомы с тем комфортом и удобствами домашней жизни, которыми наслаждаемся мы в век просвещения. Стены, из гладких, светлых дубовых панелей, были увешаны фамильными портретами, между которыми местами встречались баталические картины и картины фламандской школы, показывающие, что прежний владелец не был одарен вкусом исключительно к одному роду живописи. Вблизи камин стояло открытое фортепьяно; длинный и нисенький книжный шкаф, в самом отдаленном конце комнаты, спокойной улыбкой своей дополнял красоту сцены. Этот шкаф заключал в себе то, что называлось в ту пору «дамской библиотекой», и именно: коллекцию книг, основание которой положено, блаженной памяти, бабушкой сквайра. Покойница его мать, имевшая большее расположение к лег-

ким литературным произведениям, довершила предпринятое бабушкой, так что нынешней мистрисс Гэзельден оставалось сделать весьма немного прибавлений, и то из одного только желания иметь в доме лишняя книги. Мистрисс Гэзельден не была большой охотницей до чтения, а потому она ограничивалась подпискою на один только клубный журнал. В этой дамской библиотеке назидательные сочинения, приобретенные мистрисс Гэзельден-бабушкой, стояли в странном сближении с романами, купленными мистрисс Гэзельден-матушкой, Но не беспокойтесь: эти романы, несмотря на такие заглавия, как, например, «Пагубные следствия чувствительности», «Заблуждения сердца», и проч., были до такой степени невинны, что я сомневаюсь, могли ли ближайшие соседи их сказать о них чтонибудь предосудительное.

Попугай дремлющий на своей насести, золотые рыбки, спавшие крепким сном в хрустальной вазе, две-три собаки на ковре и Флимси, мисс Джемимы любимая болонка, свернувшаяся в мячик на самом мягком диване, рабочий стол мистрисс Гэзельден, в заметном беспорядке, как будто мистрисс Гэзельден недавно сидела за ним, «Летописи Сент-Джемса», свисшие с маленькой пулпитры, поставленной подле кресла сквайра, высокий экран, обтянутый тисненой кожей с золотыми узорами, которым прикрывался карточный стол, – все эти предметы, рассеянные по комнате, довольно большой, чтоб заключать их в себе и не показывать виду, что она стеснена ими, представляли множество мест, на которых взор, отвлеченный от мира природы к домашнему быту человека, мог остановиться с удовольствием.

Но посмотрите: капитан Бернэбес, подкрепленный четвертой чашкой чаю, собрался окончательно с духом и решился шепнуть мистрисс Гэзельден, что мистер Дэль скучает в ожидании виста. Мистрисс Гэзельден взглянула на мистера Дэля и улыбнулась, сделала сигнал Бернэбесу, а вслед за тем раздался призывный звонок, внесли свечи в комнату, опустили занавеси, и через несколько минут вокруг ломберного стола образовалась группа. Самые лучшие из нас подвержены человеческим слабостям; эта истина не новая, но, несмотря на то, люди забывают о ней в повседневной жизни, и смею сказать, что из среды нашей найдутся весьма многие, которые, в этот самый момент, весьма благосклонно помышляют о том, что моему деревенскому пастору не следовало бы, по настоящему, играть в вист. На это могу я сказать только, что «каждый смертный имеет свою исключительную слабость», от которой он часто не только не старается избавиться, но, напротив, с его ведома и согласия, она становится его любимой слабостью и развивается в нем. Слабость мастера Дэля заключалась в привязанности к висту. Мистер Дэль поступил в пасторы, правда, не так давно, но все же в ту пору, когда церковнослужители принимали этот сан гораздо свободнее, чем ныне. Старый пастор того времени играл в вист и не видел в этом ничего предосудительного. В игре мистера Дэля обнаруживались, впрочем, такие поступки, которые, по всей справедливости, следовало бы поставить ему в вину. Во первых, он играл не для одного только развлечения и не для того, чтоб доставить удовольствие другим: нет! он находил особое удовольствие в игре, он радовался случаю поиграть, он углублялся в игру, – короче сказать, не мог смотреть на игру равнодушно. Во вторых, лицо его принимало печальное выражение, когда, по окончании игры, приходилось ему вынимать шиллинги из кошелька, и он чрезвычайно был доволен, когда клал в свой карман чужие шиллинги. Наконец, по одному из тех распоряжений, весьма обыкновенных в супружеской чете, имеющей обыкновение играть, в карты за одним и тем же столом, мистер и мистрисс Гэзельден делались бессменными партнёрами, между тем как капитан Бернэбес, игравший с почестью и выгодой в доме Грагама, по необходимости становился партнёром мистера Дэля, в свою очередь игравшего весьма основательно. Так что, по строгой справедливости, эту игру нельзя было назвать настоящей игрой, в соединении двух знатоков своего дела против неопытной четы. Правда, мистер Дэль усматривал несоразмерность сил двух борющихся сторон и часто делал предложение или переменить партнёров, или оказать некоторые снисхождения слабой стороне, но предложения его всегда отвергались.

Весьма удивительным и чрезвычайно странным кажется для каждого то различие, с которым вист действует на расположение духа. Некоторые утверждают, что это зависит от различия характеров; но это неправда. Мы часто видим, что люди, одаренные прекраснейшим характером, делаются за вистом людьми самыми несносными, между тем как люди несносные, брюзгливые, своенравные переносят свои проигрыши и неудачи в висте со стоицизмом Эпиктета. Это в особенности заметно обнаруживалось в контрасте между представляемыми нами соперниками. Сквайр, считавшийся во всем округе за человека самого холерического темперамента, лишь только садился за вист, против светлого лица своей супруги, как делался самым милым, самым любезным человеком, какого едва ли можно представить. Вы никогда не услышите, чтобы эти плохие игроки бранили друг друга за такие ошибки, которые в висте считались непростительными; напротив того, потеряв игру с четырьмя онёрами на руках, они упрекали друг друга одним только чистосердечным смехом. Все, что говорено было с их стороны касательно игры, заключалось в следующих словах: «Помилуй, Гэрри, какие у тебя маленькие козыри!» Или: «Ах, Гэзельден, возможно ли так играть! они успели сделать три леве, а ты все время держал на руках туза козырей! Ха, ха, ха!»

При подобных случаях Бернэбес, с непритворной радостью, как олицетворенное эхо, повторял звука сквайра и мистрисс Гэзельден: «Ха, ха, ха!»

Не так вел себя за вистом мистер Дэль. Он с таким напряженным вниманием следил за игрой, что даже ошибка его противников тревожила его. И вы можете услышать, как он, возвысив голос, делал жесты с необыкновенной агитацией, выставляя весь закон игры, ссылаясь на трактаты виста и приводя в свидетели панянь и здравый рассудок, восставал против ошибок в игре. Но поток красноречия мистера Дэля еще более возбуждал веселость пастора и мистрисс Гэзельден. В то время, как эти четыре особы занимались вистом, мистрисс Дэль, явившаяся, несмотря на головную боль, вместе с своим супругом, сидела на диване подле мисс Джемимы, или, вернее сказать, подле собачки мисс Джемимы, которая заняла уже самую середину дивана и скалила зубы при одной мысли, что ее потревожат. Пастор Франк, за особым столом, от времени до времени бросал самодовольный взгляд на бальные башмаки, или любовался карриатурами Гилроя, которыми маменька снабдила его для умственных его потребностей. Мистрисс Дэль, в душе своей, любила мисс Джемиму лучше, чем любила ее мистрисс Гэзельден, которую она уважала и боялась, несмотря мы то, что большую честь юных лет провели они вместе и что по с пору продолжали называть иногда друг друга Гэрри и Корри. Впрочем, эти нежные уменьшительные имена принадлежать в разряде слов «моя милая», «душа моя» и между дамами употребляются весьма редко, – разве только в те счастливые времена, когда, не обращая внимания на законы, предписанные приличием, они решаются пощипать друг друга. Мистрисс Дэль все еще была весьма хорошенькая женщина, там как и мистрисс Гэзельден была весьма прекрасная женщина. Мистрисс Дэль умела рисовать водяными красками и петь, умела делать из папки различные коробочки и называлась «элегантной, благовоспитанной женщиной». Мистрисс Гэзельден превосходно сводила счета сквайра, писала лучшие части его писем, держала обширное хозяйство в отличном порядке и заслужила название «прекрасной, умной, образованной женщины». Мистрисс Дэль часто подвержена была головным болям и расстройству нервной системы; мистрисс Гэзельден от роду не страдала ни головными болями, ни нервами. Мистрисс Дэль, отзываясь о мистрисс Гэзельден, говорила: «Гарри никому не делает вреда, но мне крайне не нравится её мужественная осанка». В свою очередь, и мистрисс Гэзельден отзывалась о мистрисс Дэль таким образом: «Кэрри была бы доброе создание еслиб только не чванилась так много.» Мистрисс Дэль говорила, что мистрисс Гэзельден как будто нарочно создана затем, чтоб быт женою сквайра; а мистрисс Гэзельден говорила, что «мистрисс Дэль была единственная особа в мире, которой следовало быт женой пастора.» Когда Карри разговаривала о Гарри с третьим лицом, то обыкновенно обозначала ее так: «милая мистрисс Гэзельден». А когда Гарри отзывалась случайно о Кэрри, то называла ее:

«бедная мистрисс Дэль». Теперь читатель, вероятно, догадывается, почему мистрисс Гэзельден называла мистрисс Дэль «бедной», – по крайней мере должен догадаться, сколько я полагаю. Это слово принадлежало к тому разряду слов в женском словаре, которые можно назвать «темными значениями». Объяснять эти значения – дело большой трудности; скорее можно показать на самом деле их употребление.

– А у вас, Джемима, право, премиленькая собачка! сказала мистрисс Дэль, вышивавшая шолком слово «Каролина», на каемке батистового носового платка, и потом, подвинувшись немного подальше от миленькой собачки, присовокупила: – и он, верно, не кусается... ведь он не укусит меня?

– О, нет, помилуйте! отвечала мисс Джемима, пожалуста, произнесла она шепотом, с особенной доверенностью: – не говорите *он*: эта собачка – лэди!

– О! сказала мистрисс Дэль, отодвигаясь еще дальше, как будто это признание еще более усиливало её опасения.

Мисс Джимима. Скажите, видели ли вы в газетах объявления о нарушении данного обещания вступить в законный брак? И кто же нарушил это обещание? шестидесяти-летний старикашка! Нет, даже самые лета не могут исправить мужчин. И когда подумаешь, что конец человеческому роду приближается, что...

Мистрисс Дэль (*торопливо прерывая, потому что всякий другой конек мисс Джемимы она предпочитает этому траурному, на котором Джемима готовится опередить похороны всей вселенной*). Но, душа моя, оставим этот разговор. Вы знаете, что мистер Дэль имеет по этому предмету свои собственные мнения, а мне, как жене его (*эти три слова произносятся с улыбкой; на ланитах мистрисс Дэль образуется ямочка, которая в прелести своей нисколько не уступает трем ямочкам мисс Джемимы, а напротив того, выигрывают гораздо больше*), мне должно соглашаться с ним.

Мисс Джемима (*с горячностью*) Но позвольте! ведь это ясно как день; стоит только взглянуть...

Мистрисс Дэль (*игриво опуская руку на колени мисс Джемимы*). Прошу вас, об этом больше ни слова! Скажите лучше, что вы думаете об арендаторе сквайра, который поселился в казино, – о синьоре Риккабокка? Не правда ли, ведь это очень интересная особа?

Мисс Джемима. Интересная! но уж никак не для меня. Интересная! Скажите, что же находите вы в нем интересного?

Мистрисс Дэль молчит, ворочает в своих хорошеньких, беленьких ручках батистовый платок и, по-видимому, рассматривает букву Р в слове Каролина.

Мисс Джимима (*полу-шутливым полусерьёзным тоном*). Почему же он интересен? Признаться сказать, я почти еще не видала его; говорят, что он курит трубку, никогда не ест и, в добавок, безобразен до-нельзя.

Мистрисс Дэль. Безобразен! кто вам сказал? Неправда. У него прекрасная голова, совершенно как у Данта... Но что значит красота?

Мисс Джемима. Весьна справедливо; и в самом деле, что значит красота? Да, я думаю, как вы говорите, в нем есть что-то интересное. Он кажется таким печальным; но, может статься, это потому, что он беден.

Мистрисс Дэль. Для меня удивительно, право, каким образом можно обращать внимание на этот недостаток в особе, которую любишь. Чарльз и я были очень, очень бедны до сквайра...

Мистрисс Дэль остановилась на этом слове, взглянула на сквайра и в пол-голоса произнесла благословение, теплота которого вызвала слезы на её глаза.

– Да, продолжала она, после минутного молчания: – мы были очень бедны; но, при всей! нашей бедности, мы были счастливы, за что более должна благодарить я Чарльза, а не себя...

И слезы снова затуманили светлые, живые глазки маленькой женщины, в то время, как она нежно взглянула на супруга, которого брови мрачно нахмурились над дурной сдачей карт.

Мисс Джемима. Знаете, что я скажу вам; ведь одни только мужчины считают деньги за источник всякого благополучия. В моих глазах джентльмен нисколько не должен терять уважения, хотя он и беден.

Мистрисс Дэль. Удивляюсь, право, почему сквайр так редко ириглашает к себе синьора Риккабокка. Знаете, ведь это настоящая находка!

При этих словах, за ломберным столом раздался голос сквайра.

– Кого, кого я должен приглашать почаще, скажите-ка мне, мистрисс Дэль?

Мистер Дэль делает нетерпеливое возражение.

– Оставьте их, сквайр; играйте, пожалуста; я хожу с дамы бубен – не угодно ли вам крыть?

Сквайр. Я бью вашу даму козырем. Мистрисс Гэзельден, берите взятку.

Мистер Дэль. Позвольте, позвольте! вы бьете мои бубны козырем?

Капитан Бэрнебес (*торжественно*). Взятка закрыта. Извольте ходить, сквайр.

Сквайр. Король бубен!

Мистрисс Гэзельден. Помилуй! Гэзельден! что ты делаешь? какая явная, непростительная ошибка! ха, ха, ха! Крыть даму бубен козырем – и в ту же минуту ходит с короля бубен. Вот что называется рассеянность!

Голос мистера Дэля возвышается; но его покрывает громкий смех противников и звучный голос капитана, которым он восклицает:

– Мы прибавляем три к нашему счету! игра!

Сквайр (*отирая глаза*). Нет, Гэрри, теперь уж не воротишь. Приготовь, пожалуста, карты за меня!.. Кого же я должен приглашать сюда, мистрисс Дэль? (*Начиная сердиться*). Я первый раз слышу, что гостеприимство Гэзельдена навлекает на себя упрек.

Мистрисс Дэль. Извините, милостивый государь, вы знаете пословицу: кто подслушивает....

Сквайр (*с неудовольствием*). Что это значит? С тех пор, как поселился здесь этот Монсир, я ничего больше не слышу кроме пословиц. Сделайте одолжение, сударыня, говорите яснее.

Мистрисс Дэль (*немного разгневанная таким возражением*). Об этом-то Монсире, как вы называете его, я и говорила.

Сквайр. Как! о Риккабокка?!

Мистрисс Дэль (*стараясь подделаться под чистое итальянское произношение*). Да, о синьоре Риккабокка.

Сквайр (*пользуясь промежутком времени, допущенным капитаном для соображения*). Мистрисс Дэль, в этом прошу меня не винить. Я звал к себе Риккабокка, с времен незапамятных. Но, вероятно, я не понутру этим господам иноземцам: он не изволил пожаловать к нам. Вот все, что я знаю.

Между тем капитан Бэрнебес, которому наступила очередь готовить карты, тасует их, для победной игры, заключающей робер, так осторожно и так медленно, как поступал, может быть, один только Фабий при выборе позиции для своей армии. Сквайр встает с места, чтоб расправить свои ноги, но в эту минуту вспоминает об упреке, сделанном его гостеприимству, и обращается к жене.

– Завтра, Гэрри, напиши ты сама этому Риккабокка и попроси его провести с нами денька три.... Слышите, мистрисс Дэль, мое распоряжение?

– Слышу, слышу, отвечала мистрисс Дэль, закрывая уши руками: этим она хотела заметить сквайру, что он говорил слишком громко. – Пощадите меня, сэр! вспомните, какое я слабонервное создание.

– Прощу извинить меня, проворчал мистер Гэзельден.

И вместе с тем они обратился к сыну, который, соскучившись рассматривать карриатуры, притащил на стол огромный фолиант – «Историю Британских Провинций», единственную шагу в домашней библиотеке, которую сквайр ценит выше всех других, и которую он обыкновенно держал под замком, в своем кабинете, вместе с книгами, трактующими о сельском хозяйстве, и управительскими счетами... Сквайр, уступая в тот день просьбе капитана Гиджинботэма, весьма неохотно вынес эту книгу в гостиную. Надобно заметить, что Гиджинботэм – старинная саксонская фамилия, чему служит очевидным доказательством самое название её – имели некогда обширные поместья в той же провинции, где находилось поместье Гэзельден; и капитан, при каждом посещении Гэзельден-Голла, поставил себе в непрременную обязанность заглянуть, с позволения хозяина дома, в «Историю Британских Провинций», собственно с той целью чтоб освежить свои взоры и обновить чувство гордости при воспоминании о том высоком месте, какое занимали в обществе его предки. Это удовольствие доставляла ему следующая статья в помянутой истории: «Налево от деревни Дундер, в глубоком овраге, на прекрасном местоположении, находятся Ботэм-Голл, резиденция старинной фамилии Гиджинботэм, как она обыкновенно ныне именуется. Из документов здешней провинции и судя по различным преданиям, оказывается, что первоначально эта фамилия называлась Гиджес и продолжала называться так до тех пор, пока резиденция их не основалась в Ботэме. Совокупив эти два названия, фамилия Гиджес стала именоваться Гиджес-Инботэм и уже с течением времени, а равно уступая принятому в простонародьи обыкновению коверкать собственные имена, изменилась в Гиджинботэм.»

– Эй, Франк! ты подбираешься, кажется, к моей истории! вскричал сквайр. – Мистрисс Гэзельден, вы не замечаете, что он взял мою историю!

– Ну что же, Гэзельден, пускай его! теперь и ему пора узнать чтонибудь о нашей провинции.

– И чтонибудь об истории, заметил мистер Дэль.

Франк. Уверяю вас, сэр, я буду осторожен с вашей книгой. В настоящую минуту она сильно интересует меня.

Капитан (*опуская колоду карт для съёмки*). Не хочешь ли ты взглянуть на 706 страницу, где говорится о Ботэм-Голле? э?

Франк. Нет; мне хочется узнать, далеко отсюда ли поместья мистера Десди, до Руд-Гола. Вы ведь знаете, мама?

– Не могу сказать, чтобы знала, отвечала мистрисс Гэзельден. – Лесли не принадлежит к нашей провинции, а притом же Руд лежит от нас в сторону, где-то очень далеко.

Франк. Почему же они не принадлежат к нашей провинции?

Мистрисс Гэзельден. Потому, мне кажется, что они хоть бедны, но горды: ведь это старинная фамилия.

Мистер Дэль (*под влиянием нетерпения, постукивает по столу*). Ах, как не кстати! заговорили о старинных фамилиях в то время, как карты уже с полчаса, как стасованы.

Капитан Бэрнебес. Не угодно ли вам, сударыня, снять за вашего партнёра?

Сквайр (*с задумчивым видом слушающий расспросы Франка*). К чему ты хочешь знать, далеко ли отсюда до Руд-Голла?

Франк (*довольно нерешительно*). К тому, что Рандаль Лесли отправился туда на все каникулы.

Мистер Дэль. Мистер Гэзельден! ваша супруга сняла за вас. Хотя этого и не должно бы допускать; но делать нечего. Не угодно ли вам садиться и играть, если только вы намерены играть.

Сквайр возвращается к столу, и через несколько минут игра решается окончательным поражением Гэзельденов, чему много способствовали тонкие соображения и неподражаемое искусство капитана. Часы бьют десять; лакеи входят с подносом: сквайр сосчитывает свой про-

игрыш и проигрыш жены, и в заключение всего капитан и мистер Дэль делят между собою шестнадцать шиллингов.

Сквайр. Надеюсь, мистер Дэль, теперь вы будете повеселее. Вы от нас так много выигрываете, что, право, можно содержать на эти деньги экипаж и четверку лошадей.

– Какой вздор! тихо произнес мистер Дэль. – Знаете ли, что к концу года у меня от вашего выигрыша не останется ни гроша?

И действительно, как ни мало правдоподобно казалось подобное признание, но оно было справедливо, потому что мистер Дэль обыкновенно делил свои неожиданные приобретения на три части: одну треть он дарил мистрисс Дал на булавки; что делалось с другой третью, в этом он никогда не признавался даже своей дражайшей половине, а известно было, впрочем, что каждый раз, как только он выигрывал семь с половиною шиллингов, пол-кроны, в которой он никому не давал отчета, и которой никто не мог учесть, отправлялась прямехонько в приходскую кружку для бедных, – между тем как остальную треть мистер Дэль удерживал себе. Но я нисколько не сомневаюсь, что в конце года и эти деньги так же легко переходили к бедным, как и те, которые были опушены в кружку.

Все общество собралось теперь вокруг подноса, исключая одного Франка, который, склонив голову на обе руки и погрузив пальцы в свои густые волосы, все еще продолжал рассматривать географическую карту, приложенную к «Истории Британских Провинций».

– Франк, сказал мистер Гэзельден: – я еще никогда не замечал в тебе такого прилежания.

Франк выпрямился и покраснел: казалось, ему стыдно стало, что его обвиняют в излишнем прилежании.

– Скажи, пожалуйста, Франк, продолжал мистер Гэзельден, с некоторым замешательством, которое особенно обнаружилось в его голосе: – скажи, пожалуйста, что ты знаешь о Рандале Лесли?

– Я знаю, сэр, что он учится в Итоне.

– В каком роде этот мальчик? спросила мистрисс Гэзельден.

Франк колебался: видно было, что он делал какие-то соображения, – и потом отвечал:

– Говорят, что он самый умный мальчик во всем заведении. Одно только нехорошо: он ведет, себя как сапер.

– Другими словами, возразил мистер Дэль, с приличною особе своей важностью: он очень хорошо понимает, что его послали в школу учить свои уроки, и он учит их. Вы называете это саперным искусством, а я называю исполнением своей обязанности. Но скажите на милость, кто и что такое этот Рандаль Лесли, из за которого вы, сквайр, по видимому, так сильно встревожены?

– Кто и что он такое? повторил сквайр, сердитым тоном. – Вам известно, кажется, что мистер Одлей Эджертон женился на мисс Лесли, богатой наследнице; следовательно, этот мальчик приходится ей родственник. Правду сказать, прибавил сквайр: – он и мне довольно близкий родственник, потому что бабушка его носила нашу фамилию. Но все, что я знаю об этих Лесли, заключается в весьма немногом. Мистер Эджертон, как говорили мне, не имея у себя детей, после кончины жены своей – бедная женщина! – взял молодого Рандалья на свое попечение, платит за его воспитание и, если я не ошибаюсь, усыновил его и намерен сделать своим наследником. Дай Бог! дай Бог! Франк и я, благодаря Бога, ни в чем не нуждаемся от мистера Одлея Эджертона.

– Я вполне верю великодушию вашего брата к родственнику своей жены, довольно сухо сказал мистер Дэль: – я уверен, что в сердце мистера Эджертона много благородного чувства.

– Ну что вы говорите! что вы знаете о мистере Эджертоне! Я не думаю даже, чтобы вам когданибудь доводилось говорить с ним.

– Да, сказал мистер Дэль, покраснев и с заметным смущением:– я разговаривал с ним всего только раз, – и, заметив изумление сквайра, присовокупил: – это было в ту пору, когда я

жил еще в Лэнсмере и, признаюсь, весьма неприятный предмет нашего разговора имел тесную связь с семейством одного из моих прихожан.

– Понимаю! одного из ваших прихожан в Лэнсмере – одного из избирательных членов, совершенно уничтоженного мистером Одлеем Эджертоном, – уничтоженного после всех беспокоев, которые я принял на себя, чтоб догавять ему места. Странно, право, мистер Дэль, что до сих пор вы ни разу не упомянули об этом.

– Это вот почему, мой добрый сэр, сказал мистер Дэль, понижая свой голос и мягким тоном выражая кроткий упрек:– каждый раз, как только заговорю я о мистере Эджертоне, вы, не знаю почему, всегда приходите в сильное раздражение.

– Я прихожу в раздражение! воскликнул сквайр, в котором гнев, так давно уже подогреваемый, теперь совершенно закипел: – в раздражение, милостивый государь! Вы говорите правду; по крайней мере, я должен так думать. Как же прикажете поступать мне иначе, мистер Дэль? Вы не знаете, что это тот самый человек, которого я был представителем в городском совете! человек, за которого я стрелялся с офицером королевской службы и получил пулю в правое плечо! человек, который за все это до такой степени был неблагодарен, что решился с пренебрежением отозваться о поземельных доходах... мало того: решился явно утверждать, что в земледельческом мире не существовало бедствия в ту несчастную годину, когда у меня самого раззорились трое самых лучших фермеров! человек, милостивый государь, который произнес торжественную речь о замене звонкой монеты в нашей провинции ассигнациями и получил за эту речь поздравление и одобрительный отзыв. Праведное небо! Хороши же вы, мистер Дэль, если решаетесь вступаться за такого человека. Я этого не знал! И после этого извольте сберечь ваше хладнокровие! – Последние слова сквайр не выговорил, но прокричал, а, в добавок к грозному голосу, до такой степени нахмурил брови, что на лице его отразилось раздражение, которым с удовольствием бы воспользовался хороший артист для изображения бьющегося Фитцгеральда. – Я вам вот что скажу, мистер Дэль, если б этот человек не был мне полубрат, я бы непременно вызвал его на дуэль. Мне не в первый раз драться. У меня уж была пуля в правом плече... Да, милостивый государь! я непременно вызвал бы его.

– Мистер Гэзельден! мистер Гэзельден! я трепещу за вас! вскричал мистер Дэль, и, приложив губы к уху сквайра, продолжал говорить что-то шепотом. – Какой пример показываете вы вашему сыну! вспомните, если из него выйдет современем дуэлист, то вините в этом одного себя.

Эти слова, по видимому, охладили гнев мистера Гэзельдена.

– Вы сами вызвали меня на это, сказал он, опустил в свое кресло и носовым платком начал навевать за лицо свое прохладу.

Мистер Дэль видел, что, перевес был на его стороне, и потому, нисколько не стесняясь и притом весьма искусно, старался воспользоваться этим случаем.

– Теперь, говорил он: – когда это совершенно в вашей воле и власти, вы должны оказать снисхождение и ласки мальчику, которого мистер Эджертон, из уважения к памяти своей жены, принял под свое покровительство, – вашему родственнику, который в жизни своей не сделал вам оскорбления, – мальчику, которого прилежание в науках служит верным доказательством тому, что он может быть превосходным товарищем вашему сыну. – Франк, мой милый (при этом мистер Дэль возвысил голос), ты что-то очень усердно рассматривал карту нашей провинции: не хочешь ли ты сделать визит молодому Лесли?

– Да, я бы хотел, отвечал Франк довольно робко: – если только папа не встретит к тому препятствия. – Лесли всегда был очень добр ко мне, несмотря, что он уже в шестом классе и считается старшим во всей школе.

– Само собою разумеется, сказала мистрисс Гэзельден: – что прилежный мальчик всегда питает дружеское чувство к другому прилежному мальчику; а хотя, Франк, ты проводишь свои каникулы совершенно без всяких занятий зато, я уверена, ты очень много потрудился в школе.

Мистрисс Дэль с изумлением устремила глаза на мистрисс Гэзельден.

Мистрисс Гэзельден отразила этот взгляд с невероятной быстротой.

– Да, Кэрри, сказала она, кивая головой, вы вправе полагать, что Франк мой не умница; но по крайней мере все учителя отзываются о нем с отличной стороны. На прошлом полугодовом экзамене он удостоился подарка.... Скажи-ка, Франк – держи прямо голову, душа моя – за что ты получил эту миленькую книжку?

– За стихи, мама, отвечал Франк, весьма принужденно.

Мистрисс Гэзельден (*с торжествующим видом*). За стихи! слышите, Кэрри? за стихи!

Франк. Да, за стихи! только не моего произведения: для меня написать их Лесли.

Мистрисс Гэзельден (*с выражением сильного упрека*). О, Франк! получить подарок за чужие труды – это неблагородно.

Франк (*весьма простодушно*). Вам, мама, все еще не может быть так стыдно, как было стыдно мне в ту пору, когда мне вручали этот подарок.

Мистрисс Дэль (*хотя до этого несколько и обиженная словами Гэрри, обнаруживает теперь торжество великодушия над легонькой раздражительностью своего характера*). Простите меня, Франк: я совсем иначе думала об вас. Ваша мама столько же должна гордиться вашими чувствами, сколько гордилась тем, что вы получили подарок.

Мистрисс Гэзельден обвивает рукой шею Франка, обращается к мистрисс Дэль с лучезарной улыбкой и потом вполголоса заводит с своим сыном разговор о Рандале Лесли. В это время Джемима подошла к Кэрри и голосом, совершенно неслышным для других, сказала:

– А мы все-таки забываем бедного мистера Риккабокка. Мистрисс Гэзельден хотя и самое милое, драгоценное создание в мире, но, к несчастью, вовсе не имеет способности приглашать к себе людей. Как вы думаете, Кэрри, не лучше ли будет, если вы сами замолвите ему словечко?

– А почему бы вам самим не послать к нему записочки? отвечала мистрисс Дэль, закутываясь в шаль: пошлите, да и только; и я между тем, без всякого сомнения, увижусь с ним.

– Мой добрый друг, вы, вероятно, простите дерзость моих слов, сказал мистер Дэль, положив руку на плечо сквайра. – Вы знаете, что я имею привычку допускать себе странные вольности перед теми, кого я искренно люблю и уважаю.

– Стоит ли об этом говорят! ответил сквайр, и, быт может, вопреки его желания, на лице его появилась непринужденная улыбка. – Вы всегда поступаете по принятому вами правилу, и мне кажется, что Франк должен прокатиться повидаться с питомцем моего....

– *Брата*, подхватил мистер Дэль, заключив сентенцию сквайра таким голосом, который придавал этому милому слову такой сладостный, приятный звук, что сквайр хотя и приготавлился, но не сделал на это никакого возражения.

Мистер Дэль простился окончательно; но в то время, как он проходил мимо капитана Бернэбеса, кроткое выражение лица его внезапно изменилось в суровое.

– Не забудьте, капитан Гиджинботэм ваших ошибок в игре!

Сказав это отрывисто, он величественно вышел из гостиной.

Ночь была такая прелестная, что мистер Дэль и его жена, возвращаясь домой, сделали маленький *détour* по кустарникам, окружающим селение.

Мистрисс Дэль. Мне кажется, я успела надеть в этот вечер чрезвычайно много.

Мистер Дэль (*пробуждаясь от глубокой задумчивости*). И в самом деле, Кэрри! – да! у тебя это будет премиленький платочек!

Мистрисс Дэль. Платочек! Ах, какие пустяки! Я об нем и забыла в эту минуту. Как ты думаешь, мой друг, мне кажется, что еслиб судьба свела Джемиму и синьора Риккабокка вместе, ведь они, право, были бы счастливы.

Мистер Дэль. Еслиб судьба свела их вместе!

Мистрисс Дэль. Ах, друг мой, ты не хочешь понять меня; – я говорю, что еслиб мне можно было сделать из этого супружескую партию!

Мистер Дэль. Кажется, этому не бывать. Я думаю, Риккабокка, давно уже обречен составить партию, но только не с Джемимой.

Мистрисс Дэл (*надменно улыбаясь*). Посмотрим, посмотрим. Ведь за Джемимой, кажется, есть капитал в четыре тысячи фунтов?

Мистер Дэль (*снова углубленный в прерванные размышления*). Да, да; мне кажется.

Мистрисс Дэль. И, вероятно, на этот капитал выросли проценты, так что, по-моему мнению, в настоящую пору у неё должно быть почти шесть тысяч фунтов!.. Как ты думаешь, Чарльз? Ты опять задумался, мой друг!..

## Глава X

(Представляется на благоусмотрение читателей письмо, написанное, будто бы, самой мистрисс Газельден, на имя Риккабокка, в казино, но в самом-то деле сочиненное и изданное мисс Джемимой Гэзельден.)

*«Милостивый государь!*

*Для чувствительного сердца всегда должно быть мучительно сознание в нанесенной скорби другому сердцу. Вы, милостивый государь (хотя я неумышленно, в этом я совершенно уверена), причинили величайшую скорбь бедному мистеру Гэзельдену, мне и вообще всему маленькому нашему кружку, жестоко уничтожив все наши попытки познакомиться короче с джентльменом, которого мы так высоко почитаем. Сделайте одолжение, милостивый государь, удостойте нас тем, что называется по французски *atende honorable*, и доставьте нам удовольствие посещением нашего дома на несколько дней. Можем ли мы рассчитывать на это посещение в будущую субботу? мы обедаем в шесть часов.*

*Свидетельствуя почтение от мистера и мисс Джемимы Гэзельден, остаюсь уважающая вас*

*Г. Г.*

*Гэзельден-Голл.»*

Мисс Джемима, бережно запечатав эту записку, которую мистрисс Гэзельден весьма охотно поручила ей написать, – лично понесла ее на конюшню, с тем, чтобы сделать груму приличные наставления насчет получения ответа. Но в то время, как она говорила об этом с лакеем, к той же конюшне подошел Франк, одетый к поездке верхом, с большим против обыкновенного дендизмом. Громким голосом он приказал вывести свою шотландскую лошадку и, выбрав себе в провожатые того же лакея, с которым разговаривала мисс Джемима – это был расторопнейший из всей конюшенной прислуги сквайра – велел ему оседлать серого иноходца и провожать его лошадку.

– Нет, Франк, сказала мисс Джемима: – вам нельзя взять Джоржа: ваш папа хочет послать его с поручением. Вы можете взять Мата.

– Мата! сказал Франк, с видимым неудовольствием, и на это имел основательные причины.

Мат был грубый старик, который завязывал свой шейной платок несносным образом и всегда носил на сапогах огромные заплата; кроме того, он называл Франка «мастэром» и ни за что на свете не позволял молодому господину спускаться с горы рысью.

– Вы говорите – Мата! Нет уж, извините! пускай лучше Мату дадут поручение, а Джорж поедет со мной.

Но и мисс Джемима имела свои, едва ли не более основательные, причины отказаться от Мата. Услужливость не была отличительною чертой в характере Мата: во всех домах, где не угощали его элем в лакейских, он не любил быть учтивым и обходительным. Легко могло стать, что он оскорбил бы синьора Риккабокка и тем испортил бы все дело. Вследствие этого, между Джемимой и Франком начался горячий спор, среди которого на конюшенный двор явились сквайр и его жена, с тем намерением, чтобы сесть в двух-местную кабриолетку и отправиться в город на рынок. Само собою разумеется, что тяжущиеся стороны немедленно представили это дело решению сквайра.

Сквайр с величайшим негодованием взглянул на сына.

– Скажи пожалуйста, зачем ты хочешь взять с собой грума? Ужь не боишься ли ты, что твоя шотландка сшибет тебя?

– Нет, сэр, я не боюсь; но мне хотелось бы ехать как следует джентльмену, когда я делаю визит джентльмену же; отвечал Франк.

– Ах, ты молокосос! вскричал сквайр с большим негодованием. – Я думаю, что я джентльмен не хуже тебя; но хотелось бы, знать, видел ли ты меня когданибудь, чтобы я, отправляясь к соседу, имел за собою лакея вон как этот выскочка Нед Спанки, которого отец был бумагопрядильным фабрикантом! В первый раз слышу я, что один из Гэзельенов считает ливрею необходимым средством для доказательства своего происхождения.

– Тс, Франк! сказала мистрисс Гэзельден, заметив, что Франк покраснелся и намеревался что-то отвечать: никогда не делай возражений своему отцу. Ведь ты едешь повидаться с мистером Лесли?

– Да, мама, и за это позволение я премного обязан моему папа, отвечал Франк, взяв за руку сквайра.

– Но скажи, пожалуйста, Франк, продолжала мистрисс Гэзельден: – я думаю, ты слышал, что Лесли живут очень бедно.

– Что же следует из этого?

– Разве ты не рискуешь оскорбить гордость джентльмена такого же хорошего происхождения, как и ты сам, разве ты не рискуешь оскорбить его, стараясь показать что ты богаче его?

– Клянусь честью, Гэрри, воскликнул сквайр, с величайшим восхищением; – я сию минуту дал бы десять фунтов за то только, чтобы выразиться по твоему.

– Вы совершенно правы, мама: ничего не может быть *снобичнее* моего поступка, сказал Франк, оставив руку сквайра и взяв руку матери.

– Дайте же и мне вашу руку, сэр. Я вижу, что современем из тебя выйдет чтонибудь путное, сказал сквайр.

Франк улыбнулся и отправился к своей шотландской лошадке.

– Это, кажется, та самая записка, которую вы, написали за меня? сказала мистрисс Гэзельден, обращаясь к мисс Джемиме.

– Та самая. Полагая, что вы не полюбопытствуете взглянуть на нее, я запечатала ее и отдала Джоржу.

– Да вот что: ведь Франк поедет мимо казино; это как раз по дороге к Лесли, сказала мистрисс Гэзельден. – Мне кажется, гораздо учтивее будет, если он сам завезет эту записку.

– Вы думаете? возразила мисс Джемима, с заметным колебанием.

– Да, конечно, отвечала мистрисс Гэзельден. – Франк! послушай, Франк! ты поедешь ведь мимо казино, так, пожалуйста, заезжай к мистеру Риккабокка, отдай ему эту записку и скажи, что мы от души будем рады его посещению.

Франк кивает головой.

– Постой, постой на минутку! вскричал сквайр. – Если Риккабокка дома, то я готов держать пари, что он предложит тебе рюмку вина! Если предложит, то не забудь, что это хуже всякой микстуры. Фи! помнишь, Гэрри? я так и думал, что мне уже не ожить.

– Да, да, возразила мистрисс Гэзельден: – ради Бога, Франк, не пей ни капельки. Ужь нечего сказать, вино!

– Да смотри, не проболтайся об этом! заметил сквайр, делая чрезвычайно квелую мину.

– Я постараюсь, сэр, сказал Франк и с громким смехом скрылся во внутренние пределы конюшни.

Мисс Джемима следует за ним, ласково заключает с ним мировую, и до тех пор, пока нога Франка не очутилась в стремени, она не прекращает своих увещаний обойтись с бедным чужеземным джентльменом как можно учтивее. Маленькая лошадка, заслышав седока, делает прыжок-другой и стрелой вылетает со двора.

## Глава XI

«Какое милое, очаровательное место!»! подумал Франк, вступив на дорогу, ведущую по цветистым полям прямо в казино, которое еще издали улыбалось ему с своими штукатурными пилястрами. – Удивляюсь, право, что мой папа, который любит такой порядок во всем, не обращает внимания на эту дорогу: вся она совершенно избита и заросла травой. Надобно полагать, что у Моунсира не часто бывают посетители.»

Но когда Франк вступил на пространство земли, ближайшее к дому, тогда ему не представлялось более причин жаловаться на запустение и беспорядок. Ничто, по видимому, не могло бы содержаться опрятнее. Франк устыдился даже грубых следов, проложенных копытами его маленькой лошадки, по гладкой, усыпанной песком дороге. Он остановился, слез с коня, привязал его к калитке и отправился к стеклянной двери в лицевом фасаде здания.

Франк позвонил в колокольчик раз, другой, но на призыв его никто не являлся. Старуха служанка, крепкая на-ухо, бродила где-то в отдаленной стороне двора, отыскивая яйца, которые курица как будто нарочно запрятала от кухонных предназначений, между тем как Джакеймо удил пискарей и колюшек, которые, в случае если изловятся, вместе с яйцами, если те отыщутся, определялись на то, чтоб продовольствовать самого Джакеймо, а равным образом и его господина. Старая женщина служила в этом доме из за насущного хлеба... счастливая старуха! – Франк позвонил в третий раз, и уже с нетерпением и пылкостью, свойственными его возрасту. Из бельведера, на высокой террасе, выглянуло чье-то лицо.

– Сорванец! сказал доктор Риккабокка про себя. – Молодые петухи всегда громко кричат на своей мусорной яме; а этот петух, должно быть, высокого рода, если кричит так громко на чужой.

Вслед за тем Риккабокка медленно побрел из летней своей комнаты и явился внезапно перед Франком, в одежде, имеющей большое сходство с одеждой чародея, и именно: в длинной мантии из черной саржи, в красной шапочке на голове, и с облаком дыму, быстро слетевшим с его уст, как последний утешительный вздох, перед разлукой их с трубкой. Франк хотя не раз уже видел доктора, но никогда не видал его в таком схоластическом костюме, и потому немудрено, что когда он обернулся назад, то немного испугался его появления.

– Синьорино – молодой джентльмен! сказал итальянец, с обычной вежливостью, снимая свою шапочку. – Извините небрежность моей прислуги; я считаю за счастье лично принять ваши приказания.

– Вы, верно, доктор Риккабокка? пробормотал Франк, приведенный в крайнее смущение таким учтивым приветом, сопровождаемым низким и в то же время величественным поклоном: – я... у меня есть записка из Гэзельден-Голла. Мама... то есть, моя маменька... и тетенька Джемима свидетельствуют вам почтение, и надеются, сэръ, что вы посетите их.

Доктор, с другим поклоном, взял записку и, отворив стеклянную дверь, пригласил Франка войти.

Молодой джентльмен, с обычною неделикатностью школьника, хотел было сказать, что он торопится, и таким образом отказаться от предложения, но благородная манера доктора Риккабокка невольно внушала к нему уважение, а мелькнувшая перед ним внутренность приемной залы возбудила его любопытство, и потому он молча принял приглашение.

Стены залы, сведенные в осьмиугольную форму, первоначально разделены были по углам деревянными панелями на части, отделявшие одну сторону от другой, и в этих-то частях итальянец написал ландшафты, сияющие теплым солнечным светом его родного края. Франк не считался знатоком искусства; но он поражен был представленными сценами: все картины изображали виды какого-то озера – действительного или воображаемого; во всех них темно-голубые воды отражали в себе темно-голубое, тихое небо. На одном ландшафте побег сту-

пеней опускался до самого озера, где веселая группа совершала какое-то торжество; на другом – заходящее солнце бросало розовые лучи свои на большую виллу, позади которой выселись Альпы, а по бокам тянулись виноградники, между тем как на гладкой поверхности озера скользили мелкие шлюбки. Короче сказать, во всех осьми отделениях сцена хотя и различалась в подробностях, но сохраняла тот же самый общий характер: казалось, что художник представлял во всех картинах какую-то любимую местность. Итальянец, однако же, не удостоивал особенным вниманием свои художественные произведения. Проведя Франка через залу, он открыл дверь своей обыкновенной гостиной и попросил гостя войти. Франк вошел довольно неохотно и с застенчивостью, вовсе ему несвойственной, присел на кончик стула. Здесь новые обрачки рукоделья доктора снова приковали к себе внимание Франка. Комната первоначально была оклеена шпалерами; но Риккабокка растянул холст по стенам и написал на этом холсте различные девизы сатирического свойства, отделенные один от другого фантастическими арабесками. Здесь Купидон катил тачку, нагруженную сердцами, которые он, по видимому, продавал безобразному старику, с мешком золота в руке – вероятно, Плутусу, богу богатства. Там показывался Диоген, идущий по рыночной площади, с фонарем в руке, при свете которого он отыскивал честного человека, между тем как толпа ребятишек издевалась над ним, а стая дворовых собак рвала его за одежду. В другом месте виден был лев, полу-прикрытый лисьей шкурой, между тем как волк, в овечьей маске, весьма дружелюбно беседовал с молодым ягненком. Тут выступали встревоженные гуси, с открытыми клювами и вытянутыми шеями, из Римского Капитолия, между тем как в отдалении виднелись группы быстро убегающих воинов. Короче сказать, во всех этих странных эмблемах символически выражался сильный сарказм; только над одним камином красовалась картина, более оконченная и более серьезного содержания. Это была мужская фигура в одежде пилигрима, прикованная к земле тонкими, по бесчисленным лигатурам, между тем как призрачное подобие этой фигуры стремилось в беспредельную даль; и под всем этим написаны были патетические слова Горация:

Patriae quis exul  
Se quoque quoque fugit.<sup>6</sup>

Мебель в доме была чрезвычайно проста и даже недостаточна; но, несмотря на то, она с таким вкусом была расставлена, что придавала комнатам необыкновенную прелесть. Несколько алебастровых бюстов и статуй, купленных, быть может, у какого нибудь странствующего артиста, имели свой классический эффект; они весело выглядывали из за сгруппированных вокруг них цветов или прислонялись к легким экранам из тонких ивовых прутьев, опускавшихся снизу концами в ящики с землей, служившей грунтом для чужездных растений и широколиственного плюща. Все это, вместе с роскошными букетами живых цветов, сообщало гостиной вид прекрасного цветника.

– Могу ли я просить вашего позволения? сказал итальянец, приложив палец к печати полученной записки.

– О, да! весьма наивно отвечал Франк.

Риккабокка сломал печать, и легкая улыбка прокралась на его лицо. После того он отвернулся от Франка немного в сторону, прикрыл рукой лицо и, по видимому, углубился в размышления.

---

<sup>6</sup> Легко ли изгнаннику, прикованному таким образом к отечеству, покинут его?

– Мистресс Гэзельден, оказал он наконец:– делает мне весьма большую честь. Я с трудом узнаю её почерк; иначе у меня было бы более нетерпения распечатать письмо.

Черные глаза его поднялись сверх очков и пронизательные взоры устремились прямо в незащитное и бесхитрое сердце Франка. Доктор приподнял записку и пальцем указал на буквы.

– Это почерк кузины Джемимы, сказал Франк так быстро, как будто об этом ему предложен был вопрос.

Итальянец улыбнулся.

– Вероятно, у мистера Гэзельдена много гостей?

– Напротив того, нет ни души, отвечал Франк: впрочем, виноват: у нас гостит теперь капитан Барни. До сезона псовой охоты у нас бывает очень мало гостей, прибавил Франк, с легким вздохом:– и кроме того, как вам известно, каникулы уже кончились. Что касается до меня, я полагаю, что нам дадут еще месяц отсрочки.

По видимому, первая половина ответа Франка успокоила доктора, и он, поместившись за стол, написал ответ, – не торопливо, как пишем мы, англичане, но с особенным тщанием и аккуратностью, подобно человеку, привыкшему взвешивать значение каждого слова, – и писал тем медленным, красивым итальянским почерком, который при каждой букве дает писателю так много времени для размышления. Поэтому-то Риккабокка и не дал никакого ответа на замечание Франка касательно каникул; он соблюдал молчание до тех пор, пока не кончил записки, прочитал ее три раза, запечатал сургучом, который растапливал чрезвычайно медленно, а потом, вручив ее Франку, сказал:

– За вас, молодой джентльмен, я сожалею, что каникулы ваши кончатся так рано; за себя я должен радоваться, потому что принимаю благосклонное приглашение, которое вы, передав его лично, сделали лестным для меня вдвойне.

«Нелегкая поберит этого иностранца, с его комплиментами!» подумал англичанин Франк.

Итальянец снова улыбнулся, как будто на этот раз, не употребляя в дело своих черных, пронизательных глаз, он читал в сердце юноши, и сказал, но уже не так вычурно, как прежде:

– Вероятно, молодой джентльмен, вы не слишком заботитесь о комплиментах?

– Нисколько, отвечал Франк, весьма простодушно.

– Тем лучше для вас, особливо, когда дорога в свете для вас открыта. Оно было бы гораздо хуже, если бы вам приходилось открывать эту дорогу самому.

Лицо Франка ясно выражало замешательство; мысль, высказанная доктором, была слишком для него глубока, и потому он заблагоразсудил обратиться к картинам.

– У вас прекрасные картины, сказал он: – кажется, они отлично сделаны. Чьей они работы?

– Синьорино Гэзельден, вы дарите меня тем, от чего сами отказались.

– Что такое? произнес Франк, вопросительно.

– Вы дарите меня комплиментами.

– Кто? а! совсем нет. Однако, эти картины превосходно написаны... не правда ли, сэр?

– Не совсем; позвольте вам заметить, вы говорите с самим артистом...

– Как так! неужели вы сами писали их?

– Да.

– И картины, которые в зале?

– И те тоже.

– Вы снимали их с натуры?

– Натура, сказал итальянец, стараясь придать словам своим большее значение, быть может, с той целью, чтоб избегнуть прямого ответа: – натура ничего не позволяет снимать с себя.

– О! произнес Франк, снова приведенный в крайнее замешательство. – Итак, я должен пожелать вам доброго утра, сэр. Я очень рад, что вы будете к нам.

– Вы говорите это без комплиментов?

– Без комплиментов.

– *A rivedersi* – прощайте, молодой джентльмен! сказал итальянец. – Пожалуйста сюда, прибавил он, заметив, что Франк устремился совсем не к той двери. – Могу ли я предложить вам рюмку вина? оно у нас чистое, неподдельное, собственного нашего изделия.

– Нет, нет, благодарю вас, сэр! вскричал Франк, внезапно вспомнив наставление своего родителя. – Прощайте; пожалуста, не беспокойтесь: теперь я один найду дорогу.

Однако же, вежливый итальянец проводил гостя до самой калитки, у которой Франк привязал свою лошадку. Молодой джентльмен, опасаясь, чтобы такой услужливый хозяин дома не подал ему стремя, в один миг отвязал уздечку и так торопливо вскочил на седло, что не успел даже попросить итальянца показать ему дорогу в Руд, которой он решительно не знал. Взор итальянца следил за молодым человеком до тех пор, пока тот не поднялся на пригорок, и тогда из груди доктора вылетел тяжелый вздох.

«Чем умнее мы становимся – сказал он про себя – тем более сожалеем о возрасте наших заблуждений; гораздо лучше мчаться с легким сердцем на вершину каменистой горы, нежели сидеть в бельведере с Макиавелли.»

Вместе с этим он воротился на бельведер, но уже не мог снова приступить к своим занятиям. Несколько минут он простоял, вглядываясь в даль аллеи; аллея напомнила ему о полях, которые Джакеймо расположен был взять в арендное содержание, а поля напомнили ему о Ленни Ферфилде. Риккабокка пришел домой и через несколько секунд снова появился на дворе, в костюме, который он носил за пределами своего дома, с плащем и зонтиком, закурил свою трубку и побрел к деревне Гэзельден.

Между тем Франк, проскакав коротким галопом некоторое расстояние, остановился у коттэджа, лежащего по дороге, и узнал там, что в Руд-Голл пролегает по полям тропа, по которой он может выиграть не менее 3 миль. Франк сбился с этой тропы и опять выехал на большую дорогу. Шоссейный сборщик, получив сначала пошлину за право молодого человека совершать дальнейшее путешествие по большой дороге, снова посоветовал юному наезднику возвратиться на прежнюю тропу, и наконец, после долгих поисков, Франк встретил несколько проселков, где полу-сгнивший придорожный столб указал ему дорогу в Руд. Уже к вечеру, проскакав пятнадцать миль, при желании сократить десять миль в семь, Франк внезапно очутился на дикоме, первобытном пространстве земли, казавшемся полу-пустырем, полу-выгоном, с неопрятными, полу-сгнившими, жалкой наружности хижинами, рассеянными в странном захолустье. Ленивые, оборванные ребятишки играли грязью на дороге; неопрятные женщины сушили солому за заборами; большая, по обветшавшая от времени и непогод церковь, как будто говорившая, что поколение, которое смотрело на нее, когда она еще строилась, было гораздо набожнее поколения, которое теперь совершало в ней молитвы, стояла подле самой дороги.

– Не эта ли деревня Руд? спросил Франк здорового, молодого парня, разбивающего щебенку – печальный признак того, что лучшего занятия он не мог найти!

Молодой работник утвердительно кивнул головой и продолжал свою работу.

– А где же здесь господский дом мистера Лесли?

Работник взглянул на Франка с глупым изумлением и на этот раз дотронулся до шляпы.

– Не туда ли вы едете?

– Туда, если только найду этот дом.

– Я покажу нашей чести, сказал мужик, весьма проворно.

Франк сдержал свою лошадку, и провожатый пошел с ним рядом.

Франк, можно сказать, был батюшкин сынок. Вопреки различию возраста и той разборчивой перемене привычек, которая в успехах цивилизации характеризует каждое следующее поколение, вопреки всей его итонской блестящей наружности, он очень хорошо был знаком с крестьянским бытом и, как деревенский уроженец, с одного взгляда понимал положение сельского хозяйства.

– Кажется, вы не совсем-то хорошо поживаете в этой деревне? спросил Франк, с видом знатока.

– Да, не совсем: летом у нас неурожай, а зимой работы нет; несчастье да и только! а помочь горю не знаем чем.

– Но, я полагаю, у вас есть фермеры, которые нуждаются в работниках?

– Фермеры-то есть, да работы-то у них нет: вы видите сами, какая дикая земля здесь.

– А это, вероятно, господский выгон, и вам дано право пользоваться им? спросил Франк, осматривая большое стадо самых жалких двуногих и четвероногих животных.

– Так точно; сосед мой Тиминс держит на этом вагоне гусей, кто-то из наших держит корову, а сосед Джолас пасет поросят. Не могу вам сказать, дано ли право им на это, – знаю только, что наши господа делают для нас все, что только может послужить нам в пользу. Конечно, они не могут сделать многого, потому что сами не там богаты, как другие господа; поприбавил крестьянин с гордостью: – они так добры, таких господ немного в нашем округе.

– Мне приятно слышать, что ты любишь их.

– О, да, я их очень люблю... Вы не в одной ли школе с нашим молодым джентльменом?

– В одной, отвечал Франк.

– Вот как! я слышал, как ваш священник говорил, что мастэр Рандаль большой руки умница, и что со временем он разбогатеет. Дай-то Господи! это знаете, ведь у бедного помещика и крестьянину труднее богатеть.... А вон и господский дом, сэръ!

## Глава XII

Франк взглянул по прямому направлению и увидел четырех-угольный дом, который, несмотря на неподъемные окна новейшей архитектуры, очевидно принадлежал к глубокой древности. Высокая конусообразная кровля, высокие странной формы горшки из красной закаленной глыбы, опрокинутые над уединенными дымовыми трубами, самой простой постройки нынешних времен, ветхая резная работа на дубовых дверях времен Георга III, устроенных в стрельчатом своде времен Тюдоров, и какая-то особенная, потемневшая от времени и непогод наружность маленьких прекрасно выделанных кирпичей, из которых выведено было здание, – все это вместе обнаруживало резиденцию прежних поколений, примененную, без всякого вкуса, к привычкам потомков, непроникнутых духом современности или равнодушных к поэзии минувшего. Этот дом, среди дикой, пустынной страны, явился перед Франком совсем неожиданно. Расположенный в овраге, он скрывался от взора беспорядочной группой оципаных, печальных, захирелых сосен. Крутой поворот дороги устранил это прикрытие, и уединенное жилище, со всеми своими подробностями, весьма неприятно поражало взор путешественника. Франк спустился с своего коня и передал повод провозжатою. Поправив галстук, молодой итонский щеголь приблизился к дверям и громким ударом медной скобы нарушил безмолвие, господствовавшее вокруг дома, таким громким ударом, который спугнул изумленного скворца, свивавшего под выступом кровли гнездо, и поднял на воздух стадо воробьев, синиц и желтобрюшек, пиروвавших между разбросанными грудями сена и соломы на грязном хуторном дворе, по правую сторону господского дома, обнесенном простым, неокрашенным деревянным забором. Между тем свинья, сопровождаемая своим семейством, прибрела к воротам забора и, положив свою морду на нижнюю перекладину ворот, как бы осматривала посетителя с любопытством и некоторым подозрением.

В то время, как Франк ждет у дверей и от нетерпения сбивает хлыстом пыль с своих белых панталон, мы украдкой бросим взгляд на членов семейства, обитающего в этом доме. Мистер Лесли, *pater familias*, находится в маленькой комнатке, называемой его «кабинетом», в который он отправляется каждое утро после завтрака, и редко снова появляется в семейном кругу ранее часа пополудни, назначенного, чисто по деревенски, для обеда. В каких таинственных занятиях мистер Лесли проводит эти часы, никто еще не решался сделать заключения. В настоящую минуту он сидит за маленьким дряхлым бюро, у которого под одной из ножек (вследствие того, что она короче других) подложен сверточек из старых писем и обрывков от старых газет. Бюро открыто и представляет множество углублений и ящичков, наполненных всякой всячиной, собранной в течение многих лет. В одном из этих ящичков находятся связки писем, весьма желтых и перевязанных полинялой тесемкой; в другом – обломок пудингового камня, который мистер Лесли нашел во время своих прогулок и считает за редкий минерал: вследствие того на обломке красуется ярлычок с отчетливою надписью: «найден на проселочной дороге в овраге, мая 21-го 1824 года, Мондером Лесли, сквайром». Следующий ящик содержит в себе различные обломки железа в виде гвоздей, обломков лошадиных подков и проч., которые мистер Лесли также находил во время прогулок, и, согласно народному предразсудку, считал за большое несчастье не поднять их с земли, – и, подняв однажды, тем не менее предвещалось несчастье тому, кто решался бросить их. Далее, в ближайшем углублении, помещалась коллекция дырявых кремней, сохраняемых по той же причине, вместе с изогнутой шестипенсовой монетой; по соседству с этим отделением, в затейливом разнообразии, расположены были приморские башенки, арабские зубы (я разумею под этими словами название раковин) и другие образчики раковинных произведений природы, частью поступившие в наследство от одной родственницы, престарелой девы, а частью собранные самим мистером Лесли, во время его поездок к морским берегам. Тут же находились отчеты управителя,

несколько пачек старых счетов, старая шпора, три пары башмачным и чулочных пряжек, принадлежавших некогда отцу мистера Лесли, несколько печатей; связанных вместе на кусочке дратвы, шагриновый футляр для зубочисток, увеличительное стекло для чтения; оправленное в черепахе, первая тетрадь чистописания его старшего сына, такая же тетрадь второго сына, такая же тетрадь его дочери и клочок волос, связанный в узел, в оправе и за стеклышком. Кроме того там же лежали: маленькая мышеловка, патентованный пробочник; обломки серебряной чайной ложечки, которая, от долгого употребления, совершенно разложилась в некоторых своих частях; небольшой коричневый вязаный кошелек, заключающий в себе полу-пенсовые монеты, чеканенные в различные периоды, начиная от времен королевы Анны, вместе с двумя французскими *су* и немецкими *зильбергрошами*. Всю эту смесь мистер Лесли высокомерно называл «коллекцией монет» и в своем духовном завещании обозначил как фамильное наследство. За всем тем находилось еще множество других любопытных предметов подобного свойства и равного достоинства, «*quae nunc describere longum est*». Мистер Лесли занимался в это время, употребляя его собственные слова, «приведением вещей в порядок», занятие, совершаемое им с примерной аккуратностью раз в неделю. Этот день был назначен для подобного дела, и мистер Лесли только что пересчитал «коллекцию монет» и собирался уложить их в кошелек, когда удар Франка в медную скобу долетел до его слуха.

Мистер Мондер Слюг Лесли остановился, с видом недоверчивости покачал головой и приготовился было снова приступить к делу, как вдруг овладела им сильная зевота, мешавшая ему в течение целых двух минут завязать кошелек.

Предоставив этому кабинетному занятию кончиться своим порядком, мы обратимся в гостиную, или, вернее сказать, в приемную, и посмотрим, какого рода происходят там развлечения. Гостиная эта находилась в первом этаже. Из окон её представлялся пленительный вид, – не тощих, захиревших сосен, но романтического, волнистого, густого леса. Впрочем, эта комната после кончины мистрисс Лесли оставалась без всякого употребления. Правда, она предназначалась для того, чтобы сидеть в ней тогда, когда собиралось много гостей; но так как гости никогда не собирались в дом мистера Лесли, поэтому и в гостиной никогда не сидели. Да в настоящее время и невозможно было сидеть в ней, потому что бумажные шпалеры, под влиянием сырости, отстали от стен, а крысы, мыши и моль, эти «*edaces rerum*», разделили между собой, на съедение, почти все подушки от стульев и значительную часть пола. Вследствие этого, гостиную заменяла общая комната, в которой завтракали, обедали и ужинали, и где после ужина мистер Лесли имел обыкновение курить табак, под аккомпанемент горячего или голодного пунша, отчего по всей комнате раздавался запах, говорящий о множестве яств и тесноте жилища. В этой комнате было два окна: одно обращалось к тощим соснам, а другое выходило за хуторный двор, и из него вид замыкался птичником. Вблизи первого окна сидела мистрисс Лесли; перед ней, за высокой табуретке, стояла корзинка, с детским платьем, требующим починки. Подле неё находился рабочий столик, розового дерева, с бронзовыми каемками. Это был её свадебный подарок и в свое время стоил чрезвычайно дорого, хотя отделка его не отличалась ни вкусом, ни изящностью работы. От частого и давнего употребления, бронза во многих местах отстала и часто причиняла мучительную боль детским пальчикам или наносила опустошение на платье мистрисс Лесли. И в самом деле, это была самая затейливая мебель из целого дома, благодаря этим качествам бронзовых украшений, так что если бы это была живая обезьяна, то, право, и та не могла бы наделать, столько вредных шалостей. На рабочем столике лежали швейный прибор, наперсток, ножницы, мотки шерсти и ниток и маленькие лоскутки холстины и сукна для заплаток. Впрочем, мистрисс Лесли не занималась еще работой она только приготовлялось заняться ею, – и приготовления эти длились не менее полутора часа. На коленях у неё лежал роман, женщины-писательницы, очень много писавшей для минувшего поколения, под именем «мистрисс Бриджет Синяя Мантия». В левой руке мистрисс Лесли держала весьма тоненькую иголку, а в правой – очень толстую нитку; от времени до времени,

она прилагала конец помянутой нитки к губам и потом, отводя глаза от романа, делала хотя и усиленное, но бесполезное нападение на ушко иголки. Во не один, однако же, роман отвлек внимание мистрисс Лесли: она беспрестанно отрывалась от работы, или, лучше сказать, от чтения, затем, чтоб побранить детей, спросить, «который час», заметить, что «и из Сары ничего не выдет путнаго», или выразить, изумление, почему мистер Лесли не хочет заметить, что розовый столик давно пора отдать в починку. Мистрисс Лесли, надобно правду сказать, была женщина довольно миловидная. На зло её одежде, в одно и то же время весьма неопрятной и чересчур экономической, она все еще имела вид лэди и даже более, если взять в соображение тяжкие обязанности, сопряженные с её положением. Она очень гордилась древностью своей фамилии, как с отцовской, так и с материнской стороны: её мать происходила из почтенного рода Додлеров из Додль-Плэйса, существовавшего до Вильяма-Завоевателя. Действительно, стоит только заглянуть в самые ранние летописи нашего отечества, стоит только о размотреть некоторые из тех бесконечно-длинных поэм морального свойства, которыми восхищались в старину наши *тань* и *альдерманы*, чтоб убедиться, что Додлеры имели сильное влияние на народ прежде, чем Вильям I произвел во всем государстве великий переворот. Между тем как фамилия матери была неоспоримо саксонская, фамилия отца имела не только имя но и особенные качества, исключительно принадлежавшие одним нормандцам. Отец мистрисс Лесли носил имя Монтфиджет, без всякого сомнения, но неотъемлемому праву потомства от тех знаменитых баронов Монтфиджет, которые некогда владели обширными землями и неприступными замками. Как следует быть истому нормандцу, Монтфиджеты отличались большими, немного вздернутыми кверху носами, сухощавостью, вспыльчивостью и раздражительностью. Соединение этих двух поколений обнаруживалось даже для самого обыкновенного физиономиста как в физическом, так и в моральном устройстве мистрисс Лесли. У неё были умные, выразительные, голубые глаза саксонки и правильный, немного вздернутый нос нормандки; она часто задумывалась ни над чем и предавалась беспечности и лени там, где требовалось все её внимание – качества, принадлежавшие одним только Додлерам и Монтфиджетам. У ног мистрисс Лесли играла маленькая девочка – с прекрасными волосами, спускавшимися за уши мягкими локонами. В отдаленном конце комнаты, за высокой конторкой, сидел школьный товарищ Франка, старший сын мистера Лесли. Минуты за две перед тем, как Франк ударом в скобу нарушил во всем доме спокойствие и тишину, он отвел глаза от книг, лежавших на конторке, и отвел для того, чтобы взглянуть на чрезвычайно ветхий экземпляр греческого теста-мента, в котором брат его Оливер просил Рандаля разрешить встреченное затруднение. В то время, как лицо молодого студента повернулось к свету, ваше первое впечатление, при виде его, было бы довольно грустное и пробудило бы в вашей душе участие, смешанное с уважением, потому что это лицо потеряло уже живой, радостный характер юности: между бровями его образовалась морщина, под глазами и между оконечностями ноздрей и рта проходили линии, говорившие об истоме, – цвет лица был желто-зеленый, губы бледные. Лета, проведенные в занятиях, уже посеяли семена расслабления и болезни. Но если взор ваш остановится долее на выражении лица, то ваше сострадание постепенно уступит место какому-то тревожному, неприятному чувству, – чувству, имеющему близкое сходство со страхом. Вы увидели бы ясный отпечаток ума обработанного и в то же время почувствовали бы, что в этой обработке было что-то громадное, грозное. Заметным контрастом этому лицу, преждевременно устаревшему и не по летам умному, служило здоровое, круглое лицо Оливера, с томными, голубыми глазами, устремленными прямо на пронизательные глаза брата, как будто в эту минуту Оливер всеми силами старался уловить из них хоть один луч того ума, которым сияли глаза Рандаля, как светом звезды – чистым и холодным. При ударе Франка, в томных голубых глазах Оливера заискрилось одушевление, и он отскочил от брата в сторону. Маленькая девочка откинула с лица спустившиеся локоны и устремила на свою мама взгляд, выражавший испуг и удивление.

Молодой студент нахмурил брови и с видом человека, которого ничто не занимает, снова углубился в книги.

– Ах, Боже мой! вскричала мистрисс Лесли: – кто бы это мог быть? Оливер! сию минуту прочь, от окна: тебя увидят. Джульета! сбегай... нет, позвони в колокольчик... нет, нет, беги на лестницу и скажи, что дома нет. Нет дома, да и только, повторяла мистрисс Лесли выразительно.

Кровь Монтфиджета заиграла в ней.

Спустя минуту, за дверьми гостиной послышался громкий ребяческий голос Франка.

Рандаль слегка вздрогнул.

– Это голос Франка Гэзельдена, сказал он. – Мама, я желал бы его видеть.

– Видеть его! повторила мистрисс Лесли, с крайним изумлением: – видеть его! когда наша комната в таком положении.

Рандаль мог бы заметить, что положение комнаты несколько не хуже обыкновенного, но не сказал ни слова. Легкий румянец как быстро показался на его лице, так же быстро и исчез с него; вслед за тем он прислонился щекой к руке и крепко сжал губы.

Наружная дверь затворилась с угрюмым, негостеприимным скрипом, и в комнату, в стоптанных башмаках, вошла служанка, с визитной карточкой.

– Кому эта карточка? Дженни, подай ее мне! вскричала мистрисс Лесли.

Но Дженни отрицательно кивнула головой, положила карточку на конторку подле Рандалья и исчезла, не сказав ни слова.

– Рандаль! Рандаль! взгляни, взгляни, пожалуста! вскричал Оливер, снова бросившись к окну: – взгляни, какая миленькая серая лошадка.

Рандаль приподнял голову... мало того: он нарочно подошел к окну и устремил минутный взор на резвую шотландскую лошадку и на щегольски одетого прекрасного наездника. В эту минуту перемены пролетали по лицу Рандалья быстрее облаков по небу в бурную погоду. В эту минуту вы заметили бы в выражении лица его, как зависть сменялась досадою, и тогда бледные губы его дрожали, кривились, брови хмурились; вы заметили бы, как надежда и самоуважение разглаживали его брови и вызывали на лицо надменную улыбку, и потом все по-прежнему становилось холодно, спокойно, неподвижно в то время, как он возвращался к своим делам, сел за них с решимостью и вполголоса сказал:

– *Знание есть сила!*

Мистрисс Лесли подошла к Рандалью с сильным душевным волнением и некоторым замешательством; она нагнулась через плечо Рандалья и прочитала карточку. В подражание печатному шрифту, на ней написано было чернилами: «М. Франк Гэзельден», и потом сейчас же под этими словами, на скорую руку и не так отчетливо, написано было карандашом следующее:

«Любезный Лесли, очень жалею, что не застал тебя. Приезжай к нам, *пожалуста.*»

– Ты поедешь, Рандаль? спросила мистрисс Лесли, после минутного молчания.

– Не знаю, не думаю.

– Почему же *ты* не можешь ехать? у *тебя* есть хорошее модное платье. *Ты* можешь ехать куда тебе вздумается, не так, как эти дети.

И мистрисс Лесли с сожалением взглянула на грубую, изношенную курточку Оливера и оборванное платьице маленькой Джульеты.

– Все, что я имею теперь, я обязан этим мистеру Эджертону, и потому должен соотноситься с его желаниями. Я слышал, что он не совсем в хороших отношениях с этими Гэзельденами, сказал Рандаль, и потом, взглянув на брата своего, который казался крайне огорченным, он присовокупил довольно ласково, но сквозь эту ласку проглядывала холодная надменность: – все, что я отныне буду иметь, Оливер, этим буду обязан себе одному; и тогда, если мне удастся возвыситься, я возвышу и мою фамилию.

– Милый, дорогой мой Рандаль! сказала мистрисс Лесли, нежно цалуя его в лоб: – какое у тебя доброе сердце!

– Нет, маменька: по-моему, с добрым сердцем труднее сделать большие успехи в свете, чем твердой волей и хорошей памятью, отвечал Рандаль отрывисто и с видом пренебрежения. – Однако, я больше не могу читать теперь. Пойдем прогуляться, Оливер.

Сказав это, он отвел эти себя руку матери и вышел из комнаты.

Рандаль уже был на лугу, когда Оливер присоединился к нему. Не замечая брата своего, он продолжал идти вперед быстро, большими шагами и в глубоком молчании. Наконец он остановился под тенью старого дуба, который уцелел от топора потому только, что по старости своей никуда больше не годился, как на дрова. Дерево стояло на пригорке, с которого взору представлялся ветхий дом, не менее того ветхая церковь и печальная, угрюмая деревня.

– Оливер, сказал Рандаль сквозь зубы, так что голос его похож был на шипенье: – Оливер, вот под самым этим деревом я в первый раз решился...

Рандаль замолчал.

– На что же ты решился, Рандаль?

– Читать с прилежанием. Знание есть сила.

– Но, мне кажется, ты и без того любил читать.

– Я! воскликнул Рандаль. – Так ты думаешь, что я люблю чтение?

Оливер испугался.

– Ты знаешь, продолжал Рандаль: – что мы, Лесли, не всегда находились в таком нищенски-бедном состоянии. Ты знаешь, что и теперь еще существует человек, который живет в Лондоне на Гросвенор-Сквере, и который богат, очень богат. Его богатство перешло к нему от фамилии Лесли: этот человек, Оливер, мой покровитель, и очень-очень добр ко мне.

С каждым из этих слов Рандаль становился угрюмее.

– Пойдем дальше, сказал он, после минутного молчания: – пойдем.

Прогулка снова началась; она совершалась быстрее прежнего; братья молчали.

Они пришли наконец к небольшому, мелкому потоку и, перепрыгивая по камням, наброшанным в одном месте его, очутились на другом берегу, не замочив подошвы.

– Не можешь ли ты, Оливер, сломить мне вон этот сук? отрывисто сказал Рандаль, указывая на дерево.

Оливер механически повиновался, и Рандаль, ошипав листья и оборвав лишние ветки, оставил на конце развилину и этой развилиной начал разбрасывать большие камни.

– Зачем ты это делаешь, Рандаль? спросил изумленный Оливер.

– Теперь мы на другой стороне ручья, и по этой дороге мы больше не пойдем. Нам не нужно переходить брод по камням!.. Прочь их, прочь!

## Часть вторая

### Глава XIII

На другое утро после поездки Франка Гэзельдена в Руд-Голл, высокородный Одлей Эджертон, почетный член Парламента, сидел в своей библиотеке и, в ожидании прибытия почты, пил, перед уходом в должность, чай и быстрым взором пробежал газету.

Между мистером Эджертоном и его полу-братом усматривалось весьма малое сходство; можно сказать даже, что между ними не было никакого сходства, кроме того только, что оба они были высокого роста, мужественны и сильны. Атлетический стан сквайра начинал уже принимать то состояние тучности, которое у людей, ведущих спокойную и беспечную жизнь, при переходе в лета зрелого мужества, составляет, по видимому, натуральное развитие организма. Одлей, напротив того, имел расположение к худощавости, и фигура его, хотя и связанная мускулами твердыми как железо, имела в то же время на столько стройности, что вполне удовлетворяла столичным идеям об изящном сложении. В его одежде, в его наружности, – в его *tout ensemble*, – проглядывали все качества лондонского жителя. В отношении к одежде он обращал строгое внимание на моду, хотя это обыкновение и не было принято между деятельными членами Нижнего Парламента. Впрочем, и то надобно сказать, Одлей Эджертон всегда казался выше своего звания. В самых лучших обществах он постоянно сохранял место значительной особы, и, как кажется, успех его в жизни зависел собственно от его высокой репутации в качестве «джентльмена».

В то время, как он сидит, нагнувшись над журналом, вы замечаете какую-то особенную прелесть в повороте его правильной и прекрасной головы, покрытой темно-каштановыми волосами – *темно-каштановыми*, несмотря на красноватый отлив – плотно остриженной сзади и с маленькой лысиной спереди, которая нисколько не безобразит его, но придает еще более высоты открытому лбу. Профиль его прекрасный: с крупными правильными чертами, мужественный и несколько суровый. Выражение лица его – не так как у сквайра – не совсем открытое, но не имеет оно той холодной скрытности, которая заметна в серьезном характере молодого Лесли; напротив того, вы усматриваете в нем скромность, сознание собственного своего достоинства и умение управлять своими чувствами, что и должно выражаться на физиономии человека, привыкшего сначала обдумать и уже потом говорить. Всмотревшись в него, вас нисколько не удивит народная молва, что он не имеет особенных способностей делать сильные возражения: он просто – «дельный адвокат». Его речи легко читаются, но в них не заметно ни риторических украшений, ни особенной учености. В нем нет излишнего юмора, но зато он одарен особенным родом остроумия, можно сказать, равносильного важной и серьезной иронии. В нем не обнаруживается ни обширного воображения, ни замечательной утонченности рассудка; но если он не ослепляет, зато и не бывает скучным – качество весьма достаточное, чтоб быть светским человеком. Его везде и все считали за человека, одаренного здравым умом и верным рассудком.

Взгляните на него теперь, когда он оставляет чтение журнала и суровые черты лица его сглаживаются. Вам не покажется удивительным и нетрудно будет убедиться в том, что этот человек был некогда большим любимцем женщин, и что он по сие время еще производит весьма значительное впечатление в гостиных и будуарах. По крайней мере никто не удивлялся, когда богатая наследница Клементина Лесли, родственница лорда Лэнсмера, находившаяся под его опекою – молоденькая лэди, отвергнувшая предложения трех наследственных британских графов – сильно влюбилась, как говорили и уверяли её искренние подруги, в Одлея Эджертона. Хотя желание Лэнсмеров состояло в том, чтобы богатая наследница вышла замуж

за сына их лорда л'Эстренджа, но этот молодой джентльмен, которого понятия о супружеской жизни совпадали с эксцентричностью его характера, ни под каким видом не разделял намерения родителей и, если верить городским толкам, был главным участником в устройстве партии между Клементиной и другом своим Одлеем. Партия эта, несмотря на расположение богатой наследницы к Эджертону, непременно требовала постороннего содействия, потому что, деликатный во всех отношениях, мистер Эджертон долго колебался. Сначала он отказывался от неё потому, что состояние его было гораздо менее того, как полагали, и что, несмотря на всю любовь и уважение к невесте, он не хотел даже допустить идеи быть обязанным своей жене. В течение этой нерешимости, л'Эстрендж находился вместе с полком за границей; но, посредством писем к своему отцу и к кузине Клементине, он решился открыть переговоры и успешным окончанием их совершенно рассеял всякие, со стороны Одлея, сомнения, так что не прошло и года, как мистер Эджертон получил руку богатой наследницы. Брачные условия касательно её приданого, большею частью состоящего из огромных капиталов, были заключены необыкновенно выгодно для супруга, потому что хотя капитал во время жизни супругов оставался нераздельным, на случай могущих быть детей, но если ктонибудь из них умрет, не оставив законных наследников, то все без ограничения переходило в вечное владение другому. Мисс Лесли, по согласию которой и даже по её предложению сделана была эта оговорка, если и обнаруживала великодушную уверенность в мистере Эджертоне, зато нисколько не оскорбляла своих родственников; впрочем, и то надобно заметить, у мисс Лесли не было таких близких родственников, которые имели бы право распространять свои требования на её наследство. Ближайший её родственник, и следовательно законный наследник, был Харли л'Эстрендж, а если этот наследник оставался довольным таким распоряжением, то другие не имели права выражать свои жалобы. Родственная связь между нею и фамилией Лесли из Руд-Голла была, как мы сейчас увидим, весьма отдаленная.

Мистер Эджертон, сейчас же после женитьбы, принял деятельное участие в делах Нижнего Парламента. Положение его в обществе сделалось тогда самым выгодным, чтоб начинать блестящую карьеру. Его слова в ту пору о состоянии провинций принимали большую значительность, потому что он находился в некоторой от неё зависимости. Его таланты много выиграли чрез изобилие, роскошь и богатство его дома на Гросвенор-Сквэре, чрез уважение, внушаемое им к своей особе, как к человеку, положившему своей жизни прочное основание, и наконец чрез богатство, действительно весьма большое и народными толками увеличиваемое до богатства Креза. Успехи Одлея Эджертона далеко превосходили все ранние от него ожидания. С самого начала он занял то положение в Нижнем Парламенте, которое требовало особенного умения, чтоб утвердиться на нем, и большего знания света, чтоб не навлек на себя обвинения в том, что оно занимается человеком без всяких способностей, из одной только прихоти; утвердиться же на этом месте для человека честолюбивого было особенно выгодно. Короче сказать, мистер Эджертон занял в Парламенте положение такого человека, который принадлежит на столько к своей партии, на сколько требовалось, чтоб в случае нужды иметь от неё подпору, – и в то же время он на столько был свободен от неё, на сколько нужно было, чтобы при некоторых случаях подать свой голос, выразить свое собственное мнение.

Как приверженец и защитник системы торием, он совершенно отделился от провинциальной партии и всегда оказывал особенное уважение к мнениям больших городок. Не забегая вперед современного стремления политического духа и не отставая от него, он с той дальновидной расчетливостью достигал своей цели, которую совершенное знание света доставляет иногда великим политикам. Он был такой прекрасный барометр для наблюдения той переменчивой погоды, которая называется общественным мнением, что мог бы участвовать в политическом отделе газеты *Times*. Очень скоро, и даже с умыслом, он поссорился с своими лэнсмерскими избирателями и ни разу уже более не заглядывал в этот округ, – быть может, потому, что это имело тесную связь с весьма неприятными воспоминаниями. Его спичи, возбуждав-

шие такое негодование в Лэнсмере, в то же время приводили в восторг один из наших торговых городов, так что при следующих выборах этот город почтил мистера Эджертона правом быть его представителем. В ту пору, до преобразования Парламента, большие торговые города избирали себе членов из среды людей весьма замечательных. И тот из членов вполне мог гордиться своим положением в Парламенте, кто уполномочивался выразить и защищать мнения первейших купцов Англии.

Мистрисс Эджертон прожила в брачном состоянии несколько лет. Детей она не оставила. Правда, были двое; но и те скончались на первых порах своего младенчества. Поэтому все жено состояние перешло в неоспоримое и неограниченное владение мужа.

До какой степени вдовец сокрушался потерей своей жены, он не обнаружил этого перед светом. И в самом деле, Одлей Эджертон был такой человек, который еще с детского возраста приучил себя скрывать волнения души своей. На несколько месяцев он самого себя схоронил в деревне, – в какой именно, никому не было известно. По возвращении лицо его сделалось заметно угрюмее; в привычках же его и занятиях не открывалось никакой перемены, исключая разве той, что вскоре он получил в Парламенте официальную должность и по этому случаю сделался деятельнее прежнего.

Мастер Эджертон, в денежных отношениях, всегда считался щедрым и великодушным. Не раз было замечено, что на капиталы богатого человека весьма часто возникают с той или другой стороны различного рода требования. Мы же при этом должны сказать, что никто так охотно не соглашался с подобными требованиями, как Одлей Эджертон. Но между всеми его благотворительными поступками ни один, по видимому, не заслуживал такой похвалы, как великодушное, оказанное сыну одного из бедных и дальних родственников покойной жены, именно старшему сыну мистера Лесли из Руд-Голла.

Здесь, следует заметить, поколения четыре назад проживал некто сквайр Лесли, человек, обладающий множеством акров земли и деятельным умом. Случилось так, что между этим сквайром и его старшим сыном возникло большое несогласие, по поводу которого хотя сквайр и не лишил преступного сына наследства, но до кончины своей отделил половину благоприобретенного имения младшему сыну.

Младший сын одарен был от природы прекрасными способностями и характером, которые вполне оправдывала распоряжение родителя. Он увеличил свое богатство и чрез общественную службу, а так же и чрез хорошую женитьбу, сделался в короткое время человеком известным и замечательным. Потомки следовали его примеру и занимали почетные места между первыми членами Нижнего Парламента. Это продолжалось до последнего из них, который, умирая, оставил единственной наследницей и представительницей рода Лесли дочь Клементину, впоследствии вышедшую замуж за мистера Эджертона.

Между тем старший сын вышеприведенного сквайра, получив наследство, промотал из него большую часть, а чрез дурные наклонности и довольно низкие связи успел унижить даже достоинство своего имени. Его наследники подражали ему до тех пор, пока отцу Рандаля, мистеру Маундеру Слюг Лесли, не осталось ничего, кроме ветхого дома, который у немцев называется *Stammschloss*, и несколько акров жалкой земли, окружавшей этот дом.

Хотя все сношения между этими двумя отраслями одной фамилии прекратились совершенно, однако же, младший брат постоянно питал уважение к старшему, как к главе дома Лесли. Поэтому некоторые полагали, что мистрисс Эджертон на смертном одре поручала попечению мужа бедных однофамильцев её и родственников. Предположение это еще более оправдывалось тем, что Одлей, возвратясь после кончины мистрисс Эджертон в Лондон, немедленно отправил к мистеру Маундеру Лесли пять тысяч фунтов стерлингов, которые, как он говорил, жена его, не оставив письменного завещания, изустно предназначила в пользу того джентльмена, и кроме того Одлей просил позволения принять на свое попечение воспитание Рандаля Лесли.

Мистер Маундер Лесли с помощью такого капитала мог бы сделать весьма многое для своего маленького имения или мог бы на проценты с него доставлять материальные пособия домашнему комфорту. Окрестный стряпчий, пронюхав об этом неожиданном наследстве мистера Лесли, поспешил прибрать деньги к своим рукам, под предлогом пустить их в весьма выгодные обороты. Но лишь только пять тысяч фунтов поступили в его распоряжение, как он немедленно отправился вместе с ними в Америку.

Между тем Рандаль, помещенный мистером Эджертоном в превосходную приготовительную школу, с первого начала не обнаруживал ни малейших признаков ни прилежания, ни талантов, но перед самым выпуском его из школы в нее поступил, в качестве классического наставника, молодой человек, окончивший курс наук в Оксфордском университете. Необыкновенное усердие нового учителя и совершенное знание своего дела произвели большое влияние за всех вообще учеников, а на Рандалья Лесли в особенности. Вне классов учитель много говорил о пользе и выгодах образования и впоследствии, в весьма непродолжительном времени, обнаружил эти выгоды в лице своей особы. Он превосходно описал греческую комедию, и духовная коллегия, из которой он был исключен за некоторые отступления от строгого образа жизни, снова приняла его в свои объятия, наградив его ученой степенью. Спустя несколько времени, он принял священнический сан, сделался наставником в той же коллегии, отличился еще более написанным трактатом об ударениях греческого языка, получил прекрасное содержание и, как все полагали, был на прямой дороге к епископскому сану. Этот-то молодой человек и поселил к Рандале Лесли весьма сильную жажду познания, так что при поступлении мальчика в Итонскую школу он занялся науками с таким усердием и непоколебимостью, что слава его вскоре долетела до Одлея Эджертона. С этого времени Одлей принимал самое живое, почти отеческое, участие в блестящем итонском студенте, и во время вакаций Рандаль всегда проводил несколько дней у своего покровителя.

Я сказал уже, что поступок Эджертона, в отношении к мальчику, был более достоин похвалы, нежели большая часть тех примеров великодушия, за которые его превозносили, тем более, что за это свет не рукоплескал ему. Впрочем, все, что человек творит внутри пространства своих родственных связей, не может нести с собой того блеска, которым облачается щедрость, обнаруживаемая при публичных случаях. Вероятно, это потому, что помощь, оказанная родственнику, или ставится ни во что, или считается, в строгом смысле слова, за прямую обязанность. Сквайр Гэзельден справедливо замечал, что Рандаль Лесли, по родственным связям, находился гораздо ближе к Гэзельденам, чем к мистеру Эджертону, и это доказывалось тем, что дед Рандалья был женат на мисс Гэзельден (самая высокая связь, которую бедная отрасль фамилии Лесли образовала со времени вышеприведенного раздела). Но Одлей Эджертон, по видимому, вовсе не знал этого факта. Не будучи потомком Гэзельденов, он не беспокоился об их генеалогии, а кроме того, оказывая помощь бедным Лесли, он дал понять им, что пример его великодушия должно приписать единственно его уважению к памяти и родству покойной мистрисс Эджертон. С своей стороны, сквайр в щедрости Одлея Эджертона к фамилии Лесли видел сильный упрек своему собственному невниманию к этим беднякам, и потому ему сделалось вдвое прискорбнее, когда в доме его упомянули имя Рандалья Лесли. Но дело в том, что Лесли из Руд-Голла до такой степени избегали всякого внимания, что сквайр действительно забыл об их существовании. Он только тогда и вспомнил о них, когда Рандаль сделался обязанным его брату, и тут он почувствовал сильное угрызение совести в том, что кроме него, главы Гэзельденов, ни кто бы не должен был подать руку помощи внуку Гэзельдена.

Изъяснив таким образом хотя и скучновато положение Одлея Эджертона в свете или в отношении к его молодому *protégé*, и позволяю теперь ему выучить письма и читать их.

## Глава XIV

Мистер Эджертон взглянул на груды писем, лежавших перед ним, некоторые из них распечатал, потом, без всякого внимания, пробежал, разорвал и бросил в пустой ящик. Люди, занимающие в обществе публичные должности, получают такое множество странных писем, что ящики, предназначенные для грязной бумаги, никогда не остаются пусты. Письма от аматёров, сведущих в финансовой части и предлагающих новые способы к погашению государственных долгов, – письма из Америки, выпрашивающие автографов, – письма от нежных деревенских маменек, рекомендующих, как какое нибудь чудо, своего сынка, для помещения в королевскую службу, – письма, подписанные какой нибудь Матильдой или Каролиной, и извещающие, что Каролина или Матильда видела портрет мистера Эджертона на выставке, и что сердце, неравнодушное к прелестям этого портрета, можно найти в Пикадилли, под *No* таким-то, – письма от нищих, самозванцев, сумасшедших, спекуляторов и шарлатанов, и все им подобные письма служат пищею пустому ящику.

Из рассмотренной корреспонденции мистер Эджертон сначала отобрал деловые письма и методически положил их в одно отделение бумажника, и потом письма от частных людей, которые также тщательно положил в другое отделение. Последних было всего только три: одно – от управляющего, другое – от Харли л'Эстренджа, и третье – от Рандаля Лесли. Мистер Эджертон имел обыкновение отвечать за получаемые письма в конторе, и в эту-то контору, спустя несколько минут, он направил свой путь. Не один прохожий оборачивался назад, чтоб еще раз взглянуть на мужественную фигуру человека, сюртук которого, несмотря на знойный летний день, был застегнут на все пуговицы и, как нельзя лучше, обнаруживал стройный стан и могучую грудь прекрасного джентльмена. При входе в Парламентскую улицу, к Одлею Эджертону присоединился один из его сослуживцев, который также спешил в свою контору.

Сделав несколько замечаний насчет последнего парламентского заседания, этот джентльмен сказал:

– Да кстати, не можешь ли ты обедать у меня в субботу? ты встретишься с Лэнсмером. Он приехал сюда подавать голос за нас в понедельник.

– В этот день я просил к себе некоторых знакомых, отвечал мистер Эджертон: – но это можно будет отложить до другого раза. Я вижу лорда Лэнсмера слишком редко, чтоб пропустить какой бы то ни было случай видеться с человеком, которого уважаю.

– Так редко! Правда, он очень мало бывает в городе; но что тебе мешает съездить к нему в деревню? О, еслиб ты знал, какая чудная охота там, какой приятный старинный дом?

– Мой милый Вестбурн, неужели ты не знаешь, что этот дом – *nunium vicina Cremonae* – находится в ближайшем соседстве с местечком, где меня ненавидят.

– Ха, ха! да, да. Теперь я помню, что ты поступил в первый раз в Парламент в качестве депутата того уютного местечка. Однако, сам Лэнсмер не находил ничего предосудительного в мнениях, которые ты излагал в ту пору Парламенту.

– нисколько! Он вел себя превосходно, да, кроме того, я в весьма коротких отношениях с д'Эстренджем.

– Скажи пожалуйста, приезжает ли когда нибудь этот чудак в Англию?

– Приезжает, – обыкновенно раз в год, на несколько дней собственно затем, чтобы повидаться с отцом и матерью, а потом снова отправиться на континент.

– Я ни разу не встречал его.

– Он приезжает в сентябре или октябре, когда тебя, без всякого сомнения, не бывает в городе, и Лэнсмеры нарочно для этого являются сюда.

– Почему же не он едет к ним?

– Полагаю потому, что человеку, приехавшему в течение года на несколько дней, найдется бездна дела в самом Лондоне.

– Что, он так же забавен, как и прежде?

Эджертон кивнул головой.

– И так же замечателен, каким он мог бы быть, продолжал лорд Вестбурн.

– И так же знаменит, как должен быть! возразил Эджертон, довольно сухо: – знаменит, как офицер, который служил образцом на ватерлооском поле, как ученый человек с самым утонченным вкусом и как благовоспитанный джентльмен.

– Мне очень приятно слышать, как один другого хвалит, и хвалит так горячо. В нынешняя дурные времена это диковинка, отвечал лорд Вестбурн. – Но все же, хотя от л'Эстренджа и нельзя отнять тех отличных качеств, которые ты приписываешь ему, согласишься сам, что он, проживая за границей, расточает свою жизнь по пустому?

– И старается, по возможности, быть счастливым; ты, вероятно, я это хочешь сказать, Вестбурн? Совершенно ли ты уверен в том, что мы, оставаясь здесь, не расточаем своей жизни? ... Однако, мне нельзя дожидаться ответа. Мы стоим теперь у дверей моей темницы.

– Значит до субботы?

– До субботы. Прощай.

Следующий час и даже, может быть, более, мистер Эджертон был занят делами. После того, уловив свободный промежуток времени (и именно в то время, как писец составлял, по его приказанию, донесение), он занялся ответами за полученные письма. Деловые письма не требовали особенного труда; отложив в сторону приготовленные ответы на них, он вынул из бумажника письма, которые называл приватными.

Прежде всего он занялся письмом своего управителя. Письмо это было чрезвычайно длинно; но ответ на него заключался в трех строчках. Сам Питт едва ли был небрежнее Одлея Эджертона к своим частным делам и интересам, а несмотря на то, враги Одлея Эджертона называли его эгоистом.

Второе письмо он написал к Рандалю, и хотя длиннее первого, но оно не было растянуто. Вот что заключалось в нем:

*«Любезный мистер Лесли! вы спрашиваете моего совета, должно ли принять приглашение Франка Гэзельдена приехать к нему погостить. Я вижу в этом вашу деликатность и дорожу ею. Если вас приглашают в Гэзельден-Голл, то я не нахожу к тому ни малейшего препятствия. Мне было бы очень неприятно, если бы вы сами навязались на это посещение. И вообще, мне кажется, что молодому человеку, которому самому предстоит пробивать себе дорогу в жизни, гораздо лучше избегать всех дружеских сношений с теми молодыми людьми, которые не связаны с ним ни узами родства, ни стремлением на избранном поприще к одинаковой цели.*

*Как скоро кончится этот визит, советую вам прибыть в Лондон. Донесение, полученное мною о ваших успехах в Итонской школе, делает, по-моему суждению, возвращение ваше необходимым. Если ваш батюшка не встречает препятствия, то я полагаю, с наступлением будущего учебного года, переместит вас в Оксфордский университет. Для облегчения ваших занятий, я нанял домашнего учителя, который, судя по вашей высокой репутации в Итоне, полагает, что вы сразу поступите в число студентов одной из университетских коллегий. Если так, то я с полной уверенностью буду смотреть на вашу карьеру в жизни.*

*Остаюсь как благосклонный друг и искренний доброжелатель*

*Л. Э.»*

Читатель, вероятно, заметил, что в этом письме соблюдены условия холодной формальности. Мистер Эджертон не называл своего *protégé* «любезным Рандаем», что, по видимому, было бы гораздо натуральнее, но употребил холодное, жесткое название: «любезный мистер Лесли». Кроме того он намекает что этому мальчику предстоит самому прокладывать себе дорогу в жизни. Не хотел ли он этим намеком предостеречь юношу от слишком уверенных понятий о наследстве, которые могли пробудиться в нем при мысли о великодушии его покровителя?

Письмо к лорду л'Эстренджу совершенно отличалось от двух первых. Оно было длинно и наполнено таким собранием новостей и городских сплетен, который всегда бывают виторесны для ваших друзей с чужеземных краях: но было написано свободно и, как кажется, с желанием развеселить или по крайней вере не взвести скуки на своего приятеля. Вы легко могли бы заметить, что письмо мистера Эджертона служило ответом на письмо, проникнутое грустью, – могли бы заметить, что в духе, в котором оно было написано, и в самом содержании его проглядывала любовь, даже до нежности, к которой едва ли был способен Одлей Эджертон, судя во предположениям тех, кто коротко знал и искренно любил его. Но, несмотря на то, в том же самом письме заметна была какая-то принужденность, которую, быть может, обнаружила бы одна только тонкая проницательность женщины. Оно не имело той откровенности, той сердечной теплоты, которая должна бы характеризировать письма двух друзей, преданных один другому с раннего детства, и которыми дышала все коротенькие, разбросанные без всякой связи сентенции его корреспондента. Но где же более всего обнаруживалась эта принужденность? Эджертон, кажется, нисколько не стесняет себя там, где перо его скользит гладко, и именно в тех местах, которые не относятся до его личности. О себе он ничего не говорит: вот в этом-то и состоит недостаток его дружеского послания. Он избегает всякого сношения с миром внутренним: не заглядывает в свою душу, не советуется с чувствами. Но может статься и то, что этот человек не имеет ни души, ни чувств. Да и возможно ли ожидать, чтоб степенный лорд, в практической жизни которого утра проводятся в официальных занятиях, а ночи поглощаются рассмотрением парламентских билей, мог писать тем же самым слогом, как и беспечный мечтатель среди сосен Равенны или на берегах озера Комо?

Одлей только что кончил это письмо, как ему доложили о прибытии депутации одного провинциального городка, членам которого для свидания с ним назначено было два часа. Надобно заметить, что в Лондоне не было ни одной конторы, в которой депутации принимались бы так скоро, как в конторе мистера Эджертона.

Депутация вошла. Она состояла из двадцати особ средних лет. Несмотря на спокойную наружность членов; заметно было, что мы были сильно озабочены и явились в Лондон защищать как свои собственные интересы, так и интересы своей провинции, которым угрожала какая-то опасность по поводу представленного Эджертоном биля.

Мэр того города был главным представителем депутации и оратором. Отдавая ему справедливость, он говорил убедительно, но таким слогом, к какому почетный член Парламента вовсе не привык. Это был размашистый слог: нецеремонный, свободный и легкий, – слог, на котором любят выражаться американцы. Даже в самой манере оратора было что-то такое, которое обнаруживало в нем временного жителя Соединенных Штатов. Он имел приятную наружность и в то же время проницательный и значительный взгляд, – взгляд человека, который привык смотреть весьма равнодушно решительно на все, и который в свободном выражении своих идей находил особенное удовольствие.

Его сограждане, по видимому, оказывали мэру глубокое уважение.

Мистер Эджертон был весьма благограумен, чтоб оскорбиться довольно грубым обращением простого человека, и хотя он казался надменнее прежнего, когда увидел, что замечания его в представленном биле опровергались чисто на чисто простым гражданином, но отнюдь не показывал ему, что он обижается этим. В доказательствах мэра было столько основатель-

ности, столько здравого смысла и справедливости, что мистер Эджертон со всею учтивостью обещал принять их в полное соображение и потом откланялся всей депутации. Но не успела еще дверь затвориться, как снова растворилась, и мэр представился один, громко сказав своим товарищам:

– Я позабыл сказать мистеру Эджертону еще кое-что; подождите меня внизу.

– Ну что, господин мэр, сказал Одлей, указывая на стул:– что вы еще хотите сообщить мне?

Мэр оглянулся назад, желая удостовериться, заперта ли двор, и потом, придвинув стул к самому стулу мистера Эджертона, положил указательный палец на руку этого джентльмена и сказал:

– Я думаю, сэр, я говорю с человеком, который знаком со светом.

В ответ на это мистер Эджертон только слегка кивнул головой и потихоньку отодвинул свою руку от прикосновения чужого пальца.

– Вы замечаете, сэр, что я обращаюсь не к кому либо другому, а именно к вам. Мы и без других обойдемся. Вы знаете, что наступает время выборов.

– Мне очень жаль, милостивый государь, что давишняя ваши замечания нельзя так скоро применить в делу; весь вопрос состоит теперь в том: действительно ли торговля вашего города страдает по некоторым непредвиденным обстоятельствам, или...

– Позвольте, мистер Эджертон! речь теперь идет не о нашем городе, но о выборах. Как вы скажете, например, приятно ли вам будет иметь двух лишних депутатов от нашего города, которые, в случае надобности, будут после выборов поддерживать своего представителя?

– Без всякого сомнения, приятно, отвечал мастер Эджертон.

– Так знаете ли что – я могу сделать это. Смею сказать, что весь город в моем кармане; да, конечно, он и должен быть, после той огромной суммы денег, которую я трачу в нем. Извольте видеть, мистер Эджертон, – я провел большую часть моей жизни в Соединенных Штатах, а потому, имея дело с человеком опытным, я говорю с ним напрямик. Я сам, милостивый государь, кое-что смекаю в делах света. Если вы сделаете чтонибудь для меня, то и я, с своей стороны, готов оказать вам немаловажную услугу. Два лишние голоса за такой прекрасный город, как наш, это чтонибудь да значат, – как вы думаете?

– Я, право... начал было мастер Эджертон с кратким изумлением.

– Что тут говорить много! возразил мэр придвигая свой стул еще ближе и прерывая должностную особу. – Я буду с вами еще откровеннее. Дело вот в чем: я забрал себе в голову, что куда как было бы хорошо, еслиб мне пожаловали дворянское достоинство. Удивляйтесь, мистер Эджертон, сколько вам угодно: действительно, с моей стороны это самое нелепое желание, и все же мне бы хотелось, чтоб меня звали сэр Ричард. Ведь каждый человек имеет свою исключительную слабость: почему же бы и мне не иметь своей? Итак, если вы можете сделать меня сэром Ричардом, то смело можете рассчитывать при наступающих выборах на двух членов, само собою разумеется, людей образованных и опытных, таких, как вы сами. Ну, что? кажется, я объяснил вам все дело и коротко и ясно?

– Я теряюсь в догадках, сэр, сказал мистер Эджертон, вставая с места:– почему вы вздумали выбрать меня для такого весьма необыкновенного предложения?

– Потому именно, что вы более других знакомы со светом, – я уже, кажется, сказал вам об этом, отвечал мэр, кивая головой с самодовольным видом;– и потому еще, что, может быть, вы пожелаете усилить свою партию. Не нужно, кажется, напоминать вам, что это остается между нами: скромность и честь должны стоять выше всего на свете.

– Милостивый государь, я очень обязан вам за ваше хорошее мнение, но должен заметить, что в делах подобного рода....

– Понимаю, понимаю, возразил мэр, снова прерывая мистера Эджертона: – вы уклоняетесь от прямого ответа, – и правильно делаете. Я уверен, что вы заговорили бы совсем другое,

еслиб... Ну, да что и толковать об этом!.. Впрочем, знаете ли, у меня есть другая причина, по которой я решился переговорить с вами о моем маленьком желании. Вы, кажется, когда-то были представителем Лэнсмера, и полагаю, что поступлением в Парламент вы обязаны большинству всего только двух голосов, – не так ли?

– Я решительно ничего не знаю о подробностях этого выбора: я не участвовал в нем.

– Неужели? значит, к вашему особенному счастью, двое моих родственников присутствовали там и подали в вашу пользу свои голоса. Два голоса, и вы сделали членом Парламента. А до того, признаюсь, вы жили здесь не так-то широко, и мне кажется, что мы имеем право рассчитывать на...

– Сэр, я отвергаю это право. Я был совершенно чужой человек для Лэнсмера, и если избиратели доставили мне случай присутствовать в Парламенте, то это сделано было из одного лишь уважения к лорду....

– К лорду Лэнсмеру, вы хотите сказать, снова прервал мэр. – Правда ваша, правда. Однако, не забудьте, сэр, а знаю, и даже, может быть, не хуже вашего, как творятся подобные дела. Я сам-бы обратился с настоящим моим делом к лорду Лэнсмеру; но говорят, что, по чрезмерной гордости своей, он недоступен для нашего брата...

– Извините, сэр, сказал мистер Эджертон, приводя в порядок разложенные перед ним бумаги, должен сказать вам, что вовсе не по моей части рекомендовать правительству кандидатов на дворянское достоинство, а тем более не по моей части сводить торговые сделки на парламентские места; обратитесь с этим куда следует.

– О, если так, извините меня: я ведь не знаю ваших дел. Не подумайте, однакож, что при этом случае я намерен сделаться в глазах своих сограждан бесчестным человеком, и что для своих собственных выгод изменю общественной пользе: совсем нет! Однакож, скажете мне: где же это «куда следует»? к кому я должен обратиться?

– Если вы хотите получить дворянское достоинство, сказал мистер Эджертон, начиная при всем своем негодовании забавляться выходкою мэра: – обратитесь к первому министру; если вы хотите сообщить правительству сведения касательно мест в Парламенте, обратитесь к секретарю Государственного Казначейства.

– А как вы полагаете, что бы сказал мне господин секретарь Государственного Казначейства?

– Я полагаю, он сказал бы вам, что не должны представлять этого в том виде, в каком вы представили мне: что правительство будет гордиться уверенностью в прямые действия ваши и ваших избирателей; что такой джентльмен, как вы, занимая почетную обязанность городского мэра, может и без подобных предложений надеяться получить дворянское достоинство при удобнейшем случае.

– Значит сюда не стоит и соваться! Ну, а как бы поступил при этом случае первый министр?

Негодование мистера Эджертона вышло из пределов.

– Вероятно, точно так, как и я намерен поступить.

Сказав это, мастер Эджертон позвонил в колокольчик. В кабинет явился служитель.

– Покажи господину мэру выход отсюда! сказал мистер Эджертон.

Городской мэр быстро обернулся назад, и лицо его покрылось багровым цветом. Он пошел прямо к дверям; но, следуя позади провожатого, он сделал несколько чрезвычайно быстрых шагов назад, сжал кулаки и голосом, выражавшим сильное душевное волнение, вскричал:

– Помните же, рано или поздно, но я заставлю вас пожалеть об этом: это так верно, как и то, что меня зовут Эвенель!

– Эвенель! повторил Эджертон, отступая назад. – Эвенель!

Но уже мэр ушел.

Одлей впал в глубокую задумчивость. Казалось что в душе его одно за другим возникали самые неприятные воспоминания. Вошедший лакей с докладом, что лошадь подана к дверям, вывел его из этого положения...

Он встал, все еще с блуждающими мыслями, и увидел на столе открытое письмо, написанное им к Гарлею л'Эстренджу. Одлей придвинул письмо к себе и начал писать:

«Сию минуту заходил ко мне человек, который называет себя Эвен...», на середине этого имени перо Одлея остановилось.

«Нет, нет – произнес он про себя – смешно было бы растревлять старые раны.»

И вместе с этим он тщательно выскоблил приписанные слова.

Одлей Эджертон, против принятого им обычновения, не ездил в Парк в тот день. Он направил свою лошадь к Вестминстерскому мосту и выехал за город. Сначала он ехал медленно: его как будто занимала какая-то тайная глубокая мысль, – потом поехал быстрее, как будто старался убежать от этой мысли. Вечером он приехал позже обычного и казался бледным и утомленным. Ему нужно было говорить в Парламенте и он говорил с одушевлением.

## Глава XV

Несмотря на свою макиавеллевскую мудрость; доктор Риккабокка не успевал заманить к себе в услужение Леонарда Ферфильда, хотя сама вдова отчасти склонялась на его сторону. Он ей представил все выгоды, которых можно было ожидать от этого для мальчика. Ленни стал бы учиться многому такому, что сделало бы его способным быть не одним лишь поденщиком; он стал бы заниматься садоводством, со всеми его разнообразными отраслями, и современем занял бы место главного садовника у какого нибудь богатого господина.

– Кроме того, прибавлял Риккабокка: – я стал бы следят за его книжным учением и преподавать ему все, к чему он способен.

– Он ко всему способен, отвечала вдова.

– В таком случае, возразил мудрец:– я стал бы учить его всему.

Мат Ленни, разумеется, была этим очень заинтересована, потому что, как мы уже видели, она особенно уважала ученость и знала, что пастор смотрел на Риккабокка, как на чрезвычайно ученого человека. Впрочем, Риккабокка, по слухам, был и колдуном, и хотя эти качества, в соединении с способностью выигрывать расположение прекрасного пола, не были для вдовы достаточною причиною уклоняться от предложения доктора, но сам Ленни оказывал непреодолимое отвращение к Риккабокка; он боялся его – его очков, трубки, плаща, длинных волос и красного зонтика, и на все вызовы его отвечал всегда так отрывисто: «Благодарю вас, сэр; я лучше останусь с матушкой», что Риккабокка должен был прекратить дальнейшие попытки завлечь мальчика в свои сети.

Однако, он не совершенно отчаялся в успехе; напротив, это был человек, которого препятствия только сильнее подстрекали. То, что было в нем сначала делом расчета, обратилось теперь в сильное желание.

Без сомнения, многие другие мальчики, кроме Ленни, могли бы быть ему также полезны, но когда Ленни стал сопротивляться намерениям итальянца, то привлечение его в свой дом получило особенную важность в глазах синьора Риккабокка.

Джакеймо, принимавший особенное участие в этом деле, забыл о нем совершенно, услышав, что доктор Риккабокка чрез несколько дней отправляется в Гэзельден-Голл: до того сильно было его удивление.

– Там не будет никого из чужих, только своя семья, сказал Риккабокка. – Бедный Джакомо, тебе полезно будет поболтать в лакейской с своей братьею, а говядина за столом сквайра, как ни говори, все-таки питательнее, чем пискари и миноги. Мясная пища продолжит твою жизнь.

– Господин мой шутит, возразил слуга очень серьезным тоном: – иной подумал бы, что я у вас умираю с голоду.

– Мм! заметил Риккабокка. – Нельзя не признаться, однако, мой верный друг, что ты делал над собою подобные опыты, на сколько позволяет человеческая природа.

И он ласково протянул руку своему спутнику в изгнании.

Джакеймо низко поклонился, и слеза упала в эту минуту на руку доктора.

– *Cospetto!* сказал Риккабокка: – тысячи поддельных перлов не стоят одного настоящего. Мы привыкли дорожить женскими слезами; но искренния слезы мужчины... Ах, Джакомо! я никогда не буду в состоянии заплатить тебе за это. – Ступай, посмотри, в порядке ли наше платье.

В отношении к гардеробу его господина, приказание это было приятно для Джакеймо, потому что у доктора висело в шкапах платье, которое слуге его казалось красивым и новым, хотя протекло уже много лет с тех пор, как оно вышло из рук портного.

Когда же Джакеймо стал рассматривать свой собственный гардероб, лицо его заметно вытянулось, – не потому, что у него не было бы вовсе одежды, кроме облакавшей его в ту минуту; её было даже много, но надо знать, какова она была. Печально смотрел он на принадлежности своего костюма, из которых одна положена была во всю длину на кровать, напоминая умершего и окоченевшего уже ветерана; другую подносил он к свету, выказывавшему все признаки её ветхости; наконец, третья была повешена на стуле, с которого печально опускались к полу истертые рукава как будто от какого-то изнеможения. Все это напоминало тела покойников, принесенных в Морг, все это слишком мало гармонировало с жизнью. В первые годы своего изгнания, Джакеймо придерживался привычки одеваться к обеду – этим доказывал он особенное уважение к своему господину, – но парадное платье его скоро доказало все признаки разрушения; оно должно было переменить свою роль – обратилось в утреннее, а с тем вместе быстро подвигалось к распадению.

Несмотря на свое философское равнодушие ко всем мелочам домашнего быта, скорее из участия к Джакеймо, чем с целью придать себе более значения хорошим костюмом слуги, доктор не раз говорил ему:

– Джакомо, тебе нужно платье; переделай себе из моего!

Джакеймо обыкновенно благодарил в подобных случаях, как будто принимая подарок, но на самом деле легко было говорить о переделке, но вовсе нелегко ее выполнить; потому что, хотя, благодаря пескарям и миногам, составлявшим исключительную пищу наших итальянцев, и Джакеймо и Риккабокка довели свой организм до самого здорового и долговечного состояния, то есть обратили его в кости и кожу, но дело в том, что кости, заключавшиеся внутри кожи Риккабокка, отличались продолговатостью размеров, а кости Джакеймо были особенно широки. Таким образом, одинаково трудно было бы сделать ломбардскую лодку из какогонибудь низменного, сучковатого дуба – любимого пристанища лесных духов – как и фигуру Джакеймо из фигуры Риккабокка. Наконец, если бы искусство портного и было достаточно для выполнения такого поручения, то сам верный Джакеймо не имел бы духу воспользоваться щедростью своего господина. К самому платью доктора он питал какое-то особенное уважение. Известно, что древние, спасшись от кораблекрушения, вешали в храмах одеяния, в которых они боролись с волнами.

Джакеймо смотрел на старое платье своего барина с таким же суеверным чувством.

– Этот сюртук барин надевал *тогда-то*; как теперь помню тот, вечер, когда барин надевал в последний раз эти панталоны! говорил Джакеймо и принимался чистить и бережно чинить бранные остатки платья.

Но что оставалось делать теперь? Джакеймо хотелось показаться дворецкому сквайра в одежде, которая бы не унизила ни его самого, ни его барина. – В эту минуту раздался звук колокольчика, и Джакеймо вошел в гостиную.

– Джакомо, сказал Риккабокка, обращаясь к нему: – я думал о том, что ты ни разу не исполнял моего приказания и не перешил себе моего лишнего платья. Теперь мы пускаемся в большой свет: начав визитом, неизвестно где придется нам остановиться. Отправляйся в ближайший город и достань себе платье. В Англии все очень дорого. Довольно ли будет этого?

И Риккабокка подал ему билет в пять фунтов.

Как ни был Джакеймо короток в обращении с своим господином, но в то же время он был особенно почтителен. В настоящую же минуту он забыл всю дань уважения к доктору.

– Господин мой с ума сошел! вскричал он: – господин мой готов промотать все состояние, если его допустить до того. Пять английских фунтов ведь составляют сто-двадцать-шесть миланских фунтов!<sup>7</sup> Ах, Святая Дева Мария! Ах, жестокий отец! Что же будет с нашей бедной синьориной? Так-то вы собираетесь выдать ее замуж?

---

<sup>7</sup> Под именем миланского фунта Джакомо разумеет миланскую *lira*.

– Джакомо; сказал Риккабокка, поникнув головою: – о синьорине мы поговорим завтра, сегодня речь идет о чести нашего дома. Посмотри на свое платье, мой бедный Джакомо, – посмотри только на него хорошенько!

– Все это справедливо, отвечал Джакеймо, придя в себя и сделавшись снова смиренным: – господин за дело выговаривает мне; у меня готовая квартира, стол, я получаю хорошее жалованье; вы полное право имеете требовать, чтобы я был прилично одет.

– Что касается до квартиры и, пожалуй, стола, они еще недурны; но хорошее жалованье есть уже чистое создание твоего воображения.

– Вовсе нет, возразил Джакеймо: – я только получаю его не в срок. Если бы господин не хотел его заплатить никогда, то, само собою разумеется, я не стал бы служить ему. Я знаю, что мне нужно только повременить, а я очень могу это сделать. У меня тоже есть маленький запасец. Будьте покойны, вы останетесь довольны мною. У меня сохранились еще два прекрасные комплекта платья. Я приводил их в порядок, когда вы позвонили. Вы увидите сами, увидите сами.

И Джакеймо бросился из комнаты, побежал в свою маленькую каморку, отпер сундук, который хранился на его кровати под подушкой, достал из него разную мелочь и из самого дальнего уголка его вынул кожаный кошелек. Он высыпал все бывшее в кошельке на кровать. То была большею частью итальянские монеты, несколько пяти-франковых, какой-то медальон, английская гиней и потом мелкого серебра фунта на три. Джакеймо спрятал опять иностранные монеты, благоразумно заметив:

– Здесь они не пойдут по настоящей цене.

Потом взялся за английские деньги и сосчитал их.

– Достанет ли вас? произнес он, с досадой брякнув деньгами.

Его глаза упали в это время на медальон – он остановился; потом, рассмотрев внимательно фигуру, изображенную на нем, он прибавил, в виде сентенции, по примеру, своего господина:

– Какая разница между недругом, который на трогает меня, и другом, который не помогает мне? Ты не приносишь мне, мой медальон, никакой пользы, покоясь в кожаном мешке; но если я куплю на тебя пару нового платья, то ты мне будешь настоящим приятелем. *Alla bisogna, Monsignore!*

Потом, с важностью поцаловав медальон на прощанье, он положил его в один карман, монеты в другой, завязал старое платье в узелок, сбежал к себе в чулан, взял шляпу и палку и через несколько минут плелся по дороге к соседнему городку Л.

По всей вероятности, попытка удалась бедному итальянцу, потому что он воротился вечером к тому времени, когда нужно было приготовить барину кашу, составлявшую его ужин, – воротился с полным костюмом черного сукна хотя несколько потертым, но еще очень приличным, двумя манишками и двумя белыми галстуками.

Из всех этих вещей Джакеймо особенно ценил жилет, потому что он выменял его на свой заветный медальон; все остальное пришлось ему обыкновенным путем купли и продажи.

## Глава XVI

Жизнь была предметом многих более или менее остроумных сравнений, и если мы не пускаемся в подобные сравнения, то это вовсе не от недостатка картинности в нашем воображении. В числе прочих уподоблений, неподвижному наблюдателю жизнь представлялась теми круглыми, устраиваемыми на ярмарках качелями, в которых всякий участник к этой забаве, сидя на своем коньке, как будто постоянно кого-то преследует впереди себя и в то же время кем-то преследуется позади. Мужчина и женщина суть существа, которые, по самой природе своей, влекутся друг к другу; даже величайшее из этих существ ищет себе известной опоры, и, наоборот, самое слабое, самое ничтожное все-таки находит себе сочувствие. Применяя это воззрение к деревне Гэзельден, мы видим, как на жизненных качелях доктор Риккабокка погоняет своего конька, спеша за Ленни Ферфильдом, как мисс Джемима на своем разукрашенном дамском седле галопирует за доктором Риккабокка. Почему именно, после такого долговременного и прочного убеждения в недостатках нашего пола, мисс Джемима допускала снова мужчину к оправданию в своих глазах, я предоставляю это отгадывать тем из джентльменов, которые уверяют, что умеют читать в душе женщины, как в книге. Может быть и причину этого должно искать в нежности и сострадательности характера мисс Джемимы; может быть, мисс испытала дурные свойства мужчин, рожденных и воспитанных в нашем северном климате, тогда как в стране Петрарки и Ромео в отечестве лимонного дерева и мирта, по всей вероятности, можно было ожидать от туземного уроженца более впечатлительности, подвижности, менее закоренелости в пороках всякого рода. Не входя более в подобные предположения, довольно сказать, что, при первом появлении синьора Риккабокка в гостиной дома Гэзельден, мисс Джемима, более, чем когда нибудь, готова была отказаться, в его пользу, от всеобщей ненависти к мужчинам. В самом деле, хотя Франк и не без насмешки смотрел на старомодный, необыкновенный покррой платья итальянца, на его длинные волосы, нисенькую шляпу, над которою он так грациозно склонялся, приветствуя знакомого, и которую потом, как будто прижимая к сердцу, он брал под мышку на манер того, как кусочек черного мяса всегда вкладывается в крылышко жареного цыпленка, – за всем тем, и Франк не мог не согласиться, что по наружности и приемам Риккабокка настоящий джентльмен. Особенно, когда после обеда, разговор сделался искреннее, и когда пастор и мистрисс Дэль, бывшие в числе приглашенных, старались вывести доктора на словоохотливость, беседа его, хотя, может быть, слишком умная для слушателей, окружавших его? становилась час от часу одушевленнее и приятнее. Это была речь человека, который, кроме познаний, приобретенных из книг и жизни, – изучил необходимую для всякого джентльмена науку – нравиться в хорошем обществе. Риккабокка кроме того еще обладал искусством находить слабые струны в своих слушателях и говорить такие вещи, которые достигали своей цели, подобно удачному выстрелу, сделанному на угад.

Все это имело последствием, что доктор понравился целому обществу; даже сам капитан Бернэбес велел поставить ломберный стол часом позже обыкновенного времени. Доктор не играл, потому и поступил теперь в полное владение двух лэди: мисс Джемимы и мистрисс Дэль. Сидя между ними, на месте, принадлежавшем Флимси, которая, к своему крайнему удивлению и неудовольствию, лишена была теперь своего любимого уголка, доктор представлял настоящую эмблему домашнего счастья, приотившегося между Дружбою и Любовью. Дружба, по свойственному ей покойному характеру, была внимательно занята вышиванием носового платка и предоставила Любви полную свободу для душевных излиятий.

– Вам, я думаю, очень скучно одному в казино, сказала Любовь симпатичным тоном.

– Мадам, я вполне пойму это, когда оставлю вас.

Дружба бросает лукавый взгляд на Любовь – Любовь краснеет и потупляет глаза на ковер, что в подобных случаях означает одно и то же.

– Конечно, снова начинает Любовь: – конечно, уединение для чувствительного сердца – Риккабокка, предчувствуя сердечный разговор, невольно застегнул свой сюртук, как будто желая предохранить орган, на который готовилась сделать нападение, – уединение для чувствительного сердца имеет своя прелести. Нам, бедным женщинам, так трудно бывает найти особу по сердцу; но для вас!..

Любовь остановилась, как будто сказав слишком много, и с замешательством поднесла к лицу свой букет цветов.

Доктор Риккабокка лукаво поправил очки и бросил взгляд, который, с быстротой и неуловимостью молнии, успел обнять и расценить весь итог наружных достоинств мисс Джемимы. Мисс Джемима, как я уже заметил, имела кроткое и задумчивое лицо, которое могло бы показаться привлекательным, если бы кротость эта была оживленнее и задумчивость не так плаксива. В самом деле, хотя мисс Дмсемима была особенно кротка, но задумчивость её происходила не *de naturâ*; в жилах её было слишком много крови Гэзельден для унылой, мертвенной настроенности духа, называемой меланхолией. За всем тем, её мнимая мечтательность отнимала у её лица такие достоинства, которым нужно было только осветиться веселостью, чтобы вполне нравиться. То же самое можно было сказать и о наружности её вообще, которая от той же самой задумчивости лишена была грации, которую сообщают женским формам движение и одушевление. Это была добрая, тоненькая, но вовсе не тощая фигура, довольно соразмерная и изящная в подробностях, от природы легкая и гибкая. Но все та же самая мечтательность прикрывала ее выражением лени и неподвижности; и когда мисс Джемима прилегла на софу, то в ней заметно было такое расслабление всех нервов и мускулов, что, казалось, она не может пошевелить своими членами. На это-то лицо и этот стан, лишённые случайно прелести, дарованной им природою, обратил свой взор доктор Риккабокка, и потом, подвинувшись к мистрисс Дэль, он произнес с некоторою расстановкою:

– Оправдайте меня в нарекании, что я не умею будто бы ценить сочувствия.

– О, я не говорила этого! вскричала мисс Джемима.

– Простите меня, сказал итальянец:– если я до того недогадлив, что не понял вас. Впрочем; можно в самом деле растеряться, находясь в таком соседстве.

Говоря это, он встал и, опершись на спинку стула, на котором сидел Франк, принялся рассматривать какие-то виды Италии, которые мисс Джемима, по особенной внимательности, лишённой всякого эгоизма, вынула из домашней библиотеки, чтобы развлечь гостя.

– Он в самом деле очень интересен, прошептала со вздохом мисс Джемима:– но слишком-слишком много говорит комплиментов.

– Скажите мне пожалуйста, произнесла мистрисс Дэль с важностью:– можно ли нам теперь отложить в сторону на некоторое время разрушение мира, – или оно по-прежнему близко к нам?

– Как вы злы! отвечала мисс Джемима, повернувшись спиною.

Несколько минут спустя, мистрисс Дэль незаметно отвела доктора в дальний конец комнаты, где они оба стали рассматривать картину, выдаваемую хозяином за вувермановскую.

Мистрисс Дэль. А неправда ли, Джемима очень любезна?

Риккабокка. Чрезвычайно!

Мистрисс Дэль. И как добра!

Риккабокка. Как и все лэди. Что же после этого удивительного в том, если воин будет отчаянно защищаться, отступая перед нею?

Мистрисс Дэль. её красоту нельзя назвать правильной красотой, но в ней есть что-то привлекательное.

Риккабокка (*с улыбкою*). До того привлекательное, что надо удивляться, как она никого не пленила до сих пор. – А ведь эта лужа на переднем плане очень резко выдается.

Мистрисс Дэль (*не поняв и продолжая разговор на ту же тему*). Никого не пленила; это в самом деле странно.... у неё будет прекрасное состояние.

Риккабокка. А!

Мистрисс Дэль. Может быть, до шести тысяч фунтов.... четыре тысячи наверное.

Риккабокка (*затаив вздох и с обыкновенною своей манерою*). Если бы мистрисс Дэль была не замужем, то ей не нужно было бы подруги для того, чтобы рассказывать о её приданом; но мисс Джемима так добра, что я совершенно уверен, что не её вина, если она до сих пор – мисс Джемима.

Говоря это, итальянец отступил и поместился возле карточного стола.

Мистрисс Дэль была недовольна ответом, впрочем не рассердилась.

– А это очень хорошо было бы для обоих, проговорила она едва слышным голосом.

– Джакомо, сказал Риккабокка, раздеваясь, по наступлении ночи, в отведенной ему большой, уютной, устланной коврами спальне, в которой стояла покрытая пологом постель, сильно располагавшая каждого видом своим к супружеской жизни: – Джакомо, сегодня вечером мне предлагали до шести тысяч фунтов, а четыре тысячи наверное.

– *Cosa meravigliosa!* воскликнул Джакеймо:– вот удивительная вещь!! Шесть тысяч английских фунтов! да ведь это более ста тысяч.... что я! более полутораста тысяч миланских фунтов!

И Джакеймо, сделавшись особенно развязным после водки сквайра, начал делать выразительные жесты и прыжки, потом остановился и спросил:

– И это не то, чтобы так, ни за что?

– Нет, как же можно!

– Экие эти англичане расчетливые! Что же вас хотят подкупить, что ли?

– Нет.

– Не думают ли вас совратить в ересь?

– Хуже, сказал философ.

– Еще хуже итого! Ах, какой стыд, падроне!

– Полно же дурачиться: дай-ка лучше мне мой колпак. – Никогда не знать свободы, покойного сна здесь, продолжал доктор, как будто оканчивая какую-то мысль и указывая на изголовье своей постели (негодование в нем, по видимому, усиливалось):– быть постоянным угодником, плясать по чужой дудке, вертеться, метаться, хлопотать по пустому, получать выговоры, щелчки, ослепнуть, оглохнуть к довершению благополучия, – одним словом, жениться!

– Жениться! вскричал Джакеймо тонами двумя ниже: – это в самом деле нехорошо; но зато более чем сто-пятьдесят тысяч *лир* и, может быть, хорошенькая лэди, и, может быть....

– Очень миленькая лэди! проворчал Риккабокка, бросившись на постель и поспешно накрываясь одеялом. – Погаси свечку да убирайся и сам спать!

Немного дней прошло после возобновления исправительного учреждения, а уже всякий наблюдатель заметил бы, что что-то недоброе делается в деревне. Крестьяне все были очень унылы на вид, и когда сквайр проходил мимо их, они снимали шляпы как будто не по обыкновенному порядку; как будто не с прежнею простодушною улыбкою они отвечали на его приветствие:

«Добрый день, ребята!»

Женщины кланялись ему стоя у ворот или у окон своих домов, а не выходили, как прежде, на улицу, чтобы сказать два-три слова с ласковым сквайром. Дети, которые, после работы, обыкновенно играли на завалинах, теперь вовсе оставили эти места и как будто совершенно перестали играть.

Два или три дня эти признаки были заметны; наконец ночью в ту самую субботу, когда Риккабокка спал на кровати под пологом из индейской кисеи, исправительное учреждение сквайра приведено было в прежний и еще худший вид. В воскресенье утром, когда мистер Стирн, встававший ранее всех в приходе, шел на гумно, то увидел, что верхушка столбика, украшавшего один из углов колоды, была сломлена и четыре отверстия были замазаны грязью. Мистер Стирн был человек слишком бдительный, слишком усердный блюститель порядка, чтобы не оскорбиться таким поступком. И когда сквайр вышел в свой кабинет в половине седьмого, то постельничий его, исправлявший также должность каммердинера, сообщил ему с таинственным видом, что мистер Стирн имеет донести ему о чем-то чрезвычайном.

Сквайр удивился и велел мистеру Стирну войти.

– В чем дело? вскричал сквайр, перестав в эту минуту править на ремне свою бритву.

Мистер Стирн ограничился тем, что вздохнул.

– Ну же, что такое?

– Этого еще никогда не случалось у нас в приходе, начал мистер Стирн: – и я могу только сказать, что наше учреждение совсем обезображено.

Сквайр снял с плеч салфетку, которою предварительно завесился, положил ремень и бритву, принял величественную позу на стуле, положил ногу на ногу и сказал голосом, которому хотел сообщить совершенное спокойствие:

– Не тревожься, Стирн; ты хочешь сделать мне донесение касательно исправительного учреждения; так ли я понял? – Не тревожься и не спеши. Итак, что же именно случилось и каким образом случилось?

– Ах, сэр, вот извольте видеть, отвечал мистер Стирн, и потом, рисуя пальцем правой руки на ладони левой, он изложил все происшествие.

– Кого же ты подозреваешь? Будь хладнокровен, не позволяй себе увлекаться. Ты в этом случае свидетель, – беспристрастный, справедливый свидетель. Это неслыханно, непростительно!.. Но кого же ты подозреваешь? я тебя спрашиваю.

Стирн повертел свою шляпу, поднял брови, погрозил пальцем и прошептал: «я слышал, что два чужеземца ночевали сегодня у вашей милости.»

– Что ты, неужели ты думаешь, что доктор Риккейбоккой оставил бы мягкую постель и пошел бы замазывать грязью колоду?

– Знаем мы! он слишком хитер, чтобы сделать это сам, но он мог подучить, рассеять слухи. Он очень дружен с мистером Дэлем, а ваша милость извольте знать, как у последнего вытягивается лицо при виде колоды. Пойдите крошечку, сэр, погодите меня бранить. У нас в приходе есть мальчик....

– Час от часу не легче! уж теперь мальчик! Что же, по твоему, мистер Дэль испортил колоду! ну, а мальчик-то что?

– А мальчик был настроен мистером Дэлем; чужеземец в тот день сидел с ним и с его матерью целый час. Мальчик очень смышлен. Я его как нарочно застал на том месте – он спрятался за дерево, когда колода была только что перестроена – этот мальчик Ленни Ферфилд.

– У, какая чепуха! сказал сквайр, свистнув: – ты, кажется, не в полном рассудке сегодня. Ленни Ферфилд примерный мальчик для целой деревни. Прошу поудержать свой язычок. Я думаю, что это сделали не из наших прихожан: какойнибудь негодный бродяга, может, медник, который шатается здесь с ослом; я видел сам, как этот осел щипал крапиву у колоды. Ужь это одно доказывает, как дурно медник воспитал свою скотину. – Будь же теперь внимателен. Сегодня воскресенье: неловко начинать нам суматоху в такой день. После обедни и до самой вечерни сюда сходятся зеваки со всех сторон ты сам хорошо это знаешь. Таким образом участники в преступлении, без сомнения, будут любоваться своим делом, может быть, похвалятся при этом и обличат себя; гляди только в оба, и я уверен, что мы нападём на след

прежде вечера. А уж если нам это удастся, так мы порядком проучим негодяя! прибавил сквайр.

– Разумеется, отвечал Стирн и, получив такое приказание, вышел.

#### Глава XVII.

– Рандаль, сказала мистрисс Лесли в это воскресенье:– Рандаль, ты думаешь съездить к мистеру Гэзельдену?

– Думаю, отвечал Рандаль. – Мистер Эджертон не будет против этого, и как я не возвращаюсь еще в Итон, то, может быть, мне долго не удастся видеть Франка. Я не хочу быть неучтивым к наследнику мистера Эджертона.

– Прекрасно! вскричала мистрисс Лесли, которая, подобно женщинам одного с нею образа мыслей, имела много светскости в понятиях, но редко обнаруживала ее в поступках:– прекрасно, наследник старого Лесли!

– Он племянник мистера Эджертона, заметил Рандаль:– а я ведь вовсе не родня Эджертонам.

– Но, возразила бедная мистрисс Лесли, со слезами на глазах:– это будет стыд, если он, платив за твое ученье, послав тебя в Оксфорд, проводив с тобою все праздники, на этом только и остановится. Эдак не делают порядочные люди.

– Может быть, он сделает чтонибудь, Но не то, что вы думаете. Впрочем, что до того! Довольно, что он вооружил меня для жизни; теперь от меня зависит действовать оружием так или иначе.

Тут разговор был прерван приходом других членов семейства, одетых, чтобы идти в церковь.

– Не может быть, чтобы было уже пора в церковь! Нет, еще рано! вскричала мистрисс Лесли.

Она никогда не бывала готова во-время.

– Ужь последний звон, сказал мистер Лесли, который хотя и был ленив, но в то же время довольно пунктуален.

Мистрисс Лесли стремительно бросилась по лестнице, прибежала к себе в комнату, сорвала с вешалки своей лучший чепец, выдернула из ящика новую шаль, вздернула чепец на голову, шаль развесила на плечах и воткнула в её складки огромную булавку, желая скрыть от посторонних взоров оставшееся без пуговиц место своего платья, потом как вихрь сбежала с лестницы. Между тем семейство её стояло уже за дверьми в ожидании, и в то самое время, как звон замолк и процессия двинулась от ветхого дома к церкви.

Церковь была велика, но число прихожан незначительно, точно так же, как и доход пастора. Десятая часть из собственности прихода принадлежала некогда Лесли, но давно уже была продана. Теперешний пастор получал немного более ста фунтов. Он был добрый и умный человек, но бедность и заботы о жене и семействе, а также то, что может быть названо совершенным затворничеством для образованного ума, когда, посреди людей, его окружавших, он не находил человека, достаточно развитого, чтобы можно было с ним разменяться мыслию, переступившею горизонт приходских понятий, погрузили его в какое-то уныние, которое по временам походило на ограниченность. Состояние его не позволяло ему делать приношения в пользу прихода или оказывать подвиги благотворительности; таким образом он не приобрел нравственного влияния на своих прихожан ничем, кроме примера благочестивой жизни и действия своих увещаний. Прихожане очень мало заботились о нем, и если бы мистрисс Лесли, в часы своей неутолимой деятельности, не употребляла поощрительных мер в отношении прихожан, в особенности стариков и детей, то едва ли бы пол-дюжины человек собирались в церковь.

Возвратясь от обедни, семейство Лесли село, за обед, по окончании которого Рандаль отправился пешком в Гэзльден-Голл.

Как ни казался нежным и слабым его стан, в нем была заметна скорость и энергия движения, которые отличает нервические комплекции; он постоянно уходил вперед от крестьянина, которого взял себе в проводники на первые две или три мили. Хотя Рандаль не отличался в обхождении с низшими откровенностью, которую Франк наследовал от отца, в нем было – несмотря на некоторые притворные качества, несовместные с характером джентльмена – довольно джентльменства, чтобы не показаться грубым и заносчивым к своему спутнику. Сам Рандаль говорил мало, но зато спутник его был особенно словоохотлив; это был тот самый крестьянин, с которым говорил Франк на пути к Рандалю, и теперь он распространялся в похвалах лошади джентльмена от которой переходил к самому джентльмену. Рандаль надвинул себе шляпу на глаза. Должно быть, что и у земледельца нет недостатка в такте и догадливости, потому что Том Стауэлль, бывший совершенным середовиком из своего сословия, тотчас заметил, что слова его не совсем идут к делу. Он остановился, почесал себе голову и, ласково смотря на своего спутника, вскричал.

– Но вот, Бог даст, доживем, что вы заведете лошадку лучше теперешней вашей, мастер Рандаль:– это ужь верно, потому что другого такого доброго джентльмена нет в целом округе.

– Спасибо тебе, сказал Рандаль. – Я более люблю ходить пешком, чем ездить; мне кажется, я уже так создан.

– Хорошо, да вы и ходите молодецки, – едва ли найдется другой такой ходок в целом графстве. Правду сказать, любо и идти-то здесь: все такие славные виды по дороге до самого Гэзельден-Голла.

Рандаль все шел вперед, как будто становясь нетерпеливее от этих похвал; наконец, выйдя на открытую поляну, он сказал.

– Теперь, я думаю, я найду сам дорогу. – Очень тебе благодарен, Том.

И он положил шиллинг в жесткую руку Тома. Крестьянин взял монету как-то нерешительно, и слезы заблестели у него на глазах. Он был более благодарен за этот шиллинг, чем за пол-кроны щедрого Франка; ему пришла на ум бедность несчастного семейства Лесли, и он совершенно забыл в эту минуту, что сам он еще гораздо беднее.

Он, стоял на поляне и глядел в даль, пока фигура Рандаля не скрылась совершенно из виду; потом побрел он потихоньку домой.

Молодой Лесли продолжал идти скорым шагом. Несмотря на его умственное образование, его постоянные стремления к чему-то высшему, у него не было в эту минуту такой отрадной мысли в голове, такого поэтического чувства в сердце, как у безграмотного мужика, который оделся к своей деревне, понутив голову.

Когда Рандаль достиг места, где несколько отдельных полей сходились в одну общую равнину, он начал чувствовать усталость, шаги его замедлялись. В это время кабриолет выехал по одной из боковых дорог и принял то же направление, как наш путник. Дорога была жестка и неровна, и кабриолет подвигался медленно, не опережая пешехода.

– Вы, кажется, устали, сэр, сказал сидевший в кабриолете плечистый молодой фермер, по видимому, один из зажиточных в своем сословии.

И он посмотрел с состраданием на бледное лицо и дрожащие ноги молодого человека.

– Может быть, нам по дороге; в таком случае, я вас подвезу.

Рандаль принял за постоянное правило не отказываться от предложений, в которых видел для себя какую нибудь пользу, и теперь он утвердительно отвечал на приглашение честного фермера.

– Славный день, сэр, сказал последний, когда Рандаль сел возле него; – Вы издали шли?

– Из Руд-Голла.

– Ах, вы, верно, сквайр Лесли, сказал почтительно фермер, приподнимая шляпу.

– Да, мое имя Лесли. Так вы знаете Руд?

– Я был воспитан в деревне вашего батюшки, сэр. – Вы, может быть, слышали о фермере Брюсе.

Рандаль. Я помню, что, когда я еще был маленьким мальчиком, какой-то мистер Брюс, который снимал, кажется, лучшую часть нашей земли, всякий раз, когда приходил к батюшке, приносил нам сладких пирожков. Он был вам родственник?

Фермер Брюс. Он быть мне дядя. Он уже умер, бедный.

Рандаль. Умер! Очень жаль... Он был особенно добр к нам, когда мы были детьми. Он ведь давно уже оставил ферму моего отца?

Фермер Брюс (*как будто оправдываясь*). Я уверен, что ему очень жаль было оставить вашу ферму. Но, видите ли, он неожиданно получил наследство.

Рандаль. И вовсе прекратил дела?

Фермер Брюс. Нет; но, имея капитал, он мог уже вносить значительную плату за хорошую ферму, в полном смысле этого слова.

Рандаль (*с горечью*). Все капиталы точно обегают имение Руд!.. Чью же ферму он снял?

Фермер Брюс. Он снял Голей, что принадлежит сквайру Гэзельдену. Теперь и я содержу ее же. Мы положили в нее пропасть денег; но пожаловаться нельзя: она приносит славный доход.

Рандаль. Я думаю, эти деньги принесли бы такой же барыш, если бы их употребить на землю моего отца?

Фермер Брюс. Может быть, через продолжительное время. Но, изволите ли видеть, сэр, нам понадобилось тотчас же обеспечение – нужно было немедленно устроить житницы, скотный двор и много кое-чего, что лежало на обязанности помещика. Но не всякий помещик в состоянии это сделать. Ведь сквайр Гэзельден богатый человек.

Рандаль. А!

Дорога теперь пошла глаже, и фермер пустил свою лошадь скорой рысцой.

– Вам по какой дороге, сэр? Несколько миль крюку мне ничего не значат, если смею услужить вам.

– Я отправляюсь в Гэзельден, сказав Рандаль, пробуждаясь от задумчивости. – Пожалуйста, не делайте из за меня и шагу лишнего.

– О, Голейская ферма по ту сторону деревни: значит, мне совершенно по дороге, сэр.

Фермер, бывший очень разговорчивым малым и принадлежа к поколению, происшедшему от приложения капитала к земле, к поколению, которое, по воспитанию и манерам, могло стать на ряду с сквайрами прежнего времени, начал говорить о своей прекрасной лошади, о лошадях вообще, об охоте и конских бегах; он рассуждал о всех этих предметах с одушевлением и скромностью. Рандаль еще более надвинул тебе шляпу на глаза и не прерывал его до тех пор, пока они не поровнялись с казино; тут он, пораженный классическою наружностью строения и заметив прелестную зелень померанцовых деревьев, спросил отрывисто:

– Чей это дом?

– Он принадлежит сквайру Гэзельдену, но отдан в наем какому-то иностранному господину. Говорят, что постоялец настоящий джентльмен, только чрезвычайно беден.

– Беден, сказал Рандаль, обращаясь назад, чтобы посмотреть на зеленеющийся сад, на изящную террасу, прекрасный бельведер, и бросая взгляд в отворенную дверь, на расписанную внутри залу: – беден... дом кажется, впрочем, очень мило убран. Что вы разумеете под словом «беден», мистер Брюс?

Фермер засмеялся.

– По правде сказать, это трудный вопрос, сэр. Но я думаю, что господин этот так беден, как может быть беден человек, который только не входит в долги и не умирает с голоду.

– Значит так беден, как мой отец? спросил Рандаль явственно и несколько отрывисто.

– Бог с вами, сэр! Батюшка ваш богач в сравнении с ним.

Рандаль продолжал смотреть, сознавая в уме своем контраст этого дома с своим развалившимся домом, где все носило признаки запустения. При Руд-Голле нет такого опрятного садика, нет и следа ароматических померанцовых цветов. Здесь бедность была по крайней мере миловидна, там она была отвратительна. Сообразив все это, Рандаль не мог понять, как можно было так дешево достигнуть в обстановке дома столь утонченного изящества. В эту минуту путники подъехали к ограде парка сквайра, и Рандаль, заметив тут маленькую калитку, попросил фермера остановиться и сам сошел с кабриолета. Молодой человек скоро скрылся в густой листве дубов, а фермер весело продолжал свою дорогу, и его звучный свист уныло отдавался в ушах Рандаля, пока он проходил под сению деревьев парка. Придя к дому сквайра, он узнал, что вся семья Гэзельден в церкви, а согласно патриархальному обычаю, прислуга не отставала от господ в подобных случаях. Таким образом ему отворила дверь какая-то дряхлая служанка. Она была почти совершенно глуха и до того безтолкова, что Рандаль не хотел войти в комнаты с тем, чтобы дожидаться возвращения Франка. Он сказал, что походит по лугу и воротится тогда, когда церковная служба кончится.

Старуха остановилась в удивлении, стараясь его расслушать, но он отвернулся и пошел бродить в ту сторону, где виднелась садовая решотка.

Тут было много такого, что могло привлечь любопытные взоры: обширный цветник, пестрый как ковер, два величественные кедра, покрывавшие тенью лужайку, и живописное строение с узорчатыми рамами у окон и высокими остроконечными фронтонами; но кажется, что молодой человек не смотрел на эту сцену ни глазами поэта, ни глазами живописца.

Он видел тут доказательства богатства, и зависть возмущала в эту минуту его душу.

Сложив руки на груди, он стоял долго молча, смотря вокруг себя с сжатыми губами и наморщенным лбом; потом он снова заходил, устремив глаза в землю, и проворчал в полголоса:

– Наследник этого имения немногим лучше мужика; мне же приписывают блестящие дарования и ученость, я постоянно твержу девиз свой: «знание есть сила». А между тем, несмотря на мои труды, поставят ли когданибудь меня мои познания на ту степень, на которой этому неучу суждено стоять? бедные ненавидят богатых; но кто же из бедных склоннее к этому, как не обеднявший джентльмен? Одлей Эджертон, того-и-гляди, думает, что я поступлю в Парламент и приму вместе с ним сторону тори. Как же, на такого и напал!

Он быстро повернулся и угрюмо посмотрел на несчастный дом, который хотя и был довольно удобен, но далеко не напоминал дворца; сложив руки на груди, Рандаль продолжал ходить взад и вперед, не желая выпустить дом из виду и прервать нить своих мыслей.

– Какой же выход из подобного положения? говорил он сам с собою. – «Знание есть сила.». Достанет ли у меня силы, чтобы оттянуть имение у этого неуча? Оттянуть! но что же оттянуть? отцовский дом, что ли? Да! но если бы сквайр, умер, то кто был бы наследником Гэзельдена? Не слышал ли я от матушки, что я самый близкий родственник сквайру, кроме его собственных детей? Но дело в том, что он ценит жизнь этого мальчишка вдесятеро дороже моей. Какая же надежда на успех? На первый раз его нужно лишить расположения дяди Эджертона, который никогда не видал его. Это все-таки возможнее.

«Посторонись с дороги», сказал ты, Одлей Эджертон. А откуда ты получил состояние, как не от моих предков? О, притворство, притворство Лорд! Бэкон применяет его ко всем родам деятельности, и...»

Здесь монолог Рандаля был прерван, потому что, прохаживаясь взад и вперед, он дошел до конца лужайки, склонявшейся в ров, наполненный тиной, и в ту самую минуту, как мальчик подкреплял себя учением Бэкона, земля осыпалась под ним, и он упал в ров.

Как нарочно, сквайр, которого неутомимый гений постоянно был занят нововведениями и исправлением всякого рода повреждений, за несколько дней до того велел расширить и вычистить ров в этом месте, так что земля в нем была еще очень сыра, не выложена кам-

нем и не утробована. Таким образом, когда Рандаль, опомнившись от удивления и испуга, привстал, то увидал, что все его платье замарано в грязи, тогда как стремительность его падения доказывалась фантастическим, странным видом его шляпы, которая, представляя местами впадины, а местами выступы, вообще была неузнаваема и напоминала шляпу одного почтенного джентльмена, злого писаку и protégé мистера Эджертон, или шляпу, какую, иногда находят на улице возле упавшего в лужу пьяного.

Рандаль был оглушен, отуманен этим падением и несколько минут не мог придти в себя. Когда он собрался с мыслями, тоска еще сильнее овладела им. Он еще так был малодушен, что никак не решался представиться в таком виде незнакомому сквайру и шеголеватому Франку; он решил выбраться на знакомую поляну и воротиться домой, не достигнув цели своего путешествия; и, заметив перед собою тропинку, которая вела к воротам, выходящим на большую дорогу, он тотчас же отправился по этому направлению.

Удивительно, как все мы мало обращаем внимания на предостережения нашего доброго гения. Я уверен, что какая-нибудь благодетельная сила столкнула Рандаль Лесли в ров, изображая тем пред ним судьбу всякого, кто избирает какой-нибудь необыкновенный путь для рассудка, т. е. пятится, например, назад, с целию завистливо полюбоваться ни собственностью соседа. Я думаю, что в течение настоящего столетия много еще найдется, юношей, которые таким же образом попадают во рвы и выползут оттуда, может быть, в более грязных сюртуках, чем сам Рандаль. Но Рандаль не благодарил судьбы за данный ему предостерегательный урок; да я и не знаю человека, который бы поблагодарил ее за это.

В это утро, сквайр был очень сердит за завтраком. Он был слишком истым англичанином, чтобы терпеливо переносить обиду, а он видел личное оскорбление в порче приходского учреждения. Его чувствительность была задета при этом столько же, сколько и гордость. Во всем этом деле были признаки явной неблагодарности ко всем трудам, понесенным им не только для возобновления, но и украшения колоды. Впрочем, сквайру случалось сердиться очень нередко, потому и теперь это никого не удивило бы. Риккабокка, как человек посторонний, и мистрисс Гэзелден, как жена сквайра, тотчас заметили, что хозяин уныл и задумчив; но один был слишком скромн, и другая слишком чувствительна для того, чтобы растравлять свежую рану, какая бы она ни была; и вскоре после завтрака сквайр ушел в свой кабинет, пропустив даже утреннюю службу в церкви.

В своем прекрасном «Жизнеописании Оливера Гольдсмита», мистер Фостер старается тронуть наши сердца, представляя нам оправдания своего героя в том, что он не пошел в духовное звание. Он не чувствовал себя достойным этого. Но твой «Вэкфильдский Священник», бедный Гольдсмит, вполне заступает твое и место, и доктор Примроз будет предметом удивления для света, пока не оправдаются на деле предчувствия мисс Джемимы. Бывали дни, когда сквайр, чувствуя себя не в духе и руководствуясь примером смирения Гольдсмита, отдалялся на некоторое время от семьи и сидел запершись в своей комнате. Но эти припадки сплина проходили обыкновенно одним днем, и большею частью, когда колокол звонил к вечерне, сквайр окончательно приходил в себя, потому что тогда он показывался на пороге своего дома под руку с женою и впереди всех своих домочадцев. Вечерняя служба (как обыкновенно слушается к сельских приходах) была более посещаемая прихожанами? чем первая, и пастор обыкновенно готовил к ней самые красноречивые поучения.

Пастор Дэль, хотя и был некогда хорошим студентом, не отличался ни глубоким познанием богословия, ни археологическими сведениями, которыми отличается нынешнее духовенство. Не был пастор смышлен и в церковной архитектуре. Он очень мало заботился о том, все ли части церкви были в готическом вкусе, или нет; карнизы и фронтоны, круглые и стрельчатые своды были такие вещи, над которыми ему не случалось размышлять серьезно. Но зато пастор Дэль постиг одну важную тайну, которая, может быть, стоит всех этих утонченностей, вместе взятых, – тайну наполнять церковь слушателями. Даже за утренней службой ни одна

из церковных лавок не оставалась пустою, а за вечернею – церковь едва могла вместить входящих.

Пастор Дэль, не вдаваясь в выпренния толкования отвлеченностей и придерживаясь своего всегдашнего правила: *Quieta non movere*, понимал призвание свое в том, чтобы советовать, утешать, увещевать своих прихожан. Обыкновенно к вечерней служб он готовил свои поучения, которые излагал таким образом, что никто, кроме вашей собственной совести, не мог бы упрекнуть вас за ваши ароступки. И в настоящем случае пастор, которого взоры и сердце постоянно было заняты прихожанами, который с прискорбием видел, как дух недовольствия распространялся между крестьянами и готов был заподозрить самые добрые намерения сквайра, решился произнести на этот счет поучение, которое имело целию защитить добродетель от нареканий и исцелить; по мере возможности, рану, которая таилась в сердце гэзельденского прихода.

Очень жаль, что мистер Стирн не слышал поучения пастора; этот должностной человек был, впрочем, постоянно занят, так что во время летних месяцев ему редко удавалось быть у вечерней служб. Не то, чтобы мистер Стирн боялся в поучениях пастора намек на свою личность, но он набирал всегда для дня покоя много экстренных дел. Сквайр по воскресеньям позволял всякому гулять около парка и многие приезжали издалека, – чтобы побродит около озера или отдохнуть в тени вязов. Эти посетители были предметом подозрений и беспокойств для мистера Стирна, и – надо правду сказать – не без причины. Иногда мистер Стирн, к своему невыразимому удовольствию, нападал на толпу мальчишек, которые пугали лебедей; иногда он замечал, что недостает какого нибудь молодого деревца, и потом находил его у кого нибудь уже обращенным в трость; иногда он ловил дерзкого парня, который переползал через ров с целию составить букет для своей возлюбленной в цветнике бедной мистрисс Гэзельден; очень часто также, когда все семейство было в церкви, некоторые любопытные грубияны врывались силою или прокрадывались в сад, чтобы посмотреть в окна господского дома. За все эти и разные другие беспорядки, не менее важные, мистер Стирн долго, но тщетно, старался уговорить сквайра отменить позволение, которое до такой степени употреблялось во зло. Сквайр хотя по временам ворчал, сердился и уверял, что он прикажет запереть парк и наставить в нем капканов, но гнев его ограничивался только словами. Парк по-прежнему оставался отпертым каждое воскресенье, и таким образом этот день был днем чрезвычайных хлопот для мистера Стирна. Но после последнего удара колокола за вечерней службой и вплоть до сумерек было особенно беспокойно бдительному дозорщику, потому что из стада, которое из маленьких хижин стекалось на призыв своего пастыря, всегда находилось несколько заблудших овец, которые бродили по всем направлениям, как будто с единственною целью – испытать бдительность мистера Стирна. Вслед за окончанием церковной служб, если день бывал хорош, парк наполнялся гуляющими в красных клоках, ярких шалях, праздничных жилетах и шляпах, украшенных полевыми цветами, которые, впрочем, по уверению мистера Стирна, были по что иное, как молодые герани мистрисс Гэзельден. Особенно нынешнее воскресенье у главного управителя были важные причины усугубить деятельность и внимание: ему предстояло не только открывать обыкновенных похитителей и шатал, но, во первых, доискаться, кто зачинщик порчи колоды, во вторых, показать пример строгости.

Он начал свой дозор с раннего утра, и в то самое время, как вечерний колокол возвестил о близком окончании служб, он вышел на деревню из-за зеленой изгороди, за которой спрятался с целию наблюдать, кто особенно подозрительно будет бродить около колоды. Место это было пусто. На значительном расстоянии, домоправитель увидал исчезающие фигуры каких-то запоздавших крестьян, которые спешили к церкви; перед ним неподвижно стояло исправительное учреждение. Тут мистер Стирн остановился, снял шляпу и отер себе лоб.

«Подожду пока здесь – сказал он сам себе – негодяи, верно, захотят полюбоваться на свое дело; недаром же я слышал, что убийцы, совершив преступление, всегда возвращаются на то

место, где оставили тело. А здесь в деревне ведь, право, нет никого, кто бы порядочно порадел для пользы сквайра или прихода, – кроме меня одного.»

Лишь только мистер Стирн успел придти к такому мизантропическому заключению, как увидал, что Леонард Ферфильд очень скоро идет из своего дома. Управитель ударил себя по шляпе и величественно подперся правой рукою.

– Эй, ты, сэр, вскричал он, когда Ленни подошел так близко, что мог его слышать: – куда это ты бежишь так?

– Я иду в церковь, сэр.

– Постой, сэр, постой, мистер Ленни. Ты идешь в церковь! Ужь ведь отзвонили, а ты знаешь, как пастор не любит, когда кто приходит поздно и нарушает должное молчание. Ты теперь не должен идти в церковь...

– Отчего же, сэр?

– Я тебе говорю, что ты не должен идти. Ты обязан замечать, как поступают добрые люди. Ты видишь, например, с каким усердием я служу сквайру: ты должен служить ему так же. И так мать твоя пользуется домом и землей за бесценок: вы должны быть благодарны сквайру, Леонард Ферфильд, и заботиться о его пользе. Бедный! у него и так сердце надрывается, глядя на то, что у нас происходит.

Леонард открыл свои добродушные голубые глаза, пока мистер Стирн чувствительно вытирал свои.

– Посмотри на это здание, сказал вдруг Стирн, указывая на колоду: – посмотри на него... Если бы оно могло говорить, что оно сказало бы, Леонард Ферфильд? Отвечай же мне!

– Это было очень нехорошо, что тут наделали, сказал Ленни с важностью. – Матушка была чрезвычайно огорчена, когда услышала об этом, сегодня утром.

Мистер Стирн. Я думаю, что не без того, если принять в соображение, какой вздор она платит за аренду; (*вкрадчиво*) а ты не знаешь, кто это сделал, Ленни, а?

Ленни. Нет, сэр, право, не знаю.

Мистер Стирн. Слушай же: тебе уж нечего ходить в церковь: проповедь, я думаю, кончилась. Ты должен помнить, что я отдал учреждение под твой надзор, на твою личную ответственность, а ты видишь, как ты исполняешь свой долг в отношении к нему. Теперь я придумал...

Мистер Стирн вперил свои глаза в колоду.

– Что вам угодно, сэр? спросил Ленни, начинавший серьезно бояться.

– Мне ничего не угодно; тут не может быть удобного. На этот раз я тебе прощаю, но вперед прошу держать ухо востро. Теперь ты стой здесь... нет, вот здесь, у забора, и стереги, не будет ли кто бродить около здания, глазеть на него или смеяться, а я между тем пойду дозором кругом. Я возвращусь перед концом вечерни или тотчас после неё; стой же здесь до моего прихода и потом отдай мне отчет. Не зевай же, любезный, не то будет худо и тебе и твоей матери: я завтра же могу надбавить вам платы по четыре фунта в год.

Заклучив этим выразительным замечанием и не дожидаясь ответа, мистер Стирн отделил от бедра руку и пошел прочь.

Бедный Ленни остался у колоды в сильном унынии и неудовольствии на такое неприятное соседство. Наконец он тихонько подошел к забору и сел на месте, указанном ему для наблюдений. Скоро он совершенно помирился с своею настоящею обязанностью, стал восхищаться прохладою, распространяемою тенистыми деревьями, чириканьем птичек, прыгавших по ветвям, и видел только светлую сторону данного ему поручения. В молодости все для нас может иметь эту светлую сторону, – даже обязанность караулить колоду. Правда, Леонард не чувствовал особенной привязанности к самой колоде, но он не имел никакой симпатии и с людьми, сделавшими на нее нападение, и в то же время знал, что сквайр будет очень огорчен, если подобный поступок повторится. «Так – думал бедный Леонард в простоте своего сердца –

если я смогу защитить честь сквайра, открыв виновных, или, по крайней мере, напав на след, кто это сделал, то такой день будет радостным днем для матушки.» Потом он начал рассуждать, что хотя мистер Стирн и не совсем ласково назначал ему этот пост, но, во всяком случае, это должно льстить его самолюбию: это доказывало доверие к нему, как образцовому мальчику из числа всех его сверстников. А у Ленни было, в самом деле, много самолюбия во всем, что касалось его репутации.

По всем этим причинам, Леонард Ферфильд расположился на своем наблюдательном посту если не с положительным удовольствием и сильным восторгом, то, по крайней мере, с терпением и самоотвержением.

Прошло с четверть часа после ухода мистера Стирна, как какой-то мальчик вошел в парк через калитку, прямо против того места, где скрывался Леини, и, утомясь, по видимому, от ходьбы или от дневного жара, он остановился на лугу на несколько минут и потом пошел, под тень дерева которое росло возле колоды.

Леини напряг свой слух и приподнялся на цыпочки...

Он никогда не видал этого мальчика: лицо его было совершенно незнакомо ему.

Леонард Ферфильд вообще не любил незнакомых; кроме того, у него было убеждение, что ктонибудь из чужих испортил колоду. Мальчик действительно был чужой; но какого он был звания? На этот счет Ленни Ферфильд не знал ничего верного. Сколько можно было ему судить по наглядности, мальчик этот не был одет как джентльмен. Понятия Леонарда об аристократичности костюма развились, конечно, под влиянием Франка Гэзельдена. Они представляли его воображению очаровательный вид белоснежных жилетов, прелестных голубых сюртуков и великолепных галстуков. Между тем платье этого незнакомца хотя не показывало в нем ни крестьянина, ни фермера, в то же время не соответствовало идее о костюме молодого джентльмена; оно представлялось даже не совсем приличным: сюртук был выпачкан в грязи, шляпа приняла самую чудовищную форму, а между тульею и краями её была порядочная прореха. Ленни очень удивился и потом вспомнил, что калитка, через которую прошел молодой, человек, была на прямой дороге из парка в соседний городок, жители которого пользовались очень дурною славою в Гэзельден-Голле: с незапамятных времен из числа их являлись самые страшные браконьеры, самые отчаянные шаталы, самые жестокие похитители яблоков и самые неутомимые спорщики при определении прав на дорогу, которая, судя по городским понятиям, была общественною, по понятиям же сквайра, пролегая по его земле, составляла его собственность. Правда, что эта же самая дорога вела от дома сквайра, но трудно было предположить, чтобы человек, одетый так неблаговидно, мог быть в гостях у сквайра. По всему этому Ленни заключил, что незнакомец должен быть лавочник или прикащик из Торндейка, а репутация этого городка, в соединении с предубеждением, заставляла Ленни придти к мысли, что незнакомец должен быть одним из виновным в порче колоды. Как будто для того, чтобы еще более утвердить Ленни в таком подозрении, которое пришло ему в голову несравненно скорее, чем я успел описать все это, таинственный незнакомец сел, на колоду, положил ноги на закраины её и, вынув из кармана карандаш и памятную книжку, начал писать. Не снимал ли этот страшный незнакомец план всей местности, чтобы потом зажечь дом сквайра и церковь! Он смотрел то в одну, то в другую сторону с каким-то странным видом и все продолжал писать, почти вовсе не обращая внимания на лежавшую перед ним бумагу, как заставляли это делать Ленни, когда он писал свои прописи. — Дело в том, что Рандаль Лесли чрезвычайно устал и, сделав несколько шагов стал еще сильнее чувствовать ушиб от своего падения, так что ему хотелось отдохнуть несколько минут; этим временем он воспользовался, чтобы написать несколько строк к Франку с извинением что он не зашел к нему. Он хотел вырвать этот листок из книжки и отдать его в первом коттэдже, мимо которого ему придется идти, с поручением отвести его в дом сквайра.

Пока Рандаль занимался этим. Леини подошел к нему твердым и мерным шагом человека, который решил, во что бы то ни стало, исполнить долг свой. И как Ленни хотя и был

смел, но не был ни вспыльчив, ни заносчив, то негодование, которое он испытывал в эту минуту, и подозрение, возбужденное в нем поступком незнакомца, выразились в следующем воззвании к нарушителю прав собственности.

– Неужели вам не стыдно? Сидите вы на новой колоде сквайра! Встаньте скорее и ступайте с Богом!

Рандаль поспешно обернулся; и хотя во всякое другое время у него достало бы умения очень ловко вывернуться из такого фальшивого положения, но кто может похвалиться, что он всегда благоразумен? А Рандаль был теперь в самом дурном расположении духа. Его ласковость к низшим себя, за которую я недавно еще его хвалил, совершенно исчезла теперь при виде грубияна, который не узнал в нем достоинств питомца Итона.

Таким образом, презрительно посмотрев на Ленни, Рандаль отвечал отрывисто:

– Вы глупый мальчишка!

Такой выразительный ответ заставил Ленни покраснеть до ушей. Будучи уверен, что незнакомец был какойнибудь лавочник или прикащик, Ленни еще более утвердился в своем мнении, не только по этому неучтивому ответу, но и по зверскому взгляду, который сопровождал его и который нисколько не заимствовал величия от исковерканной, истертой, обвислой и изорванной шляпы, из под которой блеснул его зловещий огонь.

Из всех разнообразных принадлежностей нашего костюма нет ничего, что бы было так индивидуально и выразительно, как покрывало головы. Светлая, выглаженная шоткою, коротко-ворсистая джентльменская шляпа, надетая на известный какойлибо манер, сообщает изящество и значительность всей наружности, тогда как измятая, взъерошенная шляпа, какая была на Рандале Лесли, преобразила бы самого щеголеватого джентльмена, который когдалибо прохаживался по Сен-Джемс-Стриту, в идеал оборванца.

Теперь всем очень хорошо известно, что наш крестьянский мальчик чувствует непримиримую антипатию к лавочному мальчику. Даже при политических происшествиях земледельческий рабочий класс редко действует единодушно с городским торгующим сословием. Но не говоря уже об этих различиях между сословиями, всегда есть что-то неприязненное в отношениях двух мальчиков, друг к другу, когда им случится сойтись поодиночке гденибудь на лужайке. Что-то похожее на вражду петухов, какая-то особая склонность согнуть большой палец руки над четырьмя другими и сделав из всего этого так называемый кулак, проявились и в эту минуту. Признаки этих смешанных ощущений были тотчас же заметны в Ленни при словах и взгляде незнакомца, И незнакомец, казалось, понял это, потому что его бледное лицо сделалось еще бледнее, а его мрачный взор – еще неподвижнее и осторожнее.

– Отойдите от колоды, сказал Ленни не желая отмечать на грубый отзыв незнакомца, и вместе с этим словом он сделал движение рукой, с намерением оттолкнуть незваного гостя. Тот, приняв это за удар, вскочил и быстротой своих приемов, с маленьким усилием руки, заставил Ленни потерять равновесие и повалил его навзничь. Кипя гневом, молодой крестьянин, быстро поднялся и бросился на Рандаля.

## Глава XVIII

Придите ко мне на помощь, о вы, девять Муз, на которых несравненный Персий писал сатиры и которых в то же время призывал в своих стихах, – помогите мне описать борьбу двух мальчуганов: один – умеренный защитник законности и порядка, боец *pro uns et focis*; другой – высокомерный пришлец, с тем уважением к имени и личности, которое иные называют честью. Здесь одна лишь природная физическая сила, там ловкость, приобретенная упражнением. Здесь... но Музы немы как столб и холодны как камень! Пусть их убираются, куда знают. Без них лучше обойдется дело.

Рандаль был старше Ленни годом, но он не был ни так высок ростом, ни так силен, ни так ловок, как Ленни, и после первого порыва, когда оба мальчика остановились, чтобы перевести дыхание, Ленни, видя жидкие формы и бесцветные щеки своего противника, видя, что кровь капает уже из губы Рандалья, вдруг почувствовал раскаяние. «Нехорошо – подумал он – желать бороться с человеком, которого легко прибить.» Таким образом, отойдя в сторону и опустив руки, он сказал кротко:

– Полно нам дурачиться; ступайте домой и не сердитесь на меня.

Рандаль Лесли вовсе не отличался таким же достоинством, Он был горд, мстителен, самолюбив; в нем были более развиты наступательные органы, чем оборонительные; что однажды заслужило гнев его, то он желал уничтожить во что бы то ни стало. Потому хотя все нервы его дрожали и глаза его были полны слез, он подошел к Ленни с заносчивостью гладиатора и сказал, стиснув зубы и заглушая стоны, вызванные в нем злобою и телесным страданием:

– Вы ударили меня, потому не сойдете с места, пока я не заставлю вас раскаяться в вашем поступке. Приготовьтесь, защищайтесь: я уж не так буду бить вас.

Хотя Лесли не считался бойцом в Итоне, но его характер вовлекал его в некоторые схватки, особенно когда он был в низших классах, и он изучил таким образом теорию и практику боксера – искусства, которое едва ли когда нибудь выведется в английских общественных школах.

Теперь Рандаль применял в деле приобретенные им сведения, отражал тяжелые удары своего противника, сам наносил очень быстрые и меткие, заменяя ловкостью и проворством природное бессилие своей руки. Впрочем, эта рука не была даже слаба: до такой степени увеличивается сила в минуты страсти и раздражения. Бедный Ленни, которой никогда еще не дрался настоящим образом, был оглушен; чувства его притупились, перемешались, так что он не мог отдаю себе в них отчета; у него осталось какое-то смутное воспоминание о бездыханном падении, о тумане, заставшем до глаза, и об ослепительном блеске, который как будто пронесся перед ними – о сильном изнеможении, соединенном с чувством боли – тут, там, по всему телу, и потом все, что у него осталось в памяти, было то, что он лежал на земле, что его били жестоко, при чем противник его сидел над ним такой же мрачный и бледный, как Лара над падшим. Это: потому что Рандаль не был из числа тех людей, которым сама природа подсказывает правило: «лежачего не бить»; ему стоило даже некоторой борьбы с самим собою и то, что он не решился топтать ногами своего противника. Он отличался от дикаря умом, а не сердцем, и теперь, борючись что-то с самим собою, победитель отошел в сторону.

Кто же мог явиться теперь на место битвы, как не мистер Стирн? Особенно заботясь о том, чтобы втянуть Ленни в немилость, он надеялся, что мальчик наверно не исполнит данного ему поручения, и в настоящую минуту он спешил удостовериться, не оправдается ли его вожденное ожидание. Тут он увидел, что Ленни с трудом приподнимается с земли, страдая от ударов и плача с какими-то истерическими порывами; его новый жилет забрызган его собственной кровью, которая текла у него из носа, и этот нос казался Ленни уже не носом, а раздутою, гористою возвышенностью. Отвернувшись от этого зрелища, мистер Стирн посмотрел

с небольшим уважением, как некогда и сам Ленни, на незнакомого мальчика, который опять уселся на колоду – для того ли, чтобы перевести дыхание, или показать, что он одержал победу.

– Эй, что все значит? сказал мистер Стирн:– что все это значит, Ленни, а?

– Он хочет здесь сидеть, отвечал Ленни, голосом, прерываемом рыданиями: – а прибил он меня за то, что не позволял ему; но я не ожидал этого... *теперь* я, пожалуй, опять...

– А что вы, смею спросить, расселись тут?

– Смотрю на ландшафт; отойди-ка от света, любезный!

Этот тон привел мистера Стирна в недоумение: это был тон до того непочтительный в отношении к нему, что он почувствовал особенное уважение к говорившему. Кто кроме джентльмена смел бы сказать это мистеру Стирну?

– А позвольте узнать, кто вы? спросил мистер Стирн нерешительным голосом и собираясь даже прикоснуться к своей шляпе. – Покорно прошу объяснить ваше имя и цель вашего посещения.

– Мое имя Рандаль Лесли, а цель моего посещения была сделать визит семейству вашего барина. Я думаю, что я не ошибся, если принял вас, судя по наружности, за пахаря мистера Гэзельдена.

Говоря таким образом, Рандаль встал, потом, пройдя, несколько шагов, воротился назад и, бросив пол-кроны на дорогу, сказал Ленни:

– На, возьми это за свое увечье и вперед умей говорить с джентльменом. Что касается до тебя, любезный, сказал он, обращаясь к мистеру Стирну, который, с разинутым ртом и без шляпы, стоял в это время, низко кланаясь – то передай мое приветствие мистеру Гэзельдену и скажи ему, что когда он сделает нам честь посетить вас в Руд-Голле, то я уверен, что прием наших крестьян заставит его постыдиться за гэзельденских.

О, бедный сквайр! Гэзельдену стыдиться Руд-Голля? Если бы это поручение было передано вам, вы не в состоянии бы взглянуть более на свет Божий.

С этими словам, Рандаль вышел на тропинку, которая вела к усадьбе пастора, и оставил Ленни Ферфильда ощупывать свой нос, а мистера Стирна – непрерывным своих поклонов.

Рандаль Лесли очень долго шел до дому; у него сильно болело все тело от головы до пяток, а душа его, еще более была поражена, чем тело. Если бы Рандаль Лесли остался в саду сквайра и не пошел назад, поддаваясь учению лорда Бэкона, то он провел бы очень приятный вечер и верно был бы отвезен домой в коляске сквайра. Но как он пустился в отвлеченные умствования, то и упал в ров; упавши в ров, выпачкал себе платье; выпачкав платье, отказался от визита; отказавшись от визита отправился к колоде и сел на нее, будучи в шляпе, которая делала его похожим на беглого арестанта; сев на колоду в такой шляпе и с подозрительным выражением на лице, он был вовлечен в ссору и драку с каким-то олухом и теперь плелся домой, браня и себя и других; *ergo* – за сим следует мораль, которая стоит повторения – *ergo*, когда вам случится придти в сад к богатому человеку, то будьте довольны тем, что принадлежит вам, т. е. правом любоваться; поверьте, что вы более будете любоваться, чем сам хозяин.

Если, в простоте своего сердца и по доверчивой неопытности, Ленни Ферфильд думал, что мистер Стирн скажет ему несколько слов в похвалу его мужества и в награду за потерпленные им побои, то он вскоре совершенно ошибся в том. Этот, по истине, верный человек, достойный исполнитель воли Гэзельдена, скорее готов был простить отступление от своего приказанья, если бы это было сопряжено с некоторою выгодой или способствовало к возвышению кредита, но, напротив, он был неумолим к буквальному, бессознательному и слепому исполнению приказаний, что все, рекомендуя, может быть, с хорошей стороны доверенное лицо, все-таки вовлекает лицо доверяющее в большие затруднения и промахи. И хотя человеку, не совсем еще знакомому с уловками человеческого сердца, в особенности неизведавшему сердца домоправителей и дворецких, и показалось бы очень естественным, что мистер Стирн, стоявший все еще на середине дороги, со шляпой в руке, уязвленный, униженный и раз-

досадованный словами Рандаля Лесли, сочтет молодого джентльмена главным предметом своего негодования, – но такой промах, как негодование на лицо высшее себя, с трудом мог придти в голову глубокомысленного исполнителя приказаний сквайра. За всем тем, так как гнев, подобно дыму, должен же улететь куда бы то ни было, то мистер Стирн, почувствовавший в это время – как он после объяснял жене – что у него «всю грудь точно разорвало», обратился, повинаясь природному инстинкту, к предохранительному от взрыва клапану, и пары, которые скопились в его сердце, обратились целым потоком на Ленни Ферфильда. Мистер Стирн с ожесточением надвинул шляпу себе на голову и потом облегчил грудь свою следующей речью:

– Ах, ты, негодяй! ах, ты, дерзкий забияка! В то время, как ты должен бы был быть в церкви, ты вздумал драться с джентльменом, гостем нашего сквайра, на том самом месте, где стоит исправительное учреждение, порученное твоему надзору! Посмотри, ты всю колоду закапал кровью из своего негодного носишка!

Говоря таким образом, и чтобы придать большую выразительность словам, мистер Стирн намеревался дать добавочный удар несчастному носу, но как Ленни инстинктивно поднял руки, чтобы закрыть себе лицо, то разгневанный домоправитель ушиб составы пальцев о большие медные пуговицы, бывшие за рукавах куртки мальчика – обстоятельство, которое еще более усилило негодование мистера Стирна. Ленни же, которого слова эти чувствительно затронули, и который, по ограниченности своего образования, считал подобное обращение несправедливостью, бросив между собою и мистером Стирном большой чурбан, начал произносить следующее оправдание, которое одинаково было не к стати как придумывать, так выражать, потому что в подобном случае оправдываться значило обвинять себя вдвое.

– Я удивляюсь вам, мистер Стирн! если бы матушка вас послушала только! Не вы ли не пустили меня идти в церковь? не вы ли мне приказали...

– Драться с молодым джентльменом, и притом в праздничный день? сказал мистер Стирн, с иронической улыбкою. – Да, да! я приказал тебе, чтобы ты нанес бесчестье имени сквайра, мне и всему приходу и поставил всех нас в замешательство. Но сквайр велел мне показать пример, и я покажу!

При этих словах, с быстротой молнии мелькнула в голове мистера Стирна светлая мысль – посадит Ленни в то самое учреждение, которое он слишком строго караулил. Зачем же далеко искать? пример был у него перед глазами. Теперь он мог насытить свою ненависть к мальчику; здесь, избрав лучшего из приходских парней, он надеялся тем более устроить худших; этим он мог ослабит оскорбление, нанесенное Рандалю Лесли, в этом заключалась бы практическая апология сквайра в приеме, сделанном молодому гостю. Приводя мысль свою в исполнение, мистер Стирн сделал стремительный натиск на свою жертву, схватил мальчика за пояс, через несколько секунд колода отворилась, и Ленни Ферфильд был брошен в нее – печальное зрелище превратностей судьбы. Совершив это, и пока мальчик был слишком удивлен и ошеломлен внезапностью своего несчастья, для того, чтобы быть в состоянии защищаться – кроме немногих «едва слышных произнесенных им слов – мистер Стирн удалился с этого места, не забыв, впрочем, поднять и положить к себе в карман пол-крану, назначенную Ленни, и о которой он до тех пор, увлекшись разнородными впечатлениями, почти совсем было забыл. Он отправился по дороге к церкви, с намерением стать у самого крыльца её, выждать, когда сквайр будет выходить, и шепнуть ему о происшедшем и о наказании Ферфильда.

Клянусь честью джентльмена и репутациею автора, что слов моих было бы недостаточно, чтобы описать чувства, испытанные Ленни Ферфильдом, пока он сидел в исправительном учреждении. Он уже забыл о телесной боли; душевное огорчение заглушало в нем физические страдания, – душевное огорчение в той степени, в какой может вместить его грудь ребенка. Первое глубокое сознание несправедливости тяжело. Ленни, может быть, увлекся, но, во всяком случае, он с усердием и правотою исполнил возложенное на него поручение; он твердо стоял за отправление своего долга, он дрался за это, страдал, пролил кровь, – и вот какая

награда за все понесенное им! Главное свойство, которое отличало характер Ленни, было понятие о справедливости. Это было господствующее правило его нравственной природы, и это правило нисколько не потеряло еще своей свежести и значения ни от каких поступков притеснения и самоуправства, от которых часто терпят мальчики более высокого происхождения в домашнем быту или в школах. Теперь впервые проникло это железо в его душу, а с ним вместе другое, побочное чувство – досадное сознание собственного бессилия. Он был обижен и не имел средств оправдаться. К этому присоединилось еще новое, если не столь глубокое, но на первый раз все-таки неприятное, горькое чувство стыда. Он, лучший мальчик в целой деревне, образец прилежания и благонравия в школе, предмет гордости матери, – он, которого сквайр, в виду всех сверстников, ласково трепал по плечу, а жена сквайра гладила по голове, хваля его за приобретенное им хорошее о себе мнение, – он, который привык уже понимать удовольствие носить уважаемое имя, теперь вдруг, в одно мгновение ока, сделался посмешищем, предметом позора, обратился для каждого в пословицу. Поток его жизни был отравлен в самом начале. Тут приходила ему в голову и мысль о матери, об ударе, который она испытает, узнав это происшествие, – она, которая привыкла уже смотреть на него, как на свою опору и защиту: Ленни поник головою, и долго удерживаемые слезы полилась ручьями.

Он начал биться, рваться во все стороны и пытался освободить свои члены, услышав приближение чьих-то шагов; он представил себе, что все крестьяне сойдутся сюда из церкви; он уже видел наперед грустный взгляд пастора, поникшую голову сквайра, худо сдерживаемую усмешку деревенских мальчишек, завидовавших дотопе его незапятнанной славе, которая теперь навсегда, навсегда была потеряна. Он безвозвратно останется мальчиком, который сидел под наказанием. И слова сквайра представлялись его воображению подобно голосу совести, раздававшемуся в ушах какого нибудь Макбета:

«Нехорошо, Ленни! я не ожидал, что ты попадешь в такую передрагу.»

«Передрагу» – слово это было ему непонятно; но, верно, оно означало что нибудь незаметное.

– Именем всех котлов и заслонок, что это тут такое! кричал медник.

В это время мистер Спротт был без своего осла, потому что день был воскресный. Медник надел свое лучшее платье, пригладился и вырядился, собираясь гулять по парку.

Ленни Ферфильд не отвечал за его призыв.

– Ты под арестом, мой жизненочек? Вот уж никак бы не ожидал этого видеть! Но мы все живем для того, чтоб учиться, прибавил медник, в виде сентенции. – Кто же задал тебе этот урок? Да ты умеешь, что ли, говорить-то?

– Ник Стирн.

– Ник Стирн! а за что?

– За то, что-я исполнял его приказания и подрался с мальчиком, который бродил здесь; он прибил меня, да это бы ничего; но мальчик этот был молодой джентльмен, который пришел в гости к сквайру; так Ник Стирн....

Ленни остановился, не имея сил продолжать, от негодования и стыда.

– А! сказал медник с важностью. – Ты подрался с джентльменом. Жаль мне это от тебя слышать. Сиди же и благодари судьбу, что ты так дешево отделался. Нехорошо драться с своими ближними, и леннонский мирный судья, верно, засадил бы тебя на два месяца вертеть жернова вместе с арестантами. За что же ты его ударил, если он только проходил мимо колоды? Ты, верно, забияка, а?

Лопни пробормотал что-то об обязанностях в отношении к сквайру и буквальном исполнении приказаний.

– О, я вижу, Ленни, прервал медник голосом, проникнутым огорчением: – я вижу, что тебя как ни корми, а ты все в лес смотришь. После этого ты нашему брату не компания: не суйся к порядочным людям. Впрочем, ты был хорошим мальчиком, и можешь, если захо-

чешь, опять заслужить милость сквайра. Ах, век не паять котлов, если я могу понять, как ты довел себя до этого. Прощай, дружок! желаю тебе скорее вырваться из засады; да скажи матери-то, как увидишь ее, что медник мол берется починить и печь и лопатку... слышишь?

Медник пошел прочь. Глаза Ленни последовали за ним с унынием и отчаянием. Медник, подобно всей людской братии, полил шиповник только для того, чтобы усилит его колючки. Праздный, ленивый шатала, он постыдился бы теперь сообщества Ленни.

Голова Ленни низко опустилась на грудь, точно налитая свинцом. Прошло несколько минут, когда несчастный узник заметил присутствие другого свидетеля собственного позора; он не слышал шума, но увидел тень, которая легла на траве. Он затаил дыхание, не хотел открыть глаза, думая, может быть, что если он сам не видит, то и другие не могут видеть предметы.

– *Per Vacco!* сказал доктор Риккабокка, положив руку, за плечо Ленни и наклонившись, чтобы заглянуть ему в лицо.– *Per Vacco!* мой молодой друг! ты сидишь тут из удовольствия или по необходимости?

Ленни слегка вздрогнул и хотел избежать прикосновению человека, на которого он смотрел до тех пор с некоторого рода суеверным ужасом.

– Того-и-гляди, продолжал Риккабокка, не дождавшись ответа за свой вопрос: – того-и-гляди, что хотя положение твое очень приятно, ты не сам его избрал для себя. Что это? – и при этом ирония в голосе доктора исчезла – что это, бедный мальчик? ты в крови, и слезы, которые текут у тебя по щекам, кажется, непустые, а искренние слезы. Скажи мне, *povero fanciullo mio* – звук итальянского приветия, которого значения Ленни не понял, все таки как-то сладостно отдался в ушах мальчика: – скажи мне, дитя мое, как все это случилось? Может быть, я помогу тебе, мы все заблуждаемся, значит все должны помогать друг другу.

Сердце Ленни, которое до тех пор казалось закованным в железо, отозвалось на ласковый говор итальянца, и слезы потекли у него из глаз; но он отер их и отвечал отрывисто:

– Я не сделал ничего дурного; я только ошибся, и это-то меня и убивает теперь!

– Ты не сделал ничего дурного? В таком случае, сказал философ, с важностью вынув из кармана свой носовой платок и расстилая его за земле: – в таком случае я могу сесть возле тебя. О проступке я мог только сожалеть, но несчастье ставит тебя в уровень со мною.

Ленни Ферфильд не понял хорошенько этих слов, но общий смысл их был слишком очевиден, и мальчик бросил взгляд благодарности на итальянца.

Риккабокка продолжал, устроив себе сиденье:

– Я имею некоторое право на твою доверенность, дитя мое, потому что и я когда-то испытал много горя; между тем я могу сказать вместе с тобой: «я никому не сделал зла». *Cospetto* – тут доктор покойно расположился, опершись одною рукою на боковой столбик колоды и дружески касаясь плеча пленника, между тем как взоры его обегали прелестный ландшафт, бывший у него в виду: – моя темница, если бы только им удалось посадить меня, не отличалась бы таким прекрасным видом. Впрочем, это все равно: нет неприятной любви точно так же, как и привлекательной темницы.

Произнеся это изречение, сказанное, впрочем, по итальянски, Риккабокка снова обратился к Ленни и продолжал свои убеждения, желая вызвать мальчика на откровенность. Друг во время беды – настоящий друг, кем бы он ни казался. Все прежнее отвращение Ленни к чужеземцу пропало, и он, рассказал ему свою маленькую историю.

Доктор Риккабокка был слишком сметлив, чтобы не понять причины, побудившей мистера Стирна арестовать своего агента. Он принялся за утешение с философским спокойствием и нежным участием. Он начал напоминать, или, скорее, толковать Ленни о всех пришедших ему в то время на память обстоятельствах, при которых великие люди страдали от несправедливости других. Он рассказал ему, как великий Эпиктет достался такому господину, которого любимое удовольствие было щипать ему ногу, так что эта забава, кончившаяся

отнятием ноги, была несравненно хуже колоды. Много и других обстоятельств, более или менее относящихся к настоящему случаю, – привел доктор, почерпая их из разных отделов истории. Но, поняв, что Ленни, по видимому, нисколько не утешался этими блестящими примерами, он переменял тактику и, подведя ее под *argumentum ad rem*, принялся доказывать: первое, что настоящее положение Ленни не было вовсе постыдно, потому что всякий благомыслящий человек мог узнать в этом жестокость Стирна и невинность его жертвы; второе, что если сам он, доктор, может быть, ошибся с первого взгляда, то это значит, что повторенное мнение не всегда справедливо; ли и что такое наконец постороннее мнение? – часто дым – пух! вскричал доктор Риккабокка: – вещь без содержания, без длины, ширины или другого измерения, тень, призрак, нами самими созданный. Собственная совесть есть лучший судья для человека, и он так же должен мало бояться мнения всех без разбора, как какогонибудь привидения, когда ему доведется проходить кладбищем ночью.

Но так как Ленни боялся в самом деле проходить ночью кладбищем, то уподобление это уничтожило самый аргумент, и мальчик печально опустил голову. Доктор Риккабокка сбился уже начать третий ряд рассуждений, которые, еслибы ему удалось довести их до конца, без сомнения, вполне объяснили бы предмет и помирили бы Ленни с настоящим положением, но пленник, прислушивавшийся все это время чутким ухом, узнал, что церковная служба кончилась, и тотчас вообразил, что все прихожане толпою сойдутся сюда. Он уже видел между деревьями шляпы и, чепцы, которых Риккабокка не примечал, несмотря на отличные качества своих очков, слышал какой-то мнимый говор и шепот, которого Риккабокка не мог открыть, несмотря на его теоретическую опытность в страгегмах и изменах, которые должны были изощрить слух итальянца. Наконец, с новым напрасным усилием, узник вскричал:

– О, если бы я мог уйти прежде, чем они соберутся. Выпустите меня, выпустите меня! О, добрый сэр, выпустите меня!

– Странно, сказал философ, с некоторым изумлением; – странно, что мне самому не пришло это в голову. Если не ошибаюсь, тут задела за шляпку правого гвоздя.

Потом, смотря вблизи, доктор увидал, что хотя деревянные брус и входил в другую железную скобку, которая сопротивлялась до сих пор усилиям Ленни, но все-таки скобка эта не была заперта, потому что ключ и замок лежали в кабинете сквайра, вовсе неожиданного, чтобы наказание пало на Ленни без предварительного ему о том заявления. Лишь только доктор Риккабокка сделал это открытие, как убедился, что никакая мудрость какой бы то ни было школы не в состоянии приохотить взрослого человека или мальчика к дурному положению, с той минуты, как есть в виду возможность избавиться беды. Согласно этому рассуждению, он отворил замок, и Ленни Ферфильд выскочил на свободу, как птица из клетки, остановился на несколько времени от радости, или чтобы перевести дыхание, и потом, как заяц, без оглядки бросился бежать к дому матери. Доктор Риккабокка вложил скрипевший брус на прежнее место, поднял с земли носовой платок и спрятал его в карман, и потом с некоторым любопытством стал рассматривать это исправительное орудие, наделавшее столько хлопот освобожденному Ленни.

– Странное существо человек! произнес мудрец, рассуждая сам с собою: – чего он тут боится? Все это не больше, как несколько досок, бревен; в отверстия эти очень ловко класть ноги, чтобы не загрязнить их в сырое время; наконец эта зеленая скамья под сению вяза – что может быть приятнее такого положения?

И доктор Риккабокка почувствовал непреодолимое желание испытать на самом деле свойство этого ареста.

– Ведь я только попробую! говорил он сам с собой, стараясь оправдаться перед восстающим против этого чувством своего достоинства. – Пока никого здесь нет, я успею сделать этот опыт.

И он снова приподнял деревянный брусок; но колода устроена была по всем правилам архитектуры и не так-то легко позволяла человеку подвергнуться незаслуженному наказанию: без посторонней помощи попасть в нее было почти невозможно. Как бы то ни было, препятствия, как мы уже заметили, только сильнее подстрекали Риккабокка к выполнению задуманного плана. Он посмотрел вокруг себя и увидел вблизи под деревом засохшую палку. Подложив этот обломок под роковой брусок колоды, точь-в-точь, как ребятишки подкладывают палочку под решето, когда занимаются ловлей воробьев, доктор Риккабокка преважно расселся на скамейку и просунул ноги в круглые отверстия.

– Особенного я ничего не замечаю в этом! вскричал он торжественно, после минутного размышления. – Не так бывает страшна действительность, как мы воображаем. Делать ошибочные умозаключения – обыкновенный удел смертных!

Вместе с этим размышлением он хотел было освободить свои ноги от этого добровольного заточения, как вдруг старая палка хрупнула и брусок колоды опустился в зацепку. Доктор Риккабокка попал совершенно в западню. «*Facilis descensus – sed revocare gradum!*» Правда, руки его находились за свободой, но его ноги были так длинны, что при этом положении они не давали рукам никакой возможности действовать свободно. Притом же Риккабокка не мог похвастаться гибкостью своего телосложения, а составные части дерева сцепились с такой силой, какую обладают вообще все только что выкрашенные вещи, так что, после нескольких тщетных кривляний и усилий освободиться жертва собственного безразудного опыта вполне поручила себя своей судьбе. Доктор Риккабокка был из числа тех людей, которые ничего не делают вполнину. Когда я говорю, что он поручил себя судьбе, то поручил со всем хладнокровием и покорностью философа. Положение далеко не оказывалось так приятно, как он предполагал теоретически; но, несмотря на то, Риккабокка употребил все возможные усилия, чтобы доставить сколько можно более удобства своему положению. И, во первых, пользуясь свободой своих рук, он вынул из кармана трубку, трутницу и табачный кисет. После нескольких затяжек он примирился бы совершенно с своим положением, еслиб не помешало тому открытие, что солнце, постепенно перемещая место на небе, не скрывалось уже более от лица доктора за густым, широко распустившим свои ветви вязом. Доктор снова осмотрелся кругом и заметил, что его красный шолковый зонтик, который он положил за траву, в то время, как сидел подле Ленни, лежал в пределах свободного действия его рук. Овладев этим сокровищем, он не замедлил распустиль его благодетельные складки. И таким образом, вдвойне укрепленный, снаружи и внутри колоды, под тенью зонтика и с трубкой в зубах, доктор Риккабокка даже с некоторым удовольствием сосредоточил взоры на своих заточенных ногах.

– Кто может пренебрегать всем, говорил он, повторяя одну из пословиц своего отечества: – тот обладает всем. Кто при бедности своей не жаждет богатства, тот богат. Эта скамейка так же удобна и мягка, как диван. Я думаю, продолжал он рассуждать сам с собою, после непродолжительной паузы: – я думаю, что в пословице, которую я сказал этому *fanciullo* скорее заключается более остроумия, чем сильного и философического значения. Разве не доказано было, что в жизни человеческой неудачи необходимее удаче: первые научают нас быть осторожными, изошряют в человеке предусмотрительность; последние часто лишают нас возможности вполне оценивать всю прелесть мирной и счастливой жизни. И притом же разве настоящее положение мое, которое я навлек на себя добровольно, из одного желания испытать его, – разве не не есть верный отпечаток всей моей жизни? Разве я в первый раз попадаю в затруднительное положение? А если это затруднение есть следствие моей непредусмотрительности, или, лучше сказать, оно избрано мною самим, то к чему же мне роптать на свою судьбу?

При этом в душе Риккабокка одна мысль сменяла другую так быстро и уносила его так далеко от времени и места, что он вовсе позабыл о том, что находился под деревенским арестом, или по крайней мере думал об этом столько, сколько думает скряга о том, что богатство

есть тленность, или философ – о том, что мудрствование есть признак тщеславия. Короче сказать, Риккабокка парил в это время в мире фантазий.

## Часть третья

### Глава XIX

Поучение, произнесенное мистером Дэлем, произвело благотворное действие на его слушателей. Когда кончилась церковная служба и прихожане встали со скамеек, но еще не трогались с мест, чтобы выпустить из храма мистера Гэзельдена первым (это обыкновение исстари велось в Гэзельденской вотчине), влажные от слез глаза сквайра выражали, на его загоревшем, мужественном лице, ту кротость и душевную доброту, которая так живо напоминала о многих его великодушных поступках и живом сострадании к несчастьям ближнего. рассудок и сердце часто живут в большом несогласии: так точно и мистер Гэзельден мог иногда погрешать своим умом, но сердце его постоянно было доброе. В свою очередь, и мистрисс Гэзельден, опираясь на руку его, разделяла с ним это отрадное чувство. Правда, от времени до времени она выражала свое неудовольствие, когда замечала, что некоторые дома поселян не отличались той чистотой и опрятностью, какая бы, но её мнению, должна составлять их всегдашнюю принадлежность, – правда и то, что она не была так популярна между поселянками, как сквайр был популярен; если мужа часто убегали в пивную лавку, то она всегда слагала эту вину на жон и говорила: «ни один муж не решился бы искать для себя развлечения за дверьми своего дома, еслиб постоянно видел в этом доме улыбающееся лицо своей жены и светлый, чистый очаг», – тогда как сквайр придерживался такого в своем роде замечательного мнения, что «если Джилль и ворчит частенько на Джэка, то это потому собственно, что Джэк, как следует ласковому, доброму мужу, не закрывает ей уста поцалуем!» Все же, несмотря на все эти мнения с её стороны, несмотря на страх, внушаемый поселянам её шолковым платьем и прекрасным орлиным носом, невозможно было, особливо теперь, когда сердца всех прихожан, после назидательного поучения пастора, сделались мягки как воск, – невозможно было, при взгляде на доброе, прекрасное, светлое лицо мистрисс Гэзельден, не вспомнить, с усладительным чувством, о горячих питательных супах и желе во время недуга, о теплой одежде в зимнюю пору, о ласковых словах и личных посещениях в несчастьи, об удачных выдумках перед сквайром в защиту медленно подвигающихся вперед улучшений в полях и садах, и о легкой работе, доставляемой престарелым дедам, которые все еще любили приобрести своими трудами лишнюю пенни. Не был лишен надлежащей части безмолвного благословения и Франк, в то время, как он шел позади своих родителей, в накрахмаленном, белом как снег галстухе и с выражением в его светлых голубых глазах дурно скрываемых замыслов на ребяческие шалости, которое никак не согласовалось с принятой им на себя величественной миной. Конечно, это делалось не потому, чтобы он заслуживал того, но потому, что мы все привыкли возлагать на юношей большие надежды, которым должно осуществиться в будущем. Что касается до мисс Джемимы, то её слабости возникли, вероятно, вследствие её чересчур мягкой, свойственной женскому полу, чувствительности, её гибкой, так сказать, плюще-подобной неясности; её милый характер, которым она одарена была природой, до такой степени был чужд самолюбия, что часто, очень часто помогала она деревенским девушкам находить мужей, сделав им приданое из своего собственного кошелька, хотя к каждому приготовленному таким образом приданому она считала долгом присовокупить замечание следующего рода, что «молодой супруг в скором времени окажется таким же неблагодарным, как и все другие из его пола, но что при этом утешительно вспомнить о неизбежной и близкой кончине всего мира.» Мисс Джемима имела самых горячих приверженцев, особливо между молодыми, между тем как тонкий и высокий капитан, на руке которого покоился указательный пальчик мисс Джемимы, считался в глазах поселян ни более, ни менее, как учтивым джентльменом, который не делал никому вреда, и который, без всякого

сомнения, сделал бы очень много добра, еслиб принадлежал приходу. Даже лакей, замыкавший фамильное шествие, и тот имел надлежащую часть этого согласия в приходе. Мало было таких, которым бы он не протягивал руки для дружеского пожатия; притом же он родился и вырос в доме Гэзельдена, как и две-третьи всей челяди сквайра, которая, вслед за его выходом, тронулась с своей огромной скамейки, устроенной на самом видном месте под галлереей.

Заметно было, что и сквайр с своей стороны был также растроган. Вместо того, чтоб идти прямо и, как следует джентльмену, делать, с приветливой улыбкой, учтивые поклоны, он склонил немного голову, и щеки его покрылись легким румянцем стыдливости; и в то время, как он приподнимал свою голову и с некоторой робостью поглядывал на обе стороны, его взор встречался с дружелюбными взорами поселян, в которых выражалось столько трогательного и вместе с тем искреннего чувства, что сквайр, по видимому, взорами своими высказывал народу: «благодарю вас от всего сердца за ваше расположение.» Это выражение взоров сквайра так быстро и сильно отзывалось в душе каждого из поселян, что мне кажется, еслиб сцена эта происходила за дверьми церкви, то шествие сквайра сопровождалось бы до самого дома громкими и радостными восклицаниями.

Едва только мистер Гэзельден вышел за церковную ограду, как его встретил мистер Стирн и что-то на ухо начал шептать ему. Во время этого шепота лицо сквайра становилось длиннее и цвет в нем переменялся. Поселяне, толпой выходившие теперь из церкви, менялись друг с другом робкими взглядами. Эта зловещая встреча и таинственный разговор сквайра с его управляющим в одну минуту уничтожили все благодетельное действие поучительного слова пастора. Сквайр с гневом ударил в землю своей тростью.

– В тысячу раз было бы лучше, еслиб ты сказал мне, что у моей любимой лошади открылся сап! воскликнул он в полголоса, но с сильным негодованием. – Прибить в Гэзельдене и оскорбить молодого джентльмена, который приехал навестить моего сына! да где это видано?! Знаете ли, сэр, что этот молодой джентльмен мой родственник? знаете ли, что его бабушка носила фамилию Гэзельденов? Да! Джемима совершенно справедлива: теперь я верю, верю, что скоро будет света преставление! Ты сказал, что Ленни Ферфильд в колоде! Но что скажет на это мистер Дэль? и еще после такой удивительной речи! Что скажет добрая вдова? ты забыл; что бедный Марк умер почти на моих руках! Нет, Стирн, у тебя каменное сердце! Ты просто закоснелый, бездушный злодей!.. И кто дал тебе право сажать в колоду ребенка, или кого бы то ни было, без всякого суда, приговора или без письменного на это приказания? Пошел, клеветник, сию минуту освободи мальчика, пока никто еще не видел его; беги бегом, или я тебе....

Трость сквайра поднялась на воздух при последнем слове, и в глазах его засверкал огонь. Мистер Стирн хотя и не бежал бегом, но шел весьма быстро. Сквайр сделал несколько шагов назад и снова взял под руку свою жену.

– Сделай милость, сказал он:– займи на несколько минут мистера Дэля, а я между тем поговорю с поселянами. Мне нужно, непременно нужно удержать их на месте.... но каким образом? решительно не знаю!

Эти слова долетели до Франка, и он не замедлил явиться с советом.

– Дайте им пива, сэр.

– Пива! в воскресенье! Стыдись, Франк! вскричала мистрисс Гэзельден.

– Замолчи, Гэрри! ты ничего не знаешь. – Спасибо тебе, Франк, сказал сквайр, и лицо его сделалось так ясно, как было ясно голубое небо.

Не думаю, право, чтоб сам Риккабокка вывел его так легко из столь затруднительного положения, как вывел неопытный Франк.

– Эй, ребята, постойте, подождите немного.... Мистрисс Ферфильд! неужели вы не слышите? подождите немного. Для такого радостного дня я хочу, чтобы вы повеселились немного. Отправляйтесь-ка в Большой Дом и выпейте там за здоровье мистера Дэля. Франк, поди вместе

с ними и вели Спрюсу почать одну из бочек, назначенных для косарей! А ты, Гэрри (это было сказано шепотом), пожалуста, не пропусти мистера Дэля и скажи ему, чтобы он немедленно пришел ко мне.

– Что случилось такое, мой добрый Гэзельден? ты, кажется, с ума сошел.

– Пожалуста, не рассуждай! делай, что я приказываю.

– Но где же найдет тебя мистер Дэль?

– Вы меня бесите, мистрисс Гэзельден! где же больше, как не у приходского исправительного учреждения!

Выведенный из глубокой задумчивости звуком приближающихся шагов, доктор Риккабокка все еще так мало обращал внимания на свое невыгодное и, в некоторой степени, унижительное для его достоинства положение, что с особенным удовольствием и со всею язвительностью своего врожденного юмора восхищался страхом Стирна, когда он увидел необыкновенную замену, какую только могли придумать для Ленни Ферфильда судьба и философия. Вместо рыдающего, униженного, уничтоженного пленника, которого Стирн так неохотно спешил освободить, он, в безмолвном страхе, выпучил глаза на смешную, но спокойную фигуру доктора, который, под тению красного зонтика, покуривал трубку и наслаждался прохладой с таким хладнокровием, в котором обнаруживалось что-то страшное. И в самом деле, принимая в соображение подозрение со стороны Стирна в том, что нелюдим итальянец участвовал в ночном повреждении колоды, принимая в расчет народную молву о занятиях этого человека чернокнижием, и необъяснимый, неслыханный, непостижимый фокус-покус, по которому Ленни, заточенный самим мистером Стирном, преобразился в доктора, – наконец прибавив ко всему этому необыкновенно странную, поразительную физиономию Риккабокка, несколько не покажется удивительным, что мистер Стирн в душе был поражен суеверным страхом. На его первые, сбивчивые и несвязные восклицания и отрывистые вопросы Риккабокка отвечал таким трагическим взглядом, такими зловещими киваниями головы, такими таинственными, двусмысленными, длиннословными сентенциями, что Стирн с каждой минутой более и более убеждался в том, что маленький Ленни продал свою душу сатане, и что сам он стоял теперь лицом к лицу с выходцем из преисподней.

Не успел еще мистер Стирн образумиться, что, впрочем, надобно отдать ему справедливость, делалось у него необыкновенно быстро, как на помощь к нему явился сквайр, а за сквайром, не вдалеке, следовал и мистер Дэль. Слова мистрисс Гэзельден о поспешнейшем прибытии к сквайру мистера Дэля, её встревоженный вид и ни с чем несообразное угощение поселяня придали спокойной и медленной походке мистера Дэля необыкновенную быстроту: как на крыльях летел он за сквайром. И в то время, как сквайр, разделяя вполне изумление Стирна, увидел высунутые в отверстия колоды пару ног, и спокойное важное лицо доктора Риккабокка, и не решаясь еще поверить органу зрения, что тут действительно Риккабокка, – в это время, говорю я, мистер Дэль схватил сквайра за руку и, едва переводя дух, восклицал, с горячностью, которой до этого никто и никогда не замечал в нем, исключая разве за ломберным столом:

– Мистер Гэзельден! мистер Гэзельден! вы делаете из меня посмешище, вы уничтожаете меня!.. Я могу переносить от вас многое, сэр, – и переносу, потому что должен переносить, – но позволить моим прихожанам тянуть эль за мое здоровье, когда только что вышли из церкви, это ни с чем несообразно, это жестоко с вашей стороны. Мне стыдно за вас, стыдно за весь приход! Помилуйте! скажите, что сделалось со всеми вами?

– Вот этот-то вопрос мне и самому хотелось бы разрешить, не произнес, но простонал сквайр, весьма тихо и вместе с тем патетично. – Что сделалось со всеми нами? спросите Стирна. (В эту минуту гнев снова запылал в нем.) Отвечай, Стирн! разве ты не слышишь? говори, что сделалось со всеми нами?

– Ничего не знаю, сэр, отвечал Стирн, совершенно потерянный: – вы видите, сэр, что там сидит итальянец. Больше ничего не знаю. Я исполняю свой долг; по ведь и я слабый смертный. . . .

– Ты плут! закричал сквайр. – Говори, где Ленни Ферфильд?

– *Ему* это лучше известно, отвечал Стирн, механически отступая, ради безопасности, за мистера Дэля и указывая на Риккабокка.

До этой поры, хотя как сквайр, так и мистер Дэль и узнавали лицо итальянца, но не могли допустить той мысли, что он сам действительно, сидел на скамейке колоды. Им никогда и в голову не приходило, чтобы такой почтенный и достойный во всех отношениях человек мог когда нибудь, волей или неволей, сделаться временным обитателем приходского исправительного учреждения. Они не смели допустить этой мысли даже и тогда, когда оба собственными своими глазами видели, как я уже сказал, прямо, у себя перед носом, огромную пару ног и голову Риккабокка.

Вид этих ног и головы, без туловища Ленни Ферфильда, служил только к тому, чтоб еще более привести сквайра в замешательство и поставить его в весьма затруднительное положение. Эти ноги и голова казались ему оптическим обманом, призраками расстроенного воображения; но теперь сквайр, вцепившись в Стирна (а мистер Дэль схватился между тем за сквайра), прерывающимся от сильного душевного волнения голосом произнес:

– Чтожь это значит, в самом деле? . . . Помилуйте! да он чисто на чисто сошел с ума! он принял доктора Риккабокка за маленького Ленни!

– Быть может, сказал Риккабокка, с ласковой улыбкой нарушая молчание и, в знак выражения любезности, стараясь наклонить свою голову, на сколько позволяло его погожепие: – быть может, джентльмены; но, если только для вас это все равно, прежде чем вы приступите к объяснениям, помогите мне освободиться.

Мистер Дэль, несмотря на замешательство и гнев, приблизясь к своему ученому другу, и нагнувшись, чтоб освободить его ноги, не мог скрыть своей улыбки.

– Ради Бога, сэр, что вы делаете! вскричал Стирн: – пожалуста, не троньте его: он только того и хочет, чтоб зацепить вас в свои когти. О, я не подошел бы к нему так близко ни за что. . . .

Эти слова были прерваны самим Риккабокка, который, благодаря участию мистера Дэля, выпрямился теперь во весь рост, половиной головы выше роста самого сквайра, подошел к мистеру Стирну и сделал перед ним грациозное движение рукой. Мистер Стирн опрометью бросился к ближайшему забору и скрылся за густым кустарником.

– Я догадываюсь, мистер Стирн, за кого вы считаете меня, сказал итальянец, приподнимая шляпу, с обычной характеристической учтивостью. – Признаюсь откровенно, вы выводите меня из себя.

– Но скажите на милость, каким образом попали вы в мою новую колоду? спросил сквайр, поправляя свои волосы.

– Очень просто, мой добрый сэр. – Вы знаете, что Плиний Старший попал в кратер горы Этны.

– Неужели? да зачем же это?

– Полагаю, затем, чтоб узнать на опыте, что такое кратер, отвечал Риккабокка.

Сквайр разразился хохотом.

– Значит и вы попали в колоду, чтоб узнать её действия на опыте. – Теперь я несколько не удивляюсь тому: не правда ли, что прекрасная колода? продолжал сквайр, бросая умильный взгляд на предмет своей похвалы. – В такой колоде хоть кому так не стыдно показаться.

– Не лучше ли нам уйти отсюда подальше? сказал мистер Дэль, довольно сухо: – это ведь сию минуту соберется сюда целая деревня и будет смотреть на нас с таким же точно изумлением, с каким мы за минуту смотрели на нашего доктора. Но что сделалось с моим Ленни Ферфильдом? Я решительно не могу понять, что такое случилось здесь. Конечно, вы не скажете,

что добрый Ленни, которого, мимоходом заметить, не было и в церкви сегодня, провинился в чемнибудь и навлек на себя наказание?

– Да, что-то похоже на это, возразил сквайр. – Стирн! послушай, Стирн!

Но Стирн пробрался сквозь чащу кустарников и скрылся из виду. Таким образом, представленный собственным своим повествовательным способностям, мистер Гэзельден рассказал все, что сообщил ему его управляющий: он рассказал о нападении на Рандаля Лесли и недуманном наказании, учиненном мистером Стирном, выразил собственное свое негодование за нанесенное оскорбление его молодому родственнику, и великодушное желание избавить Ленни от дальнейшего унижения со стороны целого прихода.

Мистер Дэль, видевший теперь в опрометчивом поступке сквайра касательно раздачи пива поселянам весьма извинительную причину, взял сквайра за руку.

– Мистер Гэзельден, простите меня, сказал он, с видом раскаяния: – мне должно бы с разу догадаться, что отступление от правил благоприличия сделано было вами под влиянием вспыльчивости вашего нрава. Но все же это слишком неприятная история: Ленни дерется в воскресенье. Это так несообразно с его характером... Право, я решительно не знаю, как принимать все это.

– Сообразно или несообразно, я этого не знаю, отвечал сквайр: – знаю только, что молодому Лесли нанесено самое грубое оскорбление; и оно тем худший принимает вид, что я и Одлей не можем называться лучшими друзьями в мире. Не могу объяснить себе, продолжал мистер Гэзельден, задумчиво:– но кажется, что между мной и этим моим полубратом должна существовать всегдашняя борьба. Было время, когда меня, сына его родной матери, чуть-чуть не убили на повал: стоило только пуле вместо плеча попасть в легкия; теперь родственник его жены, и мой тоже родственник – его бабушка носила нашу фамилию – трудолюбивый, прилежный, начитанный юноша, как говорили мне, едва только ступил ногой в самую мирную вотчину из Трех Соединенных Королевств, как на него с остервенением нападает мальчик самый кроткий, какого когда либо видели. – Да! торжественно воскликнул сквайр: – это хоть кого поставит в тупик.

– Сказания древних сообщают нам подобные примеры в некоторых семействах, заметил Риккабокка:– например, в семействе Пелопса и сыновей Эдипа – Полиника и Этеокла.

– Вон еще что вздумали! возразил мистер Дэль: – скажите лучше, что вы намерены делать теперь?

– Что делать? сказал сквайр: – я думаю, прежде всего должно сделать удовлетворение молодому Лесли. И хотя мне хочется избавить Лении Ферфильда, этого забияку, от публичного наказания, и избавить собственно для вас, мистер Дэль, и для мистрисс Фэрфильд, но наказать его тайком...

– Остановитесь, сэр! прервал Риккабокка кротким тоном:– и выслушайте меня.

И итальянец, с чувством и особенным тактом, начал говорить в защиту своего бедного *protégé*. Он объяснил, каким образом заблуждение Ленни произошло собственно от ревностного, но ошибочного желания оказать услугу сквайру, и произошло вследствие приказаний, полученных от мистера Стирна.

– Это обстоятельство изменяет сущность всего дела, сказал сквайр, совершенно успокоенный словами Риккабокка. – Теперь остается только представить моему родственнику надлежащее извинение.

– Именно так! это весьма справедливо, заметил мистер Дэль: – но я все еще не постигаю, каким образом Ленни выпутался из колоды.

Риккабокка снова начал объяснения, и, признавая себя главным участником в освобождении Ленни, он изобразил трогательную картину стыда и отчаяния бедного мальчика.

– Пойдемте против Филиппа! вскричали афиняне, выслушав речь Демосфена....

– Сию же минуту пойдёте и успокоите ребенка! вскричал мистер Дэль, не дав Риккабокка окончить своих слов.

С этим благим намерением все трое ускорили шаги и вскоре явились у дверей коттеджа вдовы. Но Ленни еще издали заметил их приближение и, нисколько не сомневаясь, что, несмотря на защиту Риккабокка, мистер Дэль шел с тем, чтобы журить его, а сквайр – чтобы снова посадить под наказание, бросился из дому в задние двери, домчался до лесу и скрывался в кустах до наступления вечера.

Уже стало темнеть, когда его мать, которая в течение всего дня сидела в глубоком отчаянии в своей комнатке, и тщетно стараясь ловить слова мистера и мистрисс Дэль, которые, сделав распоряжение о поимке беглеца, пришли утешать горюющую мать, – стало темнеть, когда мистрисс Ферфильд услышала робкий стук в заднюю дверь своей хижины и шорох около замка. Она быстро встала с места и отворила дверь. Ленни бросился в её объятия и, скрыв лицо свое на её груди, горько заплакал.

– Перестань, мой милый, сказал мистер Дэль нежным голосом: – тебе нечего бояться: все объяснилось, и ты прощен.

Ленни приподнял голову; вены на лбу его сильно надулись.

– Сэр, сказал он, весьма смело: – я не нуждаюсь в прощении: я ничего не сделал дурного. Но... меня опозорили... я не хочу ходить больше в школу... не хочу!

– Замолчи, Кэрри! сказал мистер Дэль, обращаясь к жене своей, которая, с обыною пылкостью своего нрава, хотела сделать какое-то возражение. – Спокойной ночи, мистрисс Ферфильд! Я завтра зайду поговорить с тобой, Ленни; надеюсь, что к тому времени ты совсем иначе будешь думать об этом.

На обратном пути к дому, мистер Дэль зашел в Гэзельден-Голл – донести о благополучном возвращении Ленни. Необходимость требовала сделать это: сквайр сильно беспокоился о мальчишке и лично участвовал в поисках его.

– И слава Богу, сказал сквайр, как только услышал о возвращении Ленни: – первым делом завтра поутру пусть он отправится в Руд-Голл и выпросит прошение мистера Лесли: тогда все пойдет снова своим чередом.

– Этаким забияка! вскричал Франк, и щеки его побагровели: – как он смел ударить джентльмена и в добавок еще воспитанника Итонской школы, который явился сюда сделать *мне* визит! Удивляюсь, право, как Рандаль отпустил его так легко от себя.

– Франк, сказал мистер Дэль сурово: – вы забываетесь. Кто дал вам право говорить подобным образом перед лицом ваших родителей и вашего пастора?

Вместе с этим он отвернулся от Франка, который прикусил себе губы и покраснел еще более, – но уже не от злости, а от стыда. Даже мистрисс Гэзельден не решилась сказать слова в его оправдание. Справедливый упрек, произнесенный мистером Дэлем, суровым тоном, смирял гордость Гэзельденов. Уловив пытливый взгляд доктора Риккабокка, мистер Дэль отвел философа в сторону и шепотом сообщил ему свои опасения касательно того, как трудно будет убедить Денни Ферфильда на мировую с Рандаем Лесли, и что Ленни не так легко забыл о своем положении в колоде, как это сделал мудрец, вооруженный своей философией. Это совещание было внезапно прервано прямым намеком мисс Джемимы на близкое и неизбежное падение мира.

– Сударыня, сказал Риккабокка (к которому направлен был этот намек), весьма неохотно удаляясь от пастора, чтоб взглянуть на несколько слов какого-то периодического издания, трактующих об этом предмете: – сударыня, позвольте заметить, вам весьма трудно убедить человека в том, что мир приближается к концу, тогда как, при разговоре с вами, в душе этого же самого человека пробуждается весьма естественное желание забыть о существовании всего мира.

Мисс Джемима вспыхнула. Само собою разумеется, что этот бездушный, исполненный лести комплимент должен был бы усилить её нерасположение к мужскому полу; но – таково уж человеческое сердце! – он, напротив, примирил Джемиму с мужчинами.

– Он непременно хочет сделать мне предложение, произнесла про себя мисс Джемима, с глубоким вздохом.

– Джакомо, сказал Риккабокка, надев ночной колпак и величественно поднимаясь на огромную постель: – мне кажется, теперь мы завербуем того мальчика для нашего сада.

Таким образом все садились на своего любимого конька и быстро мчались в вихре гзельденской жизни, не заслоня друг другу дороги.

## Глава XX

Как далеко ни простирались виды мисс Джемимы Гэзельден на доктора Риккабокка, но не привели ее еще к желаемой цели, – между тем как макиавеллевская проницательность, с которой итальянец рассчитывал на приобретение услуг Ленни Ферфильда, весьма быстро и торжественно увенчалась полным успехом. Никакое красноречие мистера Дэля, действительное во всякое другое время, не могло убедить деревенского мальчика ехать к Руд-Голл и просит извинения у молодого джентльмена, которому он, за то только, что исполнял свой долг, обязан был сильным поражением и позорным наказанием. Притом же и вдова, к величайшей досаде мистрисс Дэль, всеми силами старалась защищать сторону мальчика. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной несправедливым наказанием Ленни и потому вполне разделяла его гордость и открыто поощряла его сопротивление. Немалого труда стоило также убедить Ленни снова продолжать посещения приходской школы; он не хотел даже выходить за пределы наемных владений своей матери. После долгих увещаний он решился наконец ходить по-прежнему в школу, и мистер Дэль считал благоразумным отложить до некоторого времени дальнейшие неприятные требования. Но, к несчастью, опасения Ленни насчет насмешек и злословия, ожидавших его в деревне Гэзельден, весьма скоро осуществились. Хотя Стирн и скрывал сначала все подробности неприятного приключения с Ленни, но странствующий медник разболтал, как было дело, по всему околотку. После же поисков, назначенных для Ленни в роковое воскресенье, все попытки скрыть происшествие оказались тщетными. Тогда Стирн, уже несколько не стесняясь, рассказал свою историю, а странствующий медник – свою; и оба эти рассказа оказались крайне неблагоприятными для Ленни Ферфильда. Как образцовый мальчик, он нарушил священное спокойствие воскресного дня, завязал драку с молодым джентльменом и был побит; как деревенский мальчик, он действовал заодно со Стирном, исполнял должность лазутчика и делал доносы на равных себе: следовательно, Ленни Ферфильд в обоих качествах, как мальчика, потерявшего право на звание образцового, и как лазутчика, не мог ожидать пощады; его осмеивали за одно и презирали за другое.

Правда, что в присутствии наставника и под наблюдательным оком мистера Дэля никто не смел открыто излить на Ленни чувство своего негодования; но едва только устранялись эти препоны, как в ту же минуту начиналось всеобщее гонение.

Некоторые указывали на Ленни пальцами или делали ему гримасы, другие бранили его, и вообще все избегали его общества. Когда случалось ему, при наступлении сумерек, проходить по деревне, почти за каждым забором раздавались ему вслед громкие ребяческие крики: «кто был сторожем приходской колоды? бя!» «кто служил лазутчиком для Ника Стирна? бя!» Сопротивляться этим задиркам было бы напрасной попыткой даже для более умной головы и более холодного темперамента, чем у нашего бедного образцового мальчика. Ленни Ферфильд решился раз и навсегда избавиться от этого, – его мать одобряла эту решимость; и, спустя два-три дня после возвращения доктора Риккабокка из Гэзельден-Голла в казино, Ленни Ферфильд, с небольшим узелком в руке, явился на террасу.

– Сделайте одолжение, сэр, сказал он доктору; который сидел, поджав ноги, на террасе, с распущенным над головой красным шелковым зонтиком: – сделайте одолжение, сэр, если вы будете так добры, то примите меня теперь; дайте мне уголок, где бы мог я спать. Я буду работать для вашей чести день и ночь, а что касается до жалованья, то матушка моя сказала, сэр, что это как вам будет угодно.

– Дитя мое, сказал Риккабокка, взяв Ленни за руку и бросив на него проницательный взгляд: – я знал, что ты придешь, – и Джакомо уже все приготовил для тебя! Что касается до жалованья, то мы не замедлим переговорить о нем.

Таким образом Ленни пристроился к месту, и его мать несколько вечеров сряду смотрела на пустой стул, где Ленни так долго сидел, занимая место её любезного Марка; и самый стул, обреченный стоять в комнате без употребления, казался теперь таким неуклюжим, необещающим комфорта и одиноким, что бедная вдова не могла долее смотреть на него.

Неудовольствие поселян обнаруживалось и в отношении к ней столько же, сколько и к Ленни, если только не более; так что в одно прекрасное утро она окликнула дворецкого, который скакал мимо её дома на своей косматой лошаденке, и попросила его передать сквайру, что тот оказал бы ей большую милость, еслиб отнял у неё арендуемое место, тем более, что найдутся очень многие, которые с радостью займут его и дадут гораздо лучшую плату.

– Да ты, матушка, с ума сошла, сказал добродушный дворецкий: – и я рад, что ты объявила это мне, а не Стирну. Чего ж ты хочешь еще? место, кажется, хорошее; да притом же оно и достается тебе чуть не даром.

– Да я не о том и хлопочу, сэр, а о том, что мне уж больно обидно становится жить в этой деревне, отвечала вдова. – Притом же Ленни живет теперь у иностранного джентльмена, так и мне хотелось бы поселиться гденибудь поближе к нему.

– Ах, да! я слышал, что Ленни нанялся служить в казино, – вот тоже глупость-то непоследняя! Впрочем, зачем же унывать! ведь тут не Бог весть какое расстояние – мили две, да и то едва ли наберется. Разве Ленни не может приходить сюда каждый вечер после работы?

– Нет уж извините, сэр! воскликнула вдова с досадою: – он ни за что не станет ходить сюда затем, чтобы слышать на дороге всякую брань и ругательство и переносить всякие насмешки, – он, которого покойный муж так любил и так гордился им! Нет, уж извините, сэр! мы люди бедные, но и у нас есть своя гордость, как я уже сказала об этом мистрисс Дэль, и во всякое время готова сказать самому сквайру. Не потому, чтобы я не чувствовала благодарности к нему: о, нет! наш сквайр весьма добрый человек, – но потому, что он сказал, что не подойдет к нам близко до тех пор, пока Ленни не съездит выпросить прощения. Просить прощения! да за что, желала бы я знать? Бедный ребенок! еслиб вы видели, сэре, как он был разбит! Однако, я начинаю, кажется, сердиться; покоренные прошу вас, сэр, извините меня. Я ведь не так ученая как покойный мой Марк, и как был бы учен Ленни, еслиб сквайру не вздумалось так обойтись с ним. Уж пожалуста вы доложите сквайру, что чем скорее отпустит меня, тем лучше; а что касается до небольшого запаса сена и всего, что есть на наших полях и в огороде, так я надеюсь, что новый арендатор не обидит меня.

Дворецкий, находя, что никакое красноречие с его стороны не могло бы убедить вдову отказать от такой решимости, передал это поручение сквайру. Мистер Гэзельден, не на шутку оскорбленный упорным отказом мальчика извиниться передо. Рандалем Лесли, сначала произнес про себя два-три слова о гордости и неблагодарности как матери, так и сына; но, спустя немного, его чувства к ним сделались нежнее, так что он в тот же вечер хотя сам и не отправился ко вдове, но зато послал к ней свою Гэрри. Мистрисс Гэзельден, часто строгая и даже суровая, особливо в таких случаях, которые имели прямое отношение поселян к её особе, в качестве уполномоченной от своего супруга не иначе являлась, как вестницей мира или гением-примирителем. Так точно и теперь: она приняла это поручение с особенным удовольствием, тем более, что вдова и сын постоянно пользовались её особенным расположением. Она вошла в коттедж с чувством дружелюбия, отражавшимся в её светлых голубых глазах, и открыла беседу со вдовой самым нежным тоном своего приятного голоса. Несмотря на то, она столько же успела в своем предприятии, сколько и её дворецкий.

Еслиб с языка мистрисс Гэзельден потек мед Платона, то и тогда не мог бы он усладить ту душевную горечь, для уничтожения которой он предназначался. Впрочем, мистрисс Гэзельден, хотя и прекрасная женщина во всех отношениях, не могла похвастаться особенным даром красноречия. Заметив, после нескольких приступов, что намерение вдовы остается непреклонным она удалилась из коттеджа с величайшей досадой и крайним неудовольствием.

В свою очередь, мистрисс Ферфильд, без всяких объяснений, легко догадывалась, что на требование её со стороны сквайра не было особенных препятствий, – и однажды, рано поутру, дверь её коттеджа оказалась на замке; ключ был оставлен у ближайших соседей, с тем, чтобы, при первой возможности, передать его дворецкому. При дальнейших осведомлениях открылось, что все её движимое имущество увезено было на телеге, проезжавшей мимо селения в глубокую полночь. Ленни успел отыскать, вблизи казино, подле самой дороги, небольшой домик, и там, с лицом, сияющим радостью, он ждал свою мать, чтоб встретить ее приготовленным завтраком и показать ей, как он провел ночь в расстановке её мебели.

– Послушайте, мистер Дэль, сказал сквайр, услышав эту новость во время прогулки с пастором к приходской богадельне, где предполагалось сделать некоторые улучшения:– в этом деле всему вы виной! Неужели вы не могли уговорить этого упрямого мальчишку и эту безумную старуху? Вы, кажется, ужь чересчур к ним снисходительны!

– Вы думаете, я не употребил при этом случае более строгих увещаний? сказал мистер Дэль голосом, в котором отзывались и упрек и изумление. – Я сделал все, что можно было сделать, – но все напрасно!

– Фи, какой вздор! вскричал сквайр: – скажите лучше, что нужно делать теперь? Ведь нельзя же допустить, чтобы бедная вдова умерла голодной смертью, а я уверен, что жалованьем, которое Ленни будет получать от Риккабокка, они немного проживут; да кстати, я думаю, Риккабокка не обещал в числе условий давать Ленни остатки от обеда: я слышал, что они сами питаются ящерицами и костюшками.... Вот что я скажу вам, мистер Дэль: позади коттеджа, который наняла вдова, находится несколько полей славной земли. Эти поля теперь пусты. Риккабокка хочет нанять их, и когда гостил у меня, то уговаривался об арендной плате. Я вполнину уже согласился на его предложения. Теперь если он хочет нанять эту землю, то пусть отделит для вдовы четыре акра самой лучшей земли, ближайшей к коттеджу, так, чтобы довольно было для её хозяйства, и, к этому, пусть она заведет у себя хорошую сырню. Если ей понадобятся деньги, то я, пожалуй, одолжу немного на ваше имя; только, ради Бога, не говорите об этом Стирну. Что касается арендной платы, об этом мы поговорим тогда, когда увидим, как пойдут её дела... этакая неблагодарная, упрямая старуха!.. Я делаю это вот почему, прибавил сквайр, как будто желая представить оправдание своему великодушию к людям, которых он считал в высшей степени неблагодарными:– её муж был некогда самый верный слуга, и потому однако, я бы очень желал, чтоб вы попустому не стояли здесь, а отправились бы сию минуту ко вдове; иначе Стирн отдаст всю землю Риккабокка: это так верно, как выстрел из хорошего ружья. Да послушайте, Дэль: постарайтесь так устроить, чтобы и виду не подать, что эта земля моя, это пожалуй эта безумная женщина подумает, что я хочу оказать ей милость, – словом сказать, поступайте в этом случае как сочтете за лучшее.

Но и это благотворительное поручение не увенчалось надлежащим успехом. Вдова знала, что поля принадлежали сквайру, и что каждый акр из них стоил добрых три фунта стерлингов. Она благодарила сквайра за все его милости; говорила, что она не имеет средств завести коров, а за попечения о её существовании никому не желает быть обязана. Ленни пристроился у мистера Риккабокка и делает удивительные успехи по части садового искусства; что касается до неё, то она надеется получить выгодную стирку белья; да и во всяком случае, стог сена на её прежних полях доставит ей значительную сумму денег, и она проживет некоторое время безбедно. – Благодарю, очень благодарю вас, сэр, и сквайра.

Следовательно, прямым путем ничего невозможно было сделать. Оставалось только воспользоваться намеком на стирку белья и оказать вдове косвенное благодеяние. Случай к этому представился весьма скоро. В ближайшем соседстве с коттеджем вдовы умерла прачка. Один намек со стороны сквайра содержательнице гостиницы напротив казино доставил вдове работу, которая по временам была весьма значительная. Эти заработки, вместе с жалованьем – мы не знаем, до какой суммы оно простиралось – давали матери и сыну возможность существо-

вать не обнаруживая тех физических признаков скудного пропитания, которые Риккабокка и его слуга даром показывали всякому, кто только желал заняться изучением анатомии человеческого тела.

## Глава XXI

Из всех необходимых потребностей, составляющих предмет разных оборотов, в цивилизации новейших времен, нет ни одной, которую бы так тщательно взвешивали, так аккуратно вымеряли, так верно пломбировали и клеймили, так бережно разливали бы на *minima* и делили бы на скрупулы, как ту потребность, которая в оборотах общественного быта называется «извинением». Человек часто стремится в Стикс не от излишней дозы, но от скупости, с которою дается эта доза! Как часто жизнь человеческая зависит от точных размеров извинения! Не домерено на ширину какогонибудь волоска, – и пишите заранее духовную: вы уже мертвый человек! Я говорю: жизнь! целые гекатомбы жизни! Какое множество войн было бы прекращено, какое множество было бы предупреждено расстройств благосостояния, еслиб только было прибавлено на предложенную меру дюйм-другой извинения! И зачем бы, кажется, скупиться на эти размеры? затем, что продажа этой потребности составляет больше монополию фирмы: Честь и Гордость. В добавок к этому, самая продажа идет чрезвычайно медленно. Как много времени потребно сначала, чтоб поправить очки, потом отыскать полку, на которой находится товар требуемого качества, отыскав качество, должно переговорить о количестве, условиться – на аптекарский или на торговый вес должно отвесить, на английскую или на фламандскую меру должно отмерять то количество, и, наконец, какой шум поднимается и спор, когда покупатель останется недовольным той ничтожной малостью, какую получает. несколько не удивительным покажется, по крайней мере для меня не кажется, если покупатель теряет терпение и отказывается наконец от извинения. Аристофан, в своей комедии «Мир», представляет прекрасную аллегорию, заставив богиню мира, хотя она и героиня комедии, оставаться во время всего действия безмолвною. Проницательный грек знал очень хорошо, что как только она заговорит, то в ту же минуту перестанет быть представительницей мира. И потому, читатель, если тщеславие твое будет затронуто, промолчи лучше, перенеси это с терпением, прости великодушно нанесенную обиду и не требуй извинения.

Мистер Гэзельден и сын его Франк были щедрые и великодушные создания по предмету извинения. Убедившись окончательно, что Леонард Ферфильд решительно отказался представить оправдание Рандалю Лесли, они заменили его скупость своею собственною податливостью. Сквайр поехал вместе с сыном в Руд-Голл: и так как в семействе Лесли никто не отказался, или, вернее, никто не сказался дома, то сквайр собственноручно, и из собственной своей головы, сочинил послание, которому предназначалось закрыть все раны, когда либо нанесенные достоинству фамилии Лесли.

Это извинительное письмо заключалось убедительной просьбой к Рандалю – приехать в Гэзельден-Голл и провести несколько дней с Франком. Послание Франка было одинакового содержания, но только написано было более в духе Итонской школы и менее разборчиво.

Прошло несколько дней, когда, на эти послания получены были ответы. Письма Рандалья имели штемпель деревни, расположенной вблизи Лондона. Рандаль писал, что он, под руководством наставника, занят теперь приготовительными лекциями к поступлению в Оксфордский университет, и что потому, к крайнему сожалению, не может принять столь лестного для него приглашения.

Во всем прочем Рандаль выражался с умом, но без великодушия. Он извинял свое участие в такой грубой, неприличной драке легким, но колким намеком на упрямство и невежество деревенского мальчишки, и не сделал того, что, весьма вероятно, сделали бы при подобных обстоятельствах вы, благосклонный читатель, и я, – то есть не сказал ни слова в защиту антагониста. Большая часть из нас забывает после сражения враждебное чувство к неприятелю, – в таком случае, когда победа остается на вашей стороне; этого-то и не случилось с Рандалем Лесли. Так дело и кончилось. Сквайр, раздраженный тем, что не мог вполне удовлетво-

рить молодого джентльмена за нанесенную обиду, уже не чувствовал того сожаления, какое он испытывал каждый раз, когда проходил мимо покинутого коттеджа мистрисс Ферфильд.

Между тем Ленни Ферфильд продолжал оказывать пользу своим новым хозяевам и извлекать выгоды во многих отношениях из фамильярной снисходительности, с которой обходились с ним. Риккабокка, ценивший себя довольно высоко за свою проницательность, с первого разу увидел, какое множество прекрасных качеств и способностей скрывалось в характере и душе английского деревенского мальчика... При дальнейшем знакомстве, он заметил, что в невинной простоте ребенка проглядывал острый ум, который требовал надлежащего развития и верного направления. Он догадывался, что успехи образцового мальчика в деревенской школе происходили более чем из одного только механического изучения и проворной смышлености. Ленни одарен был необыкновенной жадью к познанию, и, несмотря на все невыгоды различных обстоятельств, в нем уже открывались признаки того природного гения, который и самые невыгоды обращает для себя же в поощрение. Но, несмотря на то, вместе с семенами хороших качеств, лежали в нем и такие зародыши – трудные для того, чтоб отделить их, и твердые для того, чтобы разбить – которые очень часто наносят вред произведениям прекрасной почвы. К замечательному и благородному урожаю внутренних достоинств своих примешивалась у него какая-то непреклонность; с необыкновенным расположением в кротости и снисходительности соединялось сильное нерасположение прощать обиды.

Эта смешанная натура в неразработанной душе мальчика заинтересовала Риккабокка, который хотя давно уже прекратил близкия сношения с обществом, но все еще смотрел на человека, как на самую разнообразную и занимательную книгу для философических исследований. Он скоро приучил мальчика к своему весьма тонкому и часто иносказательному разговору; чрез это язык Ленни и его идеи нечувствительно потеряли прежнюю деревенскую грубость и приобрели заметную утонченность. После того Риккабокка выбрал из своей библиотеки, – конечно, ужь очень маленькой, – книги хотя и элементарные, но столь превосходные по цели своего содержания, что Ленни едва ли бы достал чтонибудь подобное им во всем Гэзельдене. Риккабокка знал английский язык основательно; знал грамматику, свойства языка и его литературу гораздо лучше, быть может, иного благовоспитанного джентльмена. Он изучал этот язык во всех его подробностях, как изучает школьник мертвые языки, и потому в коллекции его английских книг находились такие, которые самому ему служили для этой цели. Это были первые сочинения, которыми Риккабокка ссудил Ленни. Между тем Джакеймо сообщал мальчику многие секреты по части практического садоводства и делал весьма дельные замечания насчет земледелия, потому что в ту пору сельское хозяйство в Англии (исключая некоторых провинций и округов) далеко уступало тому отличному положению, до которого наука эта с времен незапамятных доведена была на севере Италии, так что, приняв все это в соображение, можно сказать, что Ленни Ферфильд сделал перемену к лучшему. На самом же деле и взглянув на предмет ниже его поверхности, невольным образом нужно было усомниться. По той же самой причине, которая заставила мальчика бежать из родного селения, он не ходил уже более и в церковь Гэзельденского прихода. Прежние дружеские беседы между ним и мистером Дэлем прекратились или ограничивались случайными посещениями со стороны последнего, – посещениями, которые становились реже и не так откровенны, когда мистер Дэль увидел, что прежний ученик его уже не нуждается более в его услугах и остается совершенно глух к его кротким увещаниям забыть прошедшее и являться, по крайней мере, на свое прежнее место в приходском храме. Однако, Ленни ходил в церковь – далеко в сторону, в другой приход, но уже проповеди не производили на него того благотворного влияния, как проповеди мистера Дэля; и пастор, имевший свою собственную паству, не хотел объяснять отставшей от своего стада овце то, что казалось непонятным, и укреплять в мальчике то, что было бы для него существенно полезным.

Я сильно сомневаюсь в том, послужили ли ученые и весьма часто нравоучительные и полезные правила доктора Риккабокка к развитию в мальчике хороших и к искоренению дурных качеств, и приносили ли они хотя половину той пользы, какую должно было ожидать от немногих простых слов, к которым Леонард почтительно прислушивался сначала подле стула своего отца и потом подле того же стула, переданного во временное владение доброму пастору, – в строгом смысле слова, доброму, потому что мистер Дэль имел такое сердце, в котором все сырые в приходе находили прибежище и утешение. Не думаю также, чтобы эта потеря нежного, отеческого, духовного учения вознаграждалась вполне теми легкими средствами, которые придуманы нынешним просвещенным веком для умственного образования: потому что, не оспаривая пользы познания вообще, приобретение этого познания, при всех облегчениях, никому легко не достается. Оно клонится без всякого сомнения к тому, чтоб увеличить наши желания, чтоб сделать нас недовольными тем, что есть, и побуждает нас скорее достигать того, что может быть; и в этом-то достижении какому множеству незамеченных тружеников суждено упасть под тяжестью принятого на себя бремени! Какое бесчисленное множество является людей, одаренных желаниями, которым никогда не осуществиться! какое множество недовольных своей судьбой, которой никогда не избегнут! Впрочем, зачем видеть в этом одну только темную сторону? Всему виноват один Риккабокка, если заставил уже Ленни Ферфильда уныло склоняться над своей лопаткой, и удостоверившись одним взглядом, что его никто не замечает, произносить плачевным голосом:

– Неужели я затем и родился, чтоб копать землю под картофель?

*Pardieu*, мой добрый Ленни! еслиб ты дожил до седьмого десятка, разъезжал бы в своем экипаже и пилулями помогал бы своему пищеварению, то, поверь, ты не раз вздохнул бы при одном воспоминании о картофеле, испеченном в горячей золе, сейчас после того, как ты вынул его из земли, которая возделана была твоими руками, полными юношеской силы. Продолжай же, Ленни Ферфильд, возделывать эту землю, продолжай! Доктор Риккабокка скажет тебе, что был некогда знаменитый человек<sup>8</sup>, который испытал два совершенно различные занятия: одно – управлять народом, другое – сажать капусту, и находил, что последнее из них гораздо легче, приятнее первого.

---

<sup>8</sup> Император Диоклитиан.

## Глава XXII

Доктор Риккабокка завладел Ленни Ферфильдом, и потому можно сказать, что он мчался на своем коньке с необыкновенной ловкостью и достиг желаемой цели. Но мисс Джемима все еще катилась на своей колеснице, ослабив возжи и размахивая бичем, и, по видимому, нисколько не сближаясь с улетающим образом Риккабокка.

И действительно, эта превосходная и только чересчур чувствительная дева ни под каким видом не воображала, чтобы несчастный чужеземец в мнениях своих так далеко не согласовался с её ожиданиями, но, к сожалению, должна была убедиться в том, когда доктор Риккабокка оставил Гэзельден-Голл и снова заключил себя в уединенных пределах казино, не сделав формального отречения от своего безбрачия. На несколько дней она сама затворилась в своей комнате и предалась размышлениям, с более против обыкновения мрачным удовольствием, о вероятности приближающегося переворота вселенной. И в самом деле, множество находимых ею признаков этого универсального бедствия, в которых, во время пребывания Риккабокка в доме сквайра, она позволяла себе сомневаться, теперь сделались совершенно очевидны. Даже газета, которая в течение того счастливого периода, располагавшего к особенному доверию, уделяла полстолбца для родившихся и браком сочетавшихся, – теперь приносила длинный список умерших, так что казалось, как будто все народонаселение чем-то страдало и не предвидело никакой возможности к отвращению своих ежедневных потерь. В главных статьях газеты, с какою-то таинственностью, наводящею ужас, говорилось о предстоящем *кризисе*. В отделе, назначенном для общих новостей, между прочим упоминалось о чудовищных репах, о телятах с двумя головами, о китах, выброшенных на берег в реке Гумбер, и дожде из одних лягушек, выпавшем на главной улице города Чельтенгама.

Все эти признаки, по её убеждению, дряхлости и конечного разрушения света, которые подле очаровательного Риккабокка неизбежно допустили бы некоторое сомнение касательно их происхождения и причины, теперь, соединившись с самым худшим из всех признаков, и именно с развивающимся в человеке с невероятной быстротой нечестием, не оставляли мисс Джемиме ни одной искры отрадной надежды, исключая разве той, которая извлекалась из убеждения, что мисс Джемима будет ожидать всеобщей гибели без малейшей тревоги.

Мистрисс Дэль, однако же, ни под каким видом не разделяла уныния своей прекрасной подруги и, получив доступ в её комнату, успела, хотя и с большим затруднением, разве-селить унылый дух этой мужчиноненавистницы. В своем благосклонном желании ускорить полет мисс Джемимы к свадебной цели мистрисс Дэль не была до такой степени жестокосерда к своему приятелю, доктору Риккабокка, какую она казалась своему супругу. Мистрисс Дэль одарена была догадливостью и проницательностью, как и большая часть женщин с живым, пылким характером, а потому она знала, что мисс Джемима была одной из тех молодых лэди, которые ценят мужа пропорционально затруднениям, встреченным во время приобретения его. Весьма вероятно, мои читатели, как мужского, так и женского пола, встречали, в период своих испытаний, тот особенный род женского характера, который требует всей теплоты супружеского очага, чтоб развернуть в нем все свои врожденные прекрасные качества. В противном случае, при неведении об этой наклонности, характер этот легко обратится в ту сторону, которая будет способствовать к его возрасту и улучшению, как подсолнечник всегда обращается к солнцу, а плакучая ива – к воде. Лэди такого характера, ставя какую-нибудь преграду своим нежным наклонностям, постоянно томятся и доводят умственные способности до изнеможения, до какой-то бездейственности, или пускают ростки в те неправильные эксцентричности, которые подведены под общее название «странностей» или «оригинальностей характера». Но, перенесенный на надлежащую почву, тот же характер принимает основательное развитие; сердце, до этого изнеможенное и лишенное питательности, дает отпрыски, распускает цветы

и приносит плод. И таким образом многие прекрасные лэди, которые так долго чуждались мужчин, становятся преданными жонами и нежными матерями они смеются над прежнею своею разборчивостью и вздыхают о слепом ожесточении своего сердца.

По всей вероятности, мистрисс Дэль имела это в виду, и, конечно, в дополнение ко всем усыпленным добродетелям мисс Джемимы, которым суждено пробудиться при одной лишь перемене её имени на имя мистрисс Риккабокка, она рассчитывала также и на существенные выгоды, которые подобная партия могла бы предоставить бедному изгнаннику. Такой прекрасный союз с одной из самых старинных, богатых и самых популярных фамилий в округе сам по себе уже давал большое преимущество его положению в обществе, а между тем приданое мисс Джемимы хотя и не имело огромных размеров, считая его английскими фунтами стерлингов, а не миланскими ливрами, все же было достаточно для того, чтоб устранить тот постепенный упадок материальной жизни, который, после продолжительной диеты на пискарях и колючках, сделался уже очевидным в прекрасной и медленно исчезающей фигуре философа.

Подобно всем человеческим созданиям, убежденным в справедливости и приличии своих поступков, для мистрисс Дэль недоставало только случая, чтоб увенчать предпринятое дело полным успехом. А так как случаи очень часто и притом неожиданно представляются сами собой, то она не только весьма часто возобновляла, и каждый раз под более важным предложением, свои дружеские приглашения к доктору Риккабокка – выпить чаю и провести вечер в их доме, но с особенною ловкостью, до такой степени растрогала щекотливость сквайра насчет его гостеприимства, что доктор еженедельно получал убедительные приглашения отобедать в Гэзельден-Голле и пробыть там до другого дня.

Итальянец сначала хмурился, ворчал, произносил свои *Cospelto* и *Per Vacco* всячески старался отделаться от такой чрезмерной вежливости. Но, подобно всем одиноким джентльменам, он находился под сильным влиянием своего верного слуги; а Джакеймо, хотя и мог, в случае необходимости, так же равнодушно переносить голод, как и его господин, но все же, когда дело шло на выбор, то он весьма охотно предпочитал хороший росбиф и плюм-пуддинг тощим пискарям и костлявым колючкам. Кроме того, тщетная и неосторожная уверенность касательно огромной суммы, которая может перейти в полное распоряжение Риккабокка, и притом с такою милою и прекрасною лэди, как мисс Джемима, которая успела уже оказать Джакеймо легонькое внимание, сильно возбуждали алчность, которая между прочим была в натуре слуги нашего итальянца, – алчность тем более изощренную, что, долго лишенный всякой возможности законным образом употреблять ее в дело для своих собственных интересов, он уступал ее целиком своему господину.

Таким образом, изменнически преданный своим слугой, Риккабокка попал, хотя и не с завязанными глазами, в гостеприимные ловушки, расставленные его безбрачной жизни. Он часто ходил в пасторский дом, часто в Гэзельден-Голл, и прелести семейной жизни, так долго отвергаемые им, начали постепенно производить свои чары на стоицизм нашего изгнанника. Франк в это время возвратился уже в Итон. Неожиданное приглашение отозвало капитана Гиджинботэма провести несколько недель в Бате с дальним родственником, который недавно возвратился из Индии, и который, при богатствах Креза, чувствовал такое одиночество и отчуждение к родному острову, что когда капитан «высказал свои права на родственную связь», то, к его крайнему изумлению, «индейский набоб признал вполне эти права», – между тем продолжительные парламентские заседания все еще удерживали в Лондоне посетителей сквайра, являвшихся в Гэзельден-Голле, по обыкновению, в конце летнего сезона; так что мистер Гэзельден с непритворным удовольствием наслаждался развлечением в беседе с умным чужеземцем. Таким образом, к общему удовольствию всех знакомых лиц в Гэзельдене и к усилению надежды двух прекрасных заговорщиц, дружба между казино и Гэзельден-Голлом становилась с каждым днем теснее и теснее; но все еще со стороны доктора Риккабокка не сделано

было даже и малейшего намека, имеющего сходство с предложением. Если иногда проявлялась идея об этом в душе Риккабокка, то он изгонял ее оттуда таким решительным, грозным восклицанием, что, право, другому показалось бы, что если не конец мира, то по крайней мере конец намерениям мисс Джемимы действительно приближался, и что прекрасная мисс по-прежнему осталась бы Джемимой, если бы не предотвратило этого письмо с заграничным штем-пелем, полученное доктором в одно прекрасное утро, во вторник.

Джакеймо заметил, что в доме их случилось что-то не совсем хорошее, и, под предлогом поливки померанцовых деревьев, он замешкался вблизи своего господина и заглянул сквозь озаренные солнцем листья на печальное лицо Риккабокка.

Доктор вздохнул тяжело и, что всего страннее, не взялся, как это всегда случалось с ним, после подобного вздоха, за свою драгоценную утешительницу – трубку. Хотя кисет с табаком и лежал подле него на балюстраде и трубка стояла между его коленями, в ожидании, когда поднесут ее к губам, но Риккабокка не обращал внимания ни на того, ни на другую, а молча положил на колени письмо и устремил неподвижные взоры в землю.

«Должно быть, очень нехорошие вести!» подумал Джакеймо и отложил свою работу до более благоприятного времени.

Подойдя к своему господину, он взял трубку и кисет и, медленно набивая первую табак, внимательно разглядывал смуглое, задумчивое лицо, на котором резко отделяющиеся и идущие вниз линии служили верными признаками глубокой скорби. Джакеймо не смел заговорить, а между тем продолжительное молчание его господина сильно тревожило его. Он наложил кусочек труту на кремень и высек искру, – но и тут нет ни слова; Риккабокка не хотел даже и протянуть руку за трубкой.

«В первый раз вижу его в таком положении», подумал Джакеймо и вместе с этим весьма осторожно просунул конец трубки под неподвижные пальцы, лежавшие на коленях.

Трубка повалилась на землю.

Джакеймо перекрестился и с величайшим усердием начал читать молитву. Доктор медленно приподнялся, с большим, по видимому, усилием прошелся раза два по террасе, потом вдруг остановился и сказал:

– Друг мой!

Слуга почтительно поднес к губам своим руку господина и потом, быстро отвернувшись в сторону, отер глаза.

– Друг мой, повторил Риккабокка, и на этот раз с выразительностью, в которой отзывалась вся скорбь его души, и таким нежным голосом, в котором звучала музыкальность пленительного юга: – мне хотелось бы поговорить с тобой о моей дочери!

– Поэтому письмо ваше относится к синьорине. Надеюсь, что она здорова.

– Слава Богу, она здорова. Ведь она в нашей родной Италии.

Джакеймо невольно бросил взгляд на померанцовые деревья; утренний прохладный ветерок, пролетая мимо его, доносил от них аромат распустившихся цветочков.

– Под присмотром и попечением, они и здесь сохраняют свою прелесть, сказал он, указывая на деревья. – Мне кажется, я уже говорил об этом моему патрону.

Но Риккабокка в эту минуту опять глядел на письмо и не замечал ни жестов, ни слов своего слуги.

– Моей тетушки уже нет более на свете! сказал он, после непродолжительного молчания.

– Мы будем молиться об успокоении её души, отвечал Джакеймо, торжественно. – Впрочем, она была уже очень стара и долгое время болела.... Не плачьте об этом так сильно, мой добрый господин: в её лета и при таких недугах смерть является другом.

– Мир праху её! возразил итальянец. – Если она имела свои слабости и заблуждения, то их должно забыть теперь навсегда; в час опасности и бедствия, она дала приют моему ребенку. Приют этот разрушился. Это письмо от священника, её духовника. Ты знаешь,

она не имела ничего, что можно было бы отказать моей дочери; все её имущество переходит наследнику – моему врагу!

– Предателю! пробормотал Джакеймо, и правая рука его, по видимому, искала оружия, которое итальянцы низшего сословия часто носят открыто, на перевязи.

– Священник, снова начал Риккабокка, спокойным голосом: – весьма благоразумно распорядился, удалив мою дочь, как гостью, из дому, в который войдет мой враг, как законный владетель и господин.

– Где же теперь синьорина?

– В доме этого священника. Взгляни сюда, Джакомо, – сюда, сюда! Эти слова написаны рукой моей дочери, первые строчки, которые она написала ко мне.

Джакеймо снял шляпу и с подобострастием взглянул на огромные буквы детского рукописания. Но, при всей их крупности, они казались неясными, потому что бумага была окроплена слезами ребенка; а на том месте, куда они не падали, находилось круглое свежее влажное пятно от горячей слезы, скатившейся с ресниц старика. Риккабокка снова начал.

– Священник рекомендует монастырь для неё.

– Но вы, вероятно, не намерены посвятить монашеской жизни вашу единственную дочь?

– Почему же нет? сказал Риккабокка печально. – Что могу я дать ей в этом мире? Неужели чужая земля приютит ее лучше, чем мирная обитель в отечестве?

– Однако, в этой чужой земле бьется сердце её родителя.

– А если это сердце перестанет биться, что будет тогда? В монастыре она по крайней мере не будет знать до самой могилы ни житейских искушений, ни нищеты; а влияние священника может доставить ей этот приют и даже так может доставить, что она будет там в кругу равных себе.

– Вы говорите: нищеты! Посмотрите, как мы разбогатеет, когда снимем к Михайлову дню эти поля!

– *Pazziet* (глупости) воскликнул Риккабокка, с рассеянным видом. – Неужели ты думаешь, что здешнее солнце светит ярче нашего, и что здешняя почва плодотворнее нашей? Да притом же и в нашей Италии существует пословица: «кто засекает поля, тот пожинает более заботы, чем зерна.» Совсем дело другое, продолжал отец, после минутного молчания и довольно нерешительным тоном: – еслиб я имел хоть маленькую независимость, чтоб можно было рассчитывать... даже, еслиб между всеми моими родственниками нашлась бы хоть одна женщина, которая решилась бы сопутствовать моей Виоланте к очагу изгнанника. Но, согласись, можем ли мы двое грубых, угрюмых мужчин выполнить все нужды, принять на себя все заботы и попечения, которые тесно связаны с воспитанием ребенка? А она была так нежно воспитана! Ты не знаешь, Джакомо, что ребенок нежный, а особливо девочка, требует того, чтобы ею управляла рука постоянно ласкающая, чтобы за нею наблюдал нежный глаз женщины.

– Позвольте сказать, возразил Джакеймо, весьма решительно: – разве патрон мой не может доставить своей дочери всего необходимого, чтоб спасти ее от монастырских стен? разве он не может сделать того, что, она будет сидеть у него на коленях прежде, чем начнется сыпаться лист с деревьев? *Padrone!* напрасно вы думаете, что можете скрыть от меня истину; вы любите свою дочь более всего на свете, особливо, когда отечество для вас так же мертво теперь, как и прах ваших отцов; я уверен, что струны вашего сердца лопнули бы окончательно от малейшего усилия оторвать от них синьорину и заключить ее в монастырь. Неужели вы решитесь на то, чтоб никогда не услышать её голоса, никогда не увидеть её личика! А маленькие ручки, которые обвивали вашу шею в ту темную ночь, когда мы бежали, спасая свою жизнь, и когда вы, чувствуя объятия этих ручек, сказали мне: друг мой, для нас еще не все погибло!

– Джакомо! воскликнул Риккабокка, с упреком и как бы задыхаясь. – Он отвернулся, сделал несколько шагов по террасе и потом, подняв руки и делая выразительные жесты, продолжал нетвердые шаги и в то же время в полголоса произносил: – да, Бог свидетель, что я

без ропота переносил бы и мое несчастье и изгнание, еслиб этот невинный ребенок разделял вместе со мной скорбь на чужбине и лишения. Бог свидетель, что если я не решаюсь теперь призвать ее сюда, то это потому, что мне не хотелось бы послушаться внушений моего самолюбивого сердца. Но чтобы никогда, никогда не увидеть ее снова... о дитя мое, дочь моя! Я видел ее еще малюткой! Друг мой Джакомо... непреодолимое душевное волнение прервало слова Риккабокка, и он склонил голову на плечо своего верного слуги: – тебе одному известно, что перенес я, что выстрадал я здесь и в моем отечестве: несправедливость... предательство... и...

И голос снова изменил ему: он крепко прильнул к груди Джакомо и весь затрепетал.

– Но ваша дочь, это невинное создание – вы должны думать теперь только о ней одной, едва слышным голосом произнес Джакомо, потому что и он в эту минуту боролся с своими собственными рыданиями.

– Правда, только о ней, отвечал изгнанник: – о ней одной. Прошу тебя, будь на этот раз моим советником. Если я пошлю за Виолантой, и если, пересаженная с родной почвы под здешнее туманное, холодное небо, она завянет и умрет... взгляни сюда... священник говорит, что ей нужно самое нежное попечение... или, если я сам буду отозван от этого мира, и мне придется оставить ее одну без друзей, без крова, быть может, без куска насущного хлеба, и оставить ее в том возрасте, когда наступит пора бороться с самыми сильными искушениями, – не будет ли она во всю свою жизнь оплакивать тот жестокий эгоизм, который еще при младенческой её невинности навсегда затворил для неё врата Божьего дома?

Джакомо был поражен этими словами, тем более, что Риккабокка редко, или, вернее сказать, никогда не говорил прежде таким языком. В те часы, когда он углублялся в свою философию, он делался скептиком. Но теперь, в минуту душевного волнения, при одном воспоминании о своей маленькой дочери, он говорил и чувствовал с другими убеждениями.

– Но я снова решаюсь сказать, произнес Джакеймо едва слышным голосом и после продолжительного молчания: – еслиб господин мой решился... жениться!

Джакеймо ждал, что со стороны доктора при подобном намеке непременно случится взрыв негодования; впрочем, он нисколько не беспокоился, потому что этот взрыв мог бы дать совершенно другое направление его ощущениям. Но ничего подобного не было. Бедный итальянец слегка содрогнулся, тихо отвел от себя руку Джакеймо, снова начал ходить взад и вперед по террасе, на этот раз спокойно и молча. В этой прогулке прошло четверть часа.

– Подай мне трубку, сказал Риккабокка, удаляясь в бельведер.

Джакеймо снова высек огня и, подавая трубку господину, вздохнул свободнее.

Доктор Риккабокка пробыл в уединении бельведера весьма недолго, когда Ленни Ферфильд, не зная, что его временный господин находился там, вошел туда положить книгу, которую доктор одолжил ему с тем, чтобы по миновании в ней надобности принести ее на назначенное место. При звуке шагов деревенского мальчика, Риккабокка приподнял свои взоры, устремленные на пол.

– Извините, сэр, я совсем не знал...

– Ничего, мой друг; положи книгу на место. – Ты пришел очень кстати: я хочу поговорить с тобой. Какой у тебя свежий, здоровый румянец, дитя мое! вероятно, здешний воздух так же хорош, как и в Гэзельдене.

– О, да, сэр!

– Мне кажется, что здешняя местность гораздо выше и более открыта?

– Едва ли это так, сэр, сказал Ленни: – я находил здесь множество растений, которые растут и в Гэзельдене. Вон эта гора закрывает наши поля от восточного ветра, и вся местность обращена прямо к югу.

– Скажи, пожалуста, какие бывают здесь господствующие недуги?

– Что изволите, сэр?

– На какие болезни здешние жители чаще всего жалуются?

- Право, сэр, исключая ревматизма, мне не случалось слышать о других болезнях.
- Ты никогда не слышал, например, об изнурительных лихорадках, о чахотках?
- В первый раз слышу это от вас, сэр.

Риккабокка сделал продолжительный глоток воздуха, – и с тем вместе, казалось, что тяжелый камень отпал от его груди.

– Мне кажется, что все семейство здешнего сквайра предобрые люди?

– Я ничего не могу сказать против этого, отвечал Ленни решительным тоном. – Со мной всегда обходились весьма снисходительно. Впрочем, сэр, ведь вот и в этой книге говорится, что «не каждому суждено являться в этот мир с серебряной ложечкой во рту.»

Передавая книгу Ленни, Рикабокка совсем не помышлял, чтобы мудрые правила, заключавшиеся в ней, могли оставить за собой печальные мысли. Он слишком был занят предметом самым близким своему собственному сердцу, чтобы подумать в то время о том, что происходило в душе Ленни Ферфильда.

– Да, да, мой друг, это весьма доброе английское семейство. Часто ли ты видел мисс Гэзельден?

– Не так часто, как лэди Гэзельден.

– А как ты думаешь, любят ее в деревне или нет?

– Мисс Джемиму? конечно, сэр. Ведь она никому не сделала вреда. её собачка укусила меня однажды, да мисс Джемима была так добра, что в ту же минуту попросила у меня извинения. Да, она у нас очень добрая молодая лэди, такая ласковая, как говорят деревенские девушки, и что еще, прибавил Линни, с улыбкой: – с тех пор, как она приехала сюда, у нас гораздо чаще случаются свадьбы, чем прежде.

– Вот как! сказал Риккабокка и потом, после длинной затяжки, прибавил: – а ты не видал, играет ли она с маленькими детьми? Как ты думаешь, любит ли она их?

– Помилуйте, сэр! вы говорите, как будто вам все известно! Она души не слышит в деревенских малютках.

– Гм! произнес Риккабокка. – Любить малюток – это в натуре женщины. Я спрашиваю не собственно о малютках, а так уже о взрослых детях, о маленьких девочках.

– Конечно, сэр, она их тоже любит; впрочем, сказал Ленни, жеманно: – я никогда не связывался с маленькими девочками.

– Совершенно справедливо, Ленни; будь и всегда таким скромным в течение всей своей жизни. Мистрисс Дэль, мне кажется, в большой дружбе с мисс Гэзельден, больше чем с лэди Гэзельден. Как ты думаешь, почему это?

– Мне кажется, сэр, лукаво отвечал Леонард: – потому, что мистрисс Дэль немножко своенравна, хотя она и очень добрая лэди; а лэди Гэзельден немножко самолюбива, да при том же и держит себя как-то очень высоко. А мисс Джемима удивительно добра, с мисс Джемимой все могут ужиться: так по крайней мере сказывал мне Джой, да и вообще вся дворня из Гэзельден-Голла.

– В самом деле! пожалуста, Ленни, подай мне шляпу; она, кажется, в гостиной, и.... и принеси мне платяную щогку. Чудная погода для прогулки!

После этих не совсем-то скромных и благовидных распросов, касательно характера и популярности мисс Гэзельден, синьор Риккабокка так легко чувствовал на душе своей, как будто совершил какой нибудь благородный подвиг; и когда он отправлялся к Гэзельден-Голлу, походка его казалась легче и свободнее, чем в то время, когда он ходил, за несколько минут, по террасе.

– Ну, слава Еогу, теперь смело можно сказать, что молодая синьорина будет здесь! ворчал Джакеймо за садовой решеткой, провожая взорами удаляющегося господина.

## Глава XXIII

Доктор Риккабокка не был человек безразсудный, не поступал никогда опрометчиво. Кто хочет, чтоб свадебное платье сидело на нем хорошо, тот должен уделить порядочное количество времени для снятия мерки. С того дня, в который получено письмо, итальянец заметно изменил свое обращение с мисс Гэзельден. Он прекратил ту щедрость на комплименты, которою до этого ограждал себя от серьёзных объяснений. Действительно, Риккабокка находил, что комплименты для одинокого джентльмена были то же самое, что черная жидкость у некоторого рода рыб, которою они окружают себя в случае опасности, и под прикрытием которой убегают от своего неприятеля. Кроме того, он не избегал теперь продолжительных разговоров с этой молодой лэди и не старался уклоняться от одиноких прогулок с ней. Напротив, он искал теперь всякого случая быть с нею в обществе, и, совершенно прекратив говорить ей любезности, он принял в разговорах с ней тон искренней дружбы. Он перестал щеголять своим умом для того собственно, чтоб испытать и оценить ум мисс Джемимы. Употребляя весьма простое уподобление, мы скажем, что Риккабокка сдувал пену, которая бывает на поверхности обыкновенных знакомств, особливо с прекрасным полом, и которая, оставаясь тут, лишает возможности узнать качество скрывающейся под ней жидкости. По видимому, доктор Риккабокка был доволен своими исследованиями; во всяком случае, он уже догадывался, что жидкость под той пеной не имела горького вкуса. Итальянец не замечал особенной силы ума в мисс Джемиме, но зато сделал открытие, что мисс Гэзельден, за устранением некоторых слабостей и причуд, одарена была на столько здравым рассудком, что могла совершенно понимать простые обязанности супружеской жизни; а в случае, еслиб этого рассудка было недостаточно, то вместо его с одинаковой пользой могли послужить старинные английские правила хорошей нравственности и прекрасные качества души.

Не знаю почему, но только многие умнейшие люди никогда не обращают такого внимания, как люди менее даровитые, на ум своей подруги в жизни. Очень многие ученые, поэты и государственные мужи, сколько известно нам, не имели у себя жон, одаренных... не говоря уже: блестящими, даже посредственными умственными способностями, и, по видимому, любили их еще лучше за их недостатки. Посмотрите, какую счастливую жизнь провел Расин с своей женой, за какого ангела он считал ее, – а между тем она никогда не читала его комедий. Конечно, и Гёте никогда не докучал гой лэди, которая называла его «господином тайным советником», своими трактатами «о единицах» и «свете» и сухими метафизическими проблемами во второй части «Фауста». Вероятно, это потому, что такие великие гении, постигая, по сравнению себя с другими гениями, что между умными женщинами и женщинами посредственных дарований всегда бывает небольшая разница, сразу отбрасывали все попытки пробудить в душе своих спутниц влечение к их трудным умственным занятиям и заботились исключительно об одном, чтоб связать одно человеческое сердце с другим самым крепким узлом семейного счастья. Надобно полагать, что мнения Риккабокка по этому предмету были подобного рода, потому что, в одно прекрасное утро, после продолжительной прогулки с мисс Гэзельден, он произнес про себя:

«Duro con duro Non fece mai buon muro.....»

Что можно выразить следующею перифразою: «из кирпичей без извести выйдет весьма плохая стена.» В характере мисс Джемимы столько находилось прекрасных качеств, что можно было извлечь из них превосходную известь; кирпичи Риккабокка брал на себя.

Когда кончились исследования, наш философ весьма символически обнаружил результат, к которому привели его эти исследования; он выразил его весьма просто, но разъяснение этого *просто* поставило бы вас в крайнее замешательство, еслиб вы не остановились на минуту и не подумали хорошенько, что оно означало. *Доктор Риккабокка снял очки!* Он тщательно

вытер их, положил в сафьянный футляр и запер в бюро, – короче сказать, он перестал носить очки.

Вы легко заметите, что в этом поступке скрывалось удивительно глубокое значение. С одной стороны, это означало, что прямая обязанность очков исполнена; что если философ решился на супружескую жизнь, то полагал, что с минуты его решимости гораздо лучше быть близоруким, даже несколько подслеповатым, чем постоянно смотреть на семейное благополучие, которого он решился искать для себя, сквозь пару холодных увеличительных стекол. А что касается до предметов, выходящих за предел его домашнего быта, если он и не может видеть их хорошо без очков, то разве он не намерен присоединить к слабости своего зрения пару других глаз, которые никогда не проглядят того, что будет касаться его интересов? С другой стороны, доктор Риккабокка, отложив в сторону очки, обнаруживал свое намерение начать тот счастливый перед-брачный период, когда каждый человек, хотя бы он был такой же философ, как и Риккабокка, желает казаться на столько молодым и прекрасным, насколько позволяют время и сама природа. Согласитесь сами, может ли нежный язык наших очей быть так выразителен, когда вмешаются эти стеклянные посредники! Я помню, что, посещая однажды выставку художественных произведений в Лондоне, и чуть-чуть не влюбился, как говорится, по-уши, в молоденькую лэди, которая вместе с сердцем доставила бы мне хорошее состояние, как вдруг она вынула из ридикюля пару хороших очков в черепаховой оправе и, устремив на меня через них пронизательный взгляд, превратила изумленного Купидона в ледяную глыбу! Как вам угодно, а поступок Риккабокка, обнаруживавший его совершенное несогласие с мнением псевдо-мудрецов, что подобные вещи в высочайшей степени нелепы и забавны, я считаю за самое верное доказательство глубокого знания человеческого сердца. И конечно, теперь, когда очки были брошены, невозможно отвергать того, что глаза итальянца были замечательно прекрасны. Даже и сквозь очки или когда они поднимались немного повыше очков, и тогда его глаза отличались особым блеском и выразительностью; но без этих принадлежностей блеск их становился мягче и нежнее: они имели теперь тот вид, который у французов называется *velouté*, бархатность, и вообще казались десятью годами моложе.

– Итак, вы поручаете мне переговорить об этом с нашей милой Джемимой? сказала мистрисс Дэль, в необыкновенно приятном расположении духа и без всякой горечи в произношении слова «милой».

– Мне кажется, отвечал Риккабокка: – прежде чем начать переговоры с мисс Джемимой, необходимо нужно узнать, как будут приняты мои предложения в семействе.

– Ах, да! возразила мистрисс Дэль.

– Без всякого сомнения, сквайр есть глаза этого семейства.

Мистрисс Дэль (*разсеянно и с некоторым неудовольствием*). – Кто? сквайр? да, весьма справедливо... совершенно так (*взглянув на Риккабокка, весьма наивно продолжала*) Поверите ли, я вовсе не подумала о сквайре. И ведь знаете, он такой странный человек, у него так много английских предразсудков, что, действительно... скажите, как это досадно! мне и в голову не приходило подумать, что мистер Гэзельден имеет голос в этом деле! Оно, если хотите, так родство тут весьма дальнее, – совсем не то, если бы он был отец ей; притом же, Джемима уже в зрелых летах и может располагать собой, как ей угодно; но все же, как вы говорите, не мешает, и даже следует, посоветоваться со сквайром, как с главой семейства.

Риккабокка. И неужели вы думаете, что сквайр Гэзельден не согласится на этот союз? Как торжественно звучит это слово! Конечно, я и сам полагаю, что он весьма благоразумно будет противиться браку своей кузины с чужеземцем, за которым он ничего не знает, исключая разве того, что во всех государствах считается бесславным, а в вашем отечестве криминальным преступлением, и именно – бедности!

Мистрисс Дэль (*снисходительно*). Вы очень дурно судите о нас, бедных островитянах, и кроме того, весьма несправедливы к сквайру – да сохранит его небо! Мы сами прежде нахо-

дились в крайней бедности, – находились бы, может быть, и теперь, еслиб сквайру не угодно было избрать моего мужа пастырем своих поселян и сделать его своим соседом и другом. Я буду говорить с ним без всякого страха....

Риккабокка. И со всею откровенностью. Теперь же, высказав вам мое намерение, позвольте мне продолжать признание, которое вашим участием, прекрасный друг мой, в моей судьбе, было в некоторой степени прервано. Я сказал уже, что еслиб я мог надеяться, хотя это довольно и дерзко с моей стороны, что мои предложения будут приняты как самой мисс Гэзельден, так и прочими членами её фамилии, то, конечно, отдавая полную справедливость её прекрасным качествам, считал бы себя.... считал бы....

Мистрисс Дэль (*с лукавой улыбкой и несколько насмешливым тоном*). Счастливейшим из смертных – это обыкновенная английская фраза, доктор.

Риккабокка. Вернее и лучше ничего нельзя сказать. Но – продолжал он, серьёзным тоном – мне хотелось бы объяснить вам, что я.... уже был женат.

Мистрисс Дэль (*с изумлением*). Вы были женаты!

Риккабокка. И имею дочь, которая дорога моему сердцу, – невыразимо дорога! До этого времени она проживала за границей, но, по некоторым обстоятельствам, необходимо теперь, чтобы она жила вместе со мной. И я откровенно признаюсь вам, ничто так не могло привязать меня к мисс Гэзельден, ничто так сильно не возбуждало во мне желания к нашему брачному союзу, как полная уверенность, что, при её душевных качествах и кротком характере, она может быть доброю, нежною матерью моей малютки.

Мистрисс Дэль (*с чувством и горячностью*). Вы судите о ней весьма справедливо.

Риккабокка. Что касается до денежной статьи, то, по образу жизни моей, вы легко можете заключить, что я ничего не могу прибавить к состоянию мисс Гэзельден, как бы оно велико или мало ни было.

Мистрисс Дэль. Это затруднение может устраниться тем, что состояние мисс Гэзельден будет составлять её нераздельную собственность; в подобных случаях у нас это принято за правило.

Лицо Риккабокка вытянулось.

– А как же моя дочь-то? сказал он, с глубоким чувством.

Это простое выражение до такой степени было чуждо всех низких и касающихся его личности корыстолюбивых побуждений, что у мистрисс Дэль недоставало духу сделать весьма естественное замечание, что «эта дочь не дочь мисс Джемимы, и что, может статься, у вас и еще будут дети.»

Она была тронута и отвечала, с заметным колебанием;

– В таком случае, из тех доходов, которые будут общими между вами и мисс Джемимой, вы можете ежегодно откладывать некоторую часть для вашей дочери, или, наконец, вы можете застраховать вашу жизнь. Мы это сами сделали, когда родилось у нас первое дитя, которого, к несчастью, лишились (при этих словах на глазах мистрисс Дэль навернулись слезы), и мне кажется, что Чарльз и теперь еще продолжает страховать свою жизнь для меня, хотя Богу одному известно, что.... что....!

И слезы покатались ручьем. Это маленькое сердце, живое и резвое, не имело ни одной тончайшей фибры, эластических мускульных связей, которые с таким изобилием и так часто выпадают на долю сердец тех женщин, которым заранее предназначается вдовья участь. Доктор Риккабокка не мог долее продолжать разговора о застраховании жизни. Однакожь, эта идея, никогда неприходившая в голову философа, очень понравилась ему, и, надобно отдать ему справедливость, он далеко предпочитал ее мысли удерживать из приданого мисс Гэзельден небольшую часть в свою собственную пользу и в пользу своей дочери.

Вскоре после этого разговора Риккабокка оставил дом пастора, и мистрисс Дэль поспешила отыскать своего мужа – сообщить ему об успешном приведении к концу задуманного

ею плана и посоветоваться с ним о том, каким образом лучше познакомить с этим обстоятельством сквайра.

– Хотя сквайр, говорила она, с некоторым замешательством:– и рад бы был видеть Джемиму замужем, но меня тревожит одно обстоятельство. Вероятно, он спросит: кто и что такое этот доктор Риккабокка? скажи пожалуйста, Чарльз, что я стану отвечать ему?

– Тебе бы нужно было подумать об этом раньше, отвечал мистер Дэль, необыкновенно сурово. – Я никак не полагал, чтобы из смешного, как мне казалось это, вышло чтонибудь серьёзное. Иначе я давным бы давно попросил тебя не вмешиваться в подобные дела. Боже сохрани! продолжал мистер Дэль, меняясь в лице: – Боже сохрани! чтоб мы стали, как говорится, тайком вводить в семейство человека, которому мы всем обязаны, родственную связь, по всей вероятности, слишком для него неприятную! это было бы низко с нашей стороны! это был бы верх неблагодарности!

Бедная мистрисс Дэль была испугана этими словами и еще более неудовольствием её супруга и суровым выражением его лица. Отдавая должную справедливость мистрисс Дэль, здесь следует заметить, что каждый раз, как только муж её огорчался или оскорблялся чемнибудь, её маленькое своенравие исчезало: она делалась кротка как ягненок. Лишь только она оправилась от неожиданного удара, как в ту же минуту поспешила рассеять все опасения мистера Дэля. Мистрисс Дэль уверяла, что она убеждена в том, что если сквайру не понравятся претензии Риккабокка, то итальянец немедленно прекратит их и мисс Джемима никогда не узнает об его предложении. Следовательно, из этого еще ничего дурного не может выйти. Это уверение, совершенно согласовавшееся с убеждениями мистера Дэля касательно благородства души Риккабокка, весьма много способствовало к успокоению доброго человека, и если он не чувствовал в душе своей сильной тревоги за мисс Джемиму, которой сердце, легко может стать, было уже занято любовью к Риккабокка, если он не опасался, что её счастье, чрез отказ сквайра, могло быть поставлено в весьма опасное положение, то это происходило не от недостатка в нежности чувств мистера Дэля, а от его совершенного знания женского сердца. Кроме того он полагал, хотя и весьма ошибочно, что мисс Гэзельден была не из тех женщин, на которых обманутые ожидания подобного рода могли бы произвести пагубное впечатление. Вследствие этого, после непродолжительного размышления, он сказал весьма ласково:

– Ничего, мой друг, не огорчайся; я не менее должен винить и себя в этом деле. Мне, право, казалось, что для сквайра гораздо бы легче было пересадить высокие кедры в огород, чем для тебя возбудить в душе Риккабокка намерение вступить в супружескую жизнь. Впрочем, от человека, который добровольно, ради одного только опыта, посадил себя в колоду, всего можно ожидать! Как бы то ни было, а мне кажется, что гораздо лучше будет, если я сам переговорю об этом с сквайром и сейчас же пойду к нему.

Мистер Дэль надел свою широкополую шляпу и отправился на образцовую ферму, где в эту пору дня непременно надеялся застать сквайра. Но едва только он вышел на деревенский луг, как увидел мистера Гэзельдена, который, опершись обеими руками на трость, внимательно рассматривал приходское исправительное заведение. Должно заметить, что после переселения Ленни Ферфильда и его матери негодование к колоде снова вспыхнуло в жителях Гэзельдена. В то время, как Ленни находился в деревне, это негодование изливалось обыкновенно на него; но едва только он оставил приход, как все начали чувствовать к нему сострадание. Это происходило не потому, чтобы те, которые более всего преследовали его своими насмешками, раскаявались в своем поведении или считали себя хоть на скольконибудь виновными в его изгнании из деревни: нет! они, вместе с прочими поселянами, сваливали всю вину на приходскую колоду и употребляли всевозможные средства, чтоб привести ее в то положение, в каком она находилась до своего возобновления.

Само собою разумеется, что мистер Стирн не дремал в это время. Он ежедневно докладывал своему господину о лицах, которые, по его подозрениям, были главными виновниками

в новых неудовольствиях в приходе. Но мистер Гэзельден был или слишком горд, или слишком добр, чтоб поверить на слово своему управителю и явно упрекать обвиняемых; он ограничился сначала тем, что, при встрече с ними во время прогулок, отвечал на их приветствия молчаливым и принужденным наклоном головы; но впоследствии, покоряясь влиянию Стирна, он с гневом произносил, что «не видит никакой причины оказывать какое бы то ни было снисхождение неблагодарным людям. Нужно же наконец делать какое нибудь различие между хорошими и дурными.» Ободренный таким отзывом господина, мистер Стирн еще свободнее начал обнаруживать гонение на подозреваемых лиц. По его распоряжению, для некоторых бедняков обыкновенные порции молока с господской фермы и овощей с огородов были решительно прекращены. Другим дано строгое приказание запираť своих свиней, которые будто бы врывались в господский парк, и, уничтожая жолуди, портили молодые деревья. Некоторым воспрещено было держать лягавых собак, потому что чрез это, по мнению Стирна, нарушались законы псовой охоты. Старухам, которых внуки в особенности не благоволили к сыну мистера Стирна, прекращено дозволение собирать по аллеям парка сухие сучья, под тем предлогом, что они ломали тут же и свежие, и, что всего обиднее было для молодого поколения деревни Гэзельден, так это строгое запрещение собираться для игр под тремя каштановыми, одним ореховым и двумя вишневыми деревьями, которые вместе с местом, занимаемым ими с времен незапамятных, были отданы в полное распоряжение гэзельденских юношей. Короче сказать, Стирн не пропускал ни одного случая где только можно было придраться к правому и виноватому, без всякого разбора. После этого покажется неудивительным, что выражения неудовольствия становились чаще и сильнее. Недовольные изливали свою досаду или эпиграммами на Стирна, или изображением его в карикатурном виде на самых видных местах. Одна из подобных карикатур в особенности обратила на себя внимание сквайра, в то время, как он проходил мимо колоды на образцовую ферму. Сквайр остановился и начал рассматривать ее, придумывая в то же время вернейшие средства к прекращению подобных шалостей. В этом-то положении, как мы уже сказали, и застал его мистер Дэль, отправлявшийся к нему с чрезвычайно важным известием.

– Вот кстати, так кстати, сказал мистер Гэзельден с улыбкой, которая, как он воображал, была приятная и непринужденная, но мистеру Дэлю она показалась чрезвычайно горькою и холодною: – не хотите ли полюбоваться моим портретом?

Мистер Дэль взглянул на карикатуру, и хотя сильно поражен был ею, но весьма искусно скрыл свои чувства. С благоразумием и кротостью он в ту же минуту старался отыскать какой нибудь другой оригинал для весьма дурно выполненного портрета.

– Почему же вы полагаете, что это ваш портрет? спросил мистер Дэль: – мне кажется, эта фигура скорее похожа на Стирна.

– Вы так думаете? сказал сквайр. – А к чему же эти ботфорты? Стирн никогда не носит ботфорт.

– Да ведь и вы их не носите, исключая разве тех случаев, когда отправляетесь на охоту. Впрочем, взглянитесь хорошенько; мне кажется, это вовсе не ботфорты: это – длинные штиблеты; а ведь вам самим известно, что Стирн любит часто щеголять в них. Кроме того, вон этот крючок, наброшенный, вероятно, для изображения носа, как нельзя более походит под крючковатую форму носа Стирна, между тем как ваш, по-моему мнению, ни в чем не уступает носу Апполона, который стоит в гостиной Риккабокка.

– Бедный Стирн! произнес сквайр, голосом, в котором обнаруживалось удовольствие, смешанное с сожалением. – Это почти всегда выпадает на долю верного слуги, который с ревностью исполняет обязанность, возложенную на него. Однако, вы замечаете мистер Дэль, что дерзости начинают заходить чересчур далеко, и теперь в том вопрос: какие должно принять меры для прекращения их? Подстеречь и поймать шалунов нет никакой возможности, так что Стирн советует даже учредить около колоды правильный ночной караул. Мне до такой степени непри-

ятно это, что я почти решился уехать отсюда в Брайтон или Лимингтон, а в Лимингтоне, должно вам сказать, чудная охота, и уехать на целый год, собственно затем, чтоб увидеть, что эти неблагодарные будут делать без меня!

При последних словах губы сквайра задрожали.

– Мой добрый мистер Гэзельден, сказал мистер Дэль, взяв за руку друга: – я не хочу щеголять своей мудростью; но согласитесь, куда как было бы хорошо, еслиб вы послушались моего совета; *quieta non movere*. Скажите откровенно; бывал ли гденибудь приход миролюбивее здешнего, видали ли вы гденибудь столь любимого своим приходом провинциального джентльмена, каким были вы до возобновления этой безобразной колоды, хотя вы и возобновили ее в том убеждении, что она будет придавать красу деревне?

При этом упреке в душе сквайра закипело сильное негодование.

– Так что же, милостивый государь, воскликнул он: – не прикажете ли мне срыть ее до основания?

– Прежде мне хотелось одного только – чтоб вы вовсе не возобновляли её, а оставили бы в первобытном виде; но если вам представится благовидный предлог разрушить ее, то почему же и не так? И, сколько я полагаю, предлог этот легко может представиться, – например (не мешает здесь обратить внимание читателя на искусный оборот в красноречии мистера Дэля, – оборот, достойный самого Риккабокка, и вместе с тем доказывающий, что дружба мистера Дэля с итальянским философом была небезполезна), – например, по случаю какогонибудь радостного события в вашем семействе... Положим, хоть свадьбу!

– Свадьбы! да, конечно; но какой свадьбы? не забудьте, что Франк только-только что сбросил с себя курточку.

– Извините: на этот раз я вовсе и не думал о Франке, – я хотел намекнуть на свадьбу вашей кузины Джемимы.

Сквайр до такой степени изумлен был этим неожиданным намеком, что отступил несколько назад и, за неимением лучшего места, сел на скамейку, составляющую принадлежность колоды.

Мистер Дэль, пользуясь минутным замешательством сквайра, немедленно приступил к изложению дела. Он начал с похвалы благоразумию Риккабокка и его совершенному знанию правил приличия, обнаруженному тем, что прежде формального объяснения с мисс Джемимой он просил непременно посоветоваться с мистером Гэзельденом. По уверению мистрисс Дэль, Риккабокка имел такое высокое понятие о чести и такое беспредельное уважение к священным правам гостеприимства, что в случае, еслиб сквайр не изъявил согласия на его предложения, то мистер Дэль был вполне убежден, что итальянец, в ту же минуту отказался бы от дальнейших притязаний на мисс Джемиму. Принимая в соображение, что мисс Гэзельден давно уже достигла зрелого возраста, в строгом смысле этого слова, и что все её богатство давно уже передано в её собственное распоряжение, мистер Гэзельден принужден был согласиться с заключением мистера Дэля, выведенным из его первого приступа, «что со стороны Риккабокка это была такая деликатность, какой нельзя ожидать от другого английского джентльмена». Заметив, что дело принимает весьма благоприятный оборот, мистер Дэль начал доказывать, что если мисс Джемиме придется рано или поздно выходить замуж (чему, конечно, сквайр не будет препятствовать), то желательнее было бы, чтоб она лучше вышла за такого человека, который, хотя бы это был и иностранец, но безукоризненного поведения, находился бы в ближайшем соседстве с мистером Гэзельденом, чем подвергаться опасности вступить в брак с какимнибудь искателем богатых невест на минеральных водах, куда мисс Джемима отправлялась почти ежегодно. После этого мистер Дэль слегка коснулся прекрасных качеств Риккабокка и заключил другим искусным оборотом речи, что этот превосходный свадебный случай представляет возможность сквайру предать колоду всесожжению и тем восстановить в селении Гэзельден прежнее спокойствие и тишину.

Задумчивое, но не угрюмое лицо сквайра при этом заключении совершенно прояснилось. Надобно правду сказать, сквайру до смерти хотелось отделаться от этой колоды, но само собою разумеется, отделаться удачно и без малейшей потери собственного своего достоинства.

Вследствие этого, когда мистер Дэль окончил свою речь, сквайр отвечал весьма спокойно и весьма благообразно:

«Что мистер Риккабокка поступил в этом случае, как должно поступить всякому благовоспитанному джентльмену, и за это он (т. е. сквайр) весьма много обязан ему; что он не имеет права вмешиваться в это дело; что Джемима в таких теперь летах, что сама может располагать своей рукой, и чем дальше отлагать это, тем хуже. – С своей стороны, продолжал сквайр: – хотя мне Риккабокка чрезвычайно нравится; но я никогда не подозревал, чтобы Джемима могла плениться его длинным лицом; впрочем, нельзя по своему собственному вкусу судить о вкусе других. Моя Гэрри в этом отношении гораздо проникательнее меня; она часто намекала мне на этот союз; но само собою разумеется, я всегда отвечал ей чистосердечным смехом. Оно, правда, мне показалось слишком что-то странным, когда этот монсир, ни с того, ни с другого, снял очки... ха, ха! Любопытно знать, что скажет нам на это Гэрри. Пойдемте к ней сию минуту и сообщим эту новость.»

Мистер Дэль, приведенный в восторг таким неожиданным успехом своих переговоров, взял сквайра под руку, и оба они, в самом приятном расположении духа, отправились в Гэзельден-Голл. При входе в цветочный сад, они увидели, что мистрисс Гэзельден срывала сухие листья и увядшие цветы с любимых своих розовых кустов. Сквайр осторожно подкрался к ней сзади и, быстро обняв её талию, крепко поцаловал её полную, гладкую щоку. Мимоходом сказать, по какому-то странному соединению понятий, он позволял себе подобную вольность каждый раз, как только в деревне затевалась чьянибудь свадьба.

– Фи, Вильям! произнесла мистрисс Гэзельден застенчиво и потом раскраснелась, когда увидела мистера Дэля. – Верно опять готовится новая свадьба! чья же это?

– Как вам покажется, мистер Дэль! воскликнул сквайр, с видом величайшего удивления: – она заранее догадывается, в чем дело! расскажите же ей все, – все.

Мистер Дэль повиновался.

Мистрисс Гэзельден, как может полагать каждый из моих читателей, обнаружила гораздо меньше удивления, чем её супруг. Она выслушала эту новость с явным удовольствием и сделала почти такой же ответ, какой сделан был сквайром.

– Синьор Риккабокка, говорила она: – поступил благородно. Конечно, девица из фамилии Гэзельденов могла бы сделать выгоднейшую партию; но так как она уже несколько промедлила отысканием такой партии, то с нашей стороны было бы напрасно и неблагоприятно противиться её выбору, если только это правда, что она решилась выйти за синьора Риккабокка. Что касается её приданого, в этом они сами должны условиться между собой. Все же не мешает поставить, на вид мисс Джемиме, что проценты с её капитала составляют весьма ограниченный доход. Что доктор Риккабокка вдовец, это опять совсем другое дело. Странно, однако, и даже несколько подозрительно, почему он так упорно скрывал до сих пор все обстоятельства прежней своей жизни. Конечно, его поведение весьма выгодно говорило в его пользу. Так как он для нас был не более, как обыкновенный; знакомый и притом еще арендатор, то никто не имел права делать какиенибудь нескромные осведомления. Теперь-же, когда он намерен вступить в родство с нашей фамилией, то сквайру, следовало бы по крайней мере знать о нем чтонибудь побольше: кто и что он такое? по каким причинам оставил, он свое отечество? Англичане ездят за границу для того собственно, чтоб сбересть лишнюю пенни из своих доходов; а нельзя предположить, чтобы чужеземец выбрал Англию за государство, в котором можно сократить свои расходы. По-моему мнению, иностранный доктор здесь недиковинка; вероятно, он был профессором какогонибудь итальянского университета. Во всяком случае, если сквайр всту-

пился в это дело, то он непременно должен потребовать от синьора Риккабокка некоторые объяснения.

– Ваши замечания, мистрисс Гэзельден, весьма основательны, сказал мистер Дэль. – Касательно причин, по которым друг наш Риккабокка покинул свое отечество, мне кажется, нам не нужно делать особенных осведомлений. По-моему мнению, он должен представить нам одни только доказательства о благородном своем происхождении. И если это будет составлять единственное затруднение, то надеюсь, что мы можем скоро поздравить мисс Гэзельден со вступлением в законный брак с человеком, который хотя и весьма беден, умел, однако же, перенести все лишения без всякого ропота, предпочел долгу все трудности, сделал предложение открыто, не обольщая сердца вашей кузины, – который, короче сказать, обнаружил в душе своей столько прямоты и благородства, что, надеюсь, мистрисс Гэзельден, мы извиним ему, если он только доктор, и, вероятно, доктор юриспруденции, а не какойнибудь маркиз или по крайней мере барон, за которых иностранцы любят выдавать себя в нашем отечестве.

– В этом отношении, вскричал сквайр: – надобно отдать Риккабокка полную справедливость: он и в помышлении не имел ослепить нас блеском какогонибудь титула. Благодаря Богу, Гэзельдены никогда не были большими охотниками до громких титулов; и если я сам не гнался за получением титула английского лорда, то, конечно, мне куда бы было как стыдно своего зятя, которого я принужден бы был называть маркизом или графом! Не менее того мне было бы неприятно, еслиб он был курьером или камердинером! А то доктор! Гэрри! да мы имели полное право гордиться этим: это в английском вкусе! Моя родная тетушка была замужем за доктором богословия... отличный был человек этот доктор! носил огромный парик и впоследствии был сделан деканом. Поэтому тут нечего и беспокоиться. Дело другое, еслиб он был какойнибудь фокусник: это было бы обидно. Между чужеземными господами в нашем отечестве бывают настоящие шарлатаны; они готовы, пожалуй, воровать для вас и скакать на сцене вместо паяца.

– Помилуй, Вильям! откуда ты заимствовал такие понятия? спросила Гэрри, с выражением сильного упрека.

– Откуда заимствовал! я сам видел такого молодца в прошлом году на ярмарке – ну вот еще когда я покупал гнедых – видел его в красном жилете и треугольной, приплюснутой шляпе. Он называл себя доктором Фоскофорино, носил напудренный парик и продавал пилюли! Презабавный был человек, настоящий паяц, – особливо в своих обтянутых розовато цвета панталонах, – кувыркался перед нами и сказывал, что приехал из Тимбукту. Нет, нет; избави Бог Джемиму попасть за такого человека: так и знай, что она перерядится в розовое платье с блестками и будет шататься по ярмаркам в труппе странствующих комедиантов.

При этих словах как сквайр, так и жена его так громко и так непринужденно засмеялись, что мистер Дэль считал дело решенным, и потому, воспользовавшись первой удобной минутой, откланялся сквайру и поспешил к Риккабокка с утешительным донесением.

Риккабокка, с весьма легким нарушением спокойствия и равнодушие, постоянно отражавшихся на его лице, выслушал известие о том, что предубеждение островитян и более выгодные виды всего семейства Гэзельден не представляли его искательству руки мисс Джемимы никаких затруднений. Это легкое волнение произошло в душе философа не потому, чтобы он страшился навсегда отказаться от близкой и безоблачной перспективы счастья, для которого он нарочно снял очки, чтоб смотреть на него открытыми глазами: нет! он уже достаточно приготовился к тому, – но потому, что ему так мало оказывали в жизни снисхождения, что он был тронут не только искренним участием в его благополучии человека совершенно чуждого ему по отечеству, по языку, образу жизни и самой религии, – но и великодушием, с которым его принимали, несмотря на его известную бедность и чужеземное происхождение, в родственном кругу богатой и старинной английской фамилии. Он соглашался удовлетворить один только пункт условия, переданного ему мистером Дэлем с деликатностью человека, которому,

по своей профессии, не в первый раз приходилось иметь дело с самыми нежными и щекотливыми чувствами. Этим пунктом требовалось отыскать между друзьями или родственниками Риккабокка особу, которая подтвердила бы убеждение сквайра в благородстве происхождения итальянца. Он согласился, я говорю, с основательностью этого пункта, но не обнаружил особенного расположения и усердия исполнить его. Лицо его нахмурилось. Мистер Дэль поспешил уверить его, что сквайр был не из числа тех людей, которые слишком гонятся за титулами, но что он желал бы открыть в будущем своем зяте звание не ниже того, которое, судя по воспитанию и дарованиям Риккабокка, оправдывало бы сделанный им шаг требовать руки благородной девицы.

Итальянец улыбнулся.

– Мистер Гэзелден будет удовлетворен, сказал он весьма хладнокровно. – Из газет сквайра я узнал, что на днях прибыл в Лондон один английский джентльмен, который был коротко знаком со мной в моем отечестве. Я напишу к нему и попрошу его засвидетельствовать мою личность и мое хорошее происхождение. Вероятно, и вам не безызвестно имя этого джентльмена, – даже должно быть известно, как имя офицера, отличившего себя в последней войне. Его зовут лорд Л'Эстрендж.

Мистер Дэль вздрогнул.

– Вы знаете лорда Л'Эстренджа? Я боюсь, что это распутный, дурной человек.

– Распутный! дурной! воскликнул Риккабокка. – Как ни злословен наш мир, но я никогда не думал, чтобы подобные выражения были применены к человеку, который впервые научил меня любить и уважать вашу нацию.

– Быть может, он переменялся с того времени...

Мистер Дэль остановился.

– С какого времени? спросил Риккабокка с очевидным любопытством.

Мистер Дэль, по видимому, приведен был в замешательство.

– Извините меня, сказал он: – тому уже много лет назад; впрочем, надобно вам сказать, что мнение, составленное мною в ту пору об этом джентльмене, было основано на обстоятельствах, которых я не могу сообщить.

Вежливый итальянец молча поклонился, но глаза его выражали, как будто он хотел продолжать дальнейшие расспросы.

– Каковы ни были ваши впечатления касательно лорда Л'Эстренджа, сказал Риккабокка после непродолжительного молчания: – я полагаю, в них не скрывается ничего, что могло бы заставить вас сомневаться в его чести, или не признать действительным его отзыв о моей личности?

– Да, основываясь на светских понятиях о нравственности, отвечал мистер Дэль, стараясь быть как можно определительнее: – сколько я знаю о лорде Л'Эстрендже, нельзя допустить предположения, что в этом случае он скажет неправду. Кроме того, он пользуется именем заслуженного воина и занимает почетное положение в обществе.

Разговор прекратился, и мистер Дэль простился с Риккабокка.

Спустя несколько дней, доктор Риккабокка отправил к сквайру в конверте, без всякой надписи, письмо, полученное им от лорда Л'Эстренджа. По всему видно было, что этому письму предназначалось встретиться со взорами сквайра и служить верным ручательством за прекрасное имя и происхождение доктора. Оно не было написано по форме обыкновенного свидетельства, но с соблюдением всех условий деликатности, обнаруживавших более чем хорошее образование, какого должно было ожидать от человека в положении лорда Л'Эстренджа. Изысканные, но нехолодные, выражения учтивости, – выражения, переданные бумаге прямо от сердца, тон искреннего уважения к особе Риккабокка, говоривший в пользу его, сильнее всякого формального свидетельства о его качествах и предшествовавших обстоятельствах его

жизни, были весьма достаточны, чтоб устранить всякие сомнения в душе человека, гораздо неверчивее и пунктуальнее сквайра Гэзельдена.

Таким образом счастью Риккабокка и мисс Гэзельден все благоприятствовало.

## Глава XXIV

Никакое событие в жизни людей высшего сословия не пробуждает такой симпатичности в людях, поставленных в общественном быту на низшую ступень, как свадьба.

С той минуты, как слух о предстоящей свадьбе распространился по деревне, вся прежняя любовь поселян к сквайру и его фамилии снова была вызвана наружу. Снова искренние приветствия встречали сквайра у каждого дома в деревне, в то время, как он проходил мимо их, отправляясь на ферму, – снова загорелые и угрюмые лица поселян принимали веселый вид при его поклоне. Мало того: деревенские ребяташки снова собирались для игр на любимое место.

Сквайр еще раз испытывал в душе своей всю прелесть той особенной приверженности, приобрести которую стоит дорого и потерю которой благоразумный человек весьма справедливо стал бы оплакивать, – приверженности, проистекающей из уверенности в нашу душевную доброту. Подобно всякому блаженству, сильнее ощущаемому после некоторого промежутка, сквайр наслаждался возвращением этой приверженности с каким-то отрадным чувством, наполнявшим все его существование; его мужественное сердце билось чаще и сильнее, его тяжелая поступь сделалась гораздо легче, его красивое английское лицо казалось еще красивее и еще сильнее выражало тип англичанина; вы сделались бы на целую неделю веселее, еслиб только до вашего слуха долетел его громкий смех, выходявший из самой глубины его сердца.

Сквайр в особенности чувствовал признательность к Джемиме и Риккабокка, как к главным виновникам этой общей *inlegratio amoris*. Взглянув на него, вы, право, подумали бы, что он сам готовится вторично праздновать свадьбу с своей Гэрри! Что касается приходской колоды, то судьба её была непременно решена.

Да, это была самая веселая свадьба, – деревенская свадьба, в которой все принимали участие от чистого сердца. Деревенские девушки посыпали дорогу цветами; в самой лучшей, живописной части парка, на окраине спокойного озера, устроен был открытый павильон и украшен также цветочными гирляндами: этот павильон предназначался для танцев; для поселян был зажарен целый бык. Даже мистер Стирн... впрочем, нет! мистер Стирн не присутствовал на этом торжестве: видеть так много радости и счастья было бы для него убийственно! И для кого же это делалось все? для чужеземца, который умышленно освободил из колоды мальчишку Ленни и сам посадил себя в эту колоду, единственно с той целью, чтоб сделать опыт над самим собою; Стирн был уверен, что мисс Джемима выходила замуж за чернокнижника, и тщетно стали бы вы стараться убедить его в противном. Поэтому мистер Стирн выпросил позволение уехать на этот день из деревни и отправился к своему родному дядюшке, занимавшемуся исключительно ссудой неимущим денег под заклад вещей. Франк также присутствовал на этой свадьбе: на этот случай его нарочно взяли из Итонской школы. С тех пор, как Франк оставил после каникул Гэзельден-Голл, он вырос на целые два вершка; с своей стороны, мы полагаем, что за один из этих вершков он много был обязан природе, а за другой – еще более новой паре великолепных веллингтоновских сапогов. Однако же, радость этого юноши в сравнении с другими была не так заметна. Это происходило оттого, что Джемима всегда особенно благоволила к нему, и что, кроме снисходительности и нежности, постоянно оказываемой Франку, она, возвращаясь в Гэзельден из какого нибудь приморского местечка, каждый раз привозила ему множество хорошеньких подарков. Франк чувствовал, что, лишаясь Джемимы, он лишался весьма многого, и полагал, что она сделала весьма странный, даже ни с чем несообразный выбор.

И капитан Гиджинботэм был также приглашен на свадьбу: но, к крайнему изумлению Джемимы, он отвечал на это приглашение письмом, адресованным на её имя и с надписью на уголке: «*по секрету*».

«Она должна знать давно – говорил он между прочим – об его глубокой преданности к ней. Одна только излишняя деликатность, проистекающая от весьма ограниченных его доходов, благородство чувств его и врожденная скромность удерживали его от формального предложения. Теперь же, когда ему стало известно (о! я едва верю в свои чувства и с трудом удерживаю порывы отчаяния!), что её родственники принуждают ее вступить в *бесчеловечный* брак с чужеземцем, *самой предосудительной наружности*, он не теряет ни минуты повергнуть к стопам её свое собственное сердце и богатство. Он делает это тем смелее, что ему уже несколько знакомы *сокровенные* чувства мисс Джемимы в отношении к нему; в то же время он с особенной *гордостью* и с беспредельным *счастьем* должен сказать, что его неоцененный кузен мистер Шарп Корре удостоил его самым искренним родственным расположением, оправдывающим самые *блестящие ожидания*, которым, весьма вероятно, суждено в скором времени осуществиться, так как его превосходный родственник получил на службе в Индии сильное расстройство печени и нет никакой надежды на продолжительность его существования!»

Весьма странным покажется, быть может, моим читателям, но мисс Джемима, несмотря на продолжительное знакомство, никогда не подозревала в капитане чувства нежнее братской любви. Сказать, что ей не понравилось открытие своей ошибки, мне кажется тоже самое, что сказать, что она была более, чем обыкновенная женщина. Решительным отказом столь блестящего предложения она могла доказать свою бескорыстную любовь к её неоцененному Риккабокка, а это, согласитесь, должно было составлять источник величайшего торжества. Правда, мисс Джемима написала отказ в самых мягких, утешительных выражениях, но капитан, как видно было, чувствовал себя оскорбленным: он не ответил на это письмо и не приехал на свадьбу.

Чтоб посвятить читателя в некоторые тайны, неведомые мисс Джемиме, мы должны сказать, что, делая это предложение, капитан Гиджинботэм был руководим более Плутусом, чем Купидоном. Капитан Гиджинботэм был одним из класса джентльменов, считающих свои доходы по тем блуждающим огонькам, которые называются *ожиданиями*. С самых тех пор, как дедушка сквайра завещал капитану, в ту пору еще ребенку, 500 фунтов стерлингов, капитан населил свою будущность ожиданиями. Он рассуждал о своих ожиданиях, как рассуждает человек об акциях общества застрахования жизни; от времени до времени они изменялись, то повышаясь, то понижаясь, но капитан Гиджинботэм ни под каким видом не хотел допустить мысли, что он рано или поздно не сделается миллионером, – само собою разумеется, если только жизнь его продлится. Хотя мисс Джемима была пятнадцатю годами моложе его, но, несмотря на то, в призрачных книгах капитана она занимала место, соответствующее весьма значительному капиталу, или, вернее сказать, она составляла *ожидание* на капитал в четыре тысячи фунтов стерлингов.

Опасаясь, чтоб из его главной счетной книги не вычеркнулась такая огромная цифра, опасаясь, чтобы такой значительный куш не исчез чисто на чисто из фамильного капитала, капитан Гиджинботэм решился сделать, как он воображал, если не отчаянный, зато по крайней мере верный шаг к сохранению своего благосостояния. Если нельзя овладеть золотыми рогами без тельца, то почему же не взять и самого тельца в придачу? Он никак не воображал, чтобы такой нежный телец мог бодаться. Удар был оглушительный. Впрочем, никто, я думаю, не станет сожалеть о несчастиях человека алчного, и потому, оставив бедного капитана Гиджинботэма поправлять свои мечтательные богатства, как он сам признает за лучшее, насчет «блестящих ожиданий», скопившихся вокруг особы мистера Шарпа-Корре, я возвращаюсь к гзельденской свадьбе, в самую настоящую пору, чтоб любоваться женихом. Риккабокка был весьма замечателен при этой okazji. Взгляните, как он ловко помогает своей неве-

сте сесть в карету, которую сквайр подарил ему, и с каким радостным лицом отправляется он в церковь, среди благословений толпы поселян, между тем как невеста, глаза которой подернуты слезой и лицо озарено улыбкой счастья, была весьма интересная и даже милая невеста. Для людей, неимеющих привычки углубляться в размышления, странным покажется, что деревенские зрители так искренно одобряли и благословляли брак в фамилии Гэзельден с бедным выходцем, длинноволосым чужеземцем; но кроме того, что Риккабокка сделался уже одним из добрых соседей и приобрел название «вежливого джентльмена», надобно принять в соображение и то замечательное в своем роде обстоятельство, по которому, при всех вообще свадебных случаях, невеста до такой степени овладевает участием, любопытством и восхищением зрителей, что жених делается уже не только лицом второстепенным, но почти ничем. Он тут просто какое-то недействующее лицо во всем представлении – забытый виновник общей радости. Так точно и теперь: поселяне не на Риккабокка сосредоточивали свой восторг и благословения, но на джентльмене в белом жилете, которому суждено изменить для мисс Джемимы фамилию Гэзельден на Риккабокка.

Склоняясь на руку своей жены – надобно заметить здесь, что в тех случаях, когда сквайр испытывал в душе своей особенное удовольствие, он всегда склонялся на руку жены, а не жена на его руку, и, право, было что-то трогательное при виде, как этот сильный, здоровый, могучий стан, в минуты счастья, искал, сам не замечая того, опоры на слабой руке женщины – склоняясь на руку жены, как я уже сказал, сквайр, около захождения солнца, спустился к озеру, к тому месту, где устроен был павильон.

Весь приход – молодые истарые, мужчины, женщины и ребятишки, – все собралось в павильон, и лица их, обращенные к радушной, отеческой улыбке своего господина, носили, под влиянием восторга, одинаково одушевлявшего всех, отпечаток одного фамильного сходства. Сквайр Гэзельден остановился при конце длинного стола, налил роговую чашу элем из полного жестяного кувшина, окинул взором собрание и поднял кверху руку, требуя этим молчания и тишины. Потом встал он на стул и явился перед поселянами в полном виде. Каждый из присутствовавших понял, что сквайр намерен произнести *спич*, и потому напряженное внимание сделалось пропорциональным редкости события: сквайр в течение жизни только три раза обращался с речью к поселянам Гэзельдена (хотя он нередко обнаруживал свои таланты красноречия), и эти три раза были следующие: раз по случаю фамильного праздника, когда он представлял народу свою невесту, другой раз – во время спорного выбора, в котором он принимал более чем деятельное участие и был не так трезв, как бы следовало, в третий раз – по поводу великого бедствия в земледельческом мире, когда, смотря на уменьшение арендных доходов, многие фермеры принуждены были отпустить своих работников и когда сквайр говорил: «я отказал себе в гончих потому собственно, что намерен сделать в парке своем хорошенькое озеро и спустить все низменные места, окружавшие парк. Кто хочет работать, пусть идет ко мне!» И надобно сказать, что в ту несчастную годину в Гэзельдене никто не мог пожаловаться на стеснительность положения своего.

Теперь сквайр решился публично произнести спич в четвертый раз. По правую сторону от него находилась Гэрри, по левую – Франк. На другом конце стола, в качестве вице-президента, стоял мистер Дэль, позади его – маленькая жена его, которая приготовилась уже плакать и на всякий случай держала у глаз носовой платочек.

«– Друзья мои и ближайшие соседи! начал сквайр: – благодарю вас от души, что вы собрались сегодня вокруг меня и принимаете такое усердное участие во мне и в моем семействе. Моя кузина, не то что я, не родилась между вами; но вы знакомы с ней с её раннего детства. Вы будете сожалеть о том, что её лицо, всегда ласковое, не показывается у дверей ваших коттэджов, так как я и мое семейство долго будем сожалеть о том, что её нет в нашем кругу....»

При этих словах между женщинами послышались легкия рыдания, между тем как на месте мистрисс Дэль виднелся один только беленький платочек. Сквайр сам остано-

вился и отер ладонью горячую слезу. Потом он стал продолжать, с такой внезапной переменой в голосе, которая произвела электрическое действие;

«— Мы тогда только умеем ценить счастье, когда лишаемся его! Друзья мои и соседи! назад тому немного времени казалось, что в ваше селение проникло чувство недоброжелательства к ближнему, — чувство несогласия между вами, друзья, и мной! Это, мне кажется, не шло бы для нашего селения.

Слушатели повесили головы. Вам, я полагаю, никогда не случалось видеть людей, которые бы так сильно стыдились самих себя. Сквайр продолжал:

«— Я не говорю, что в этом виноваты вы: быть может, тут есть и моя вина.

— Нет, нет, нет! раздалось из толпы.

«— Позвольте, друзья мои, продолжал сквайр, с покорностью, и употребляя один из тех поясняющих афоризмов, которые если не сильнее афоризмов Риккабокка, зато были доступнее понятиям простого народа: — позвольте! мы все смертные, каждый из нас имеет своего любимого конька; иногда седок сам выезжает своего конька, иногда конек, особенно если он крепкоуздый, объезжает седока. У одного конек имеет весьма дурную привычку всегда останавливаться у питейного дома! (*Смех.*) У другого он не сделает и шагу от ворот, где какаянибудь хорошенькая девушка приласкала его за неделю: на этом коньке я сам частенько ездил, когда ухаживал за моей доброй женой! (*Громкий смех и рукоплескания.*) У иных бывает ленивый конек, который терпеть не может двигаться вперед; у некоторых такой горячий, что никаким образом не удержишь его... Но, не распространяясь слишком, скажу вам откровенно, что мой любимый конек, как вам самим известно, всегда мчится к какомунибудь месту в моих владениях, где требуются глаз и рука владетеля! Терпеть не могу (*вскричал сквайр, с усиливающимся жаром*) видеть, как некоторые предметы остаются в небрежности, теряют прежний свой вид и пропадают! Земля, на которой мы живем, для нас добрая мать; следовательно, для неё мы не можем сделать чегонибудь особенного. По истине, друзья мои, я обязан ей весьма многим и считаю долгом отзываться о ней хорошо; но что же из этого следует? я живу между вами, и все, что принимаю от вас одной рукой, я делю между вами другой. (*Тихий, но выражающий согласие ропот.*) Чем более пекусь я об улучшении моего имения, тем большее число людей питает это имение. Мой прадед вел *полевою книгу*, в которой записывал не только имена всех фермеров и количество земли, занимаемое ими, но и число работников, которое они нанимали. Мой дед и отец следовали его примеру; я сделал то же самое, и нахожу, друзья мои, что наши доходы удвоились с тех пор, как мой прадед начал вести книгу, число работников учетверилось, и все они получают гораздо большее жалованье! Следовательно, эти факты служат ясным доказательством тому, что должно стараться улучшить имение, но отнюдь не оставлять его в небрежении. (*Рукоплескание.*) Поэтому, друзья мои, вы охотно извините моего конька: он доставляет помол на вашу мельницу. (*Усиленные рукоплескания.*) Но вы, пожалуй, спросите: «куда же мчится наш сквайр?» А вот куда, друзья мои: во всем селении нашем находилось всего только одно обветшалое, устарелое, полу-разрушенное место: оно было для меня как бельмо на глазу: вот я и оседлал моего конька и поехал. Ага! вы догадываетесь, куда я мечу! Да, друзья мои, не следовало бы вам принимать это так близко к сердцу. Вы до того озлобились против меня, что решились изображать мой портрет в карикатурном виде.

— Это не ваш портрет! раздался голос в толпе — это портрет Ника Стирна.

Сквайр узнал голос медника и хотя догадывался, что этот медник был главным зачинщиком, но в этот день всепрощения сквайр имел довольно благоразумия и великодушие, чтоб не сказать: «выйди вперед, Спротт: тебя-то мне и нужно.» Несмотря на то, ему не хотелось, однако же, чтобы этот негодяй отделался так легко.

«— Так вы говорите, что это был Ник Стирн, продолжал сквайр, весьма серьезно:— тем более должно быть стыдно вам. Это так мало похоже на поступок гзельденских поселян, что я подозреваю, что это было сделано человеком, который вовсе не принадлежит к нашему при-

ходу. Впрочем, что было, то и прошло. Ясно тут одно только, что вы очень не благоволите к приходской колоде. Она служила для всех камнем преткновения и источником огорчения, хотя нельзя отвергать того, что мы можем обойтись и без неё. Я даже могу сказать, что, на зло ей, между нами снова восстановилось доброе согласие. Я не могу выразить удовольствия, когда увидел, что, ваши дети снова заиграли, на любимом своем месте и честные ваши лица засияли радостью при одной мысли, что в Гэзельден-Голле готовится радостное событие. Знаете ли, друзья, мои, вы, привели мне на ум старинную историйку, которую, кроме, применения её к приходу, вероятно, запомнят все женатые и все, кто намерен жениться. Почтенная чета, по имени Джон и Джоана, жили счастливо в течение многих лет. В один несчастный день вздумалось им купить новую подушку. Джоана говорила, что подушка эта слишком жестка, а Джон утверждал, что она слишком мягка. Само собою разумеется, что после этого спора они поссорились, а на ночь согласились положить подушку между собой...

(Между мужчинами поднимается громкий хохот. Женщиныне знают, в которую сторону смотреть, и все сосредоточивают свои взоры на мистрисс Гэзельден, которая хотя и разругалась более обыкновенного, но, сохраняя свою невинную, приятную улыбку, как будто говорила тем: «не беспокойтесь, в шутках сквайра не может быть дурного.»)

Оратор снова начал:

«— Недовольные супруги молча продолжали покоиться в этом положении несколько времени, как вдруг Джон чихнул. «Будь здоров!» сказала Джоана через подушку. «Ты говоришь, Джоана, будь здоров! ну так прочь подушку! совсем не нужно её.»

(Продолжительный хохот и громкая рукоплескания.)

«— Так точно, друзья мои и соседи, сказал сквайр, когда наступила тишина, и поднимая чашу с пивом: — и между нами стояла колода и была причиной нашего несогласия. Теперь же считаю: за особенное удовольствие уведомить вас, что я приказал срыть эту колоду до основания. Но помните, если вы заставите сожалеть о потере колоды и если окружные надсмотрщики придут ко мне с длинными лицами и скажут: «колоду должно, выстроить снова», тогда...

Но при этом со стороны деревенских юношей поднялся такой оглушительный крик, что сквайр показал бы из себя весьма дурного оратора, еслиб сказал еще хоть одно слово по этому предмету. Он поднял над головой чашу с пивом и вскричал:

— Теперь, друзья мои, я снова вижу перед собой моих прежних гэзельденских поселян! Будьте здоровы и счастливы на многие лета!

Медник, украдкой, оставил пирующее собрание и не показывался в деревню в течение следующих шести месяцев.

## Глава XXV

Супружество принадлежит к числу весьма важных эпох в жизни, человека. Никому не покажется удивительным заметить значительное, изменение в своем друге, даже а в таком случае, если этот друг испытывал супружескую жизнь не более недели. Эта перемена в особенности была заметна, в мистере и мистрисс Риккабокка. Начнем прежде говорить о лэди, как подобает каждому вежливому джентльмену. Мистрисс Риккабокка совершенно сбросила с себя меланхоличность, составлявшую главную характеристику мисс Джемимы; она сделалась развязнее, бодрее, веселее и казалась, вследствие такой перемены, гораздо лучше и милее. Она не замедлила выразить мистрисс Дэль откровенное признание в том, что, по теперешнему её мнению, свет еще очень далеко находился от приближения к концу. В этом уповании она не забывала обязанностей, которые внушал ей новый образ жизни, и первым делом поставила себе «привести свой дом в надлежащий порядок». Холодное изящество, обнаруживающее во всем бедность и скупость, исчезло как очарование, или, вернее, изящество осталось, но холод и скупость исчезли перед улыбкой женщины. После женитьбы своего господина Джейкимо ловил теперь миног и пискарей собственно из одного только удовольствия. Как Джейкимо, так и Риккабокка заметно пополнили. Короче сказать, прекрасная Джемима сделалась превосходною женой. Риккабокка хотя в душе своей и считал ее небережливую, даже расточительною, но, как умный человек, раз и навсегда отказался заглядывать в домашние счета и кушал росбиф с невозмутимым спокойствием.

В самом деле, в натуре мистрисс Риккабокка столько было непритворной нежности, под её спокойной наружностью так радостно билось сердце Гэзельденов, что она как нельзя лучше оправдывала все приятные ожидания мистрисс Дэль. И хотя доктор не хвалился шумно своим счастьем, хотя не старался выказать своего блаженства, как это делают некоторые новобрачные, перед угрюмыми, устарелыми четами, не хотел ослеплять своим счастьем завистливые взоры одиноких, но все же вы легко можете усмотреть, что против прежнего он куда как далеко казался и веселее и беспечнее. В его улыбке уже менее замечалось иронии, в его учтивости – менее холодности. Он перестал уже с таким прилежанием изучать Макиавелли, ни разу не прибежал к своим очкам, а это, по нашему мнению, признак весьма важный. Кроме того, кроткое влияние опрятной английской жены усматривалось в улучшении его наружности. Его платье, по видимому, сидело на нем гораздо лучше и было новее. Мистрисс Дэль уже более не замечала оторванных пуговок на обшлагах и оставалась этим как нельзя более довольна. В одном только отношении мудрец не хотел сделать ни малейших изменений: он по-прежнему оставался верным своей трубке, плащу и красному шелковому зонтику. Мистрисс Риккабокка (отдавая ей полную справедливость) употребляла все невинные, позволительные доброй жене ухищрения против этих трех останков от старого вдовца, но тщетно: «*Anima tua* – говорил доктор, со всею нежностью – я храню этот плащ, зонтик и эту трубку как драгоценные воспоминания о моем отечестве. Имей хоть ты к ним уважение и пощади их.»

Мистрисс Риккабокка была тронута и, по здоровом размышлении, видела в этом одно только желание доктора удержать за собой некоторые признаки прежней своей жизни, с которыми охотно согласилась бы жена даже в высшей степени самовластная. Она не восставала против плаща, покорялась зонтику, скрывала отвращение от трубки. Принимая ко всему этому в расчет врожденную в нас склонность к порокам, она в душе своей сознавалась, что будь она сама на месте мужчины, то, быть может, от неё стало бы чтонибудь гораздо хуже. Однакожь, сквозь все спокойствие и радость Риккабокка весьма заметно проглядывала грусть и часто сильное душевное беспокойство. Это началось обнаруживаться в нем со второй недели после бракосочетания и постепенно увеличивалось до одного светлого, солнечного после-полудня. В это-то время доктор стоял на своей террасе, всматриваясь на дорогу, на которой, по какому-

то случаю, стоял Джакеймо. Но вот у калитки его остановилась почтовая карета. Риккабокка сделал прыжок и положил обе руки к сердцу, как будто кто прострелил этот орган, потом перескочил через балюстраду, и жена его видела, как он, с распущенными волосами, полетел по склону небольшого возвышения и вскоре скрылся из её взора за деревьями.

«Значит, с этой минуты я второстепенное лицо в его доме – подумала мистрисс Риккабокка с мучительным чувством супружеской ревности. – Он побежал встретить свою дочь!»

И при этой мысли слезы заструились из её глаз.

Но в душе мистрисс Риккабокка столько скрывалось дружелюбного чувства, что она поспешила подавить свое волнение и изгладить, сколько возможно, следы минутной горести. Сделав это и упрекнув свое самолюбие, добрая женщина быстро спустилась с лестницы и, осветив лицо свое самою приятною улыбкою, выступила на террасу.

Мистрисс Риккабокка получила за все это надлежащее возмездие. Едва только вышла она на открытый воздух, как две маленькие ручки обвили её вокруг неё и пленительный голос, какой когда либо слетал с уст ребенка, умоляющим тоном, хотя и на ломаном английском наречии, произнес:

– Добрая мама, полюби и меня немножко.

– Полюбить тебя, мой ангел? о, я готова от всей души! вскричала мачиха, со всею искренностью и нежностью материнского чувства, и вместе с тем прижала к груди своей ребенка.

– Бог да благословит тебя, жена! произнес Риккабокка, дрожащим голосом.

– Пожалуйте, сударыня, примите вот и это, прибавил Джакеймо, сколько позволяли ему слезы. И он отломил большую ветку, полную цветов, от своего любимого померанцевого дерева, и всунул ее в руку своей госпожи.

Мистрисс Риккабока решительно не постигала, что хотел Джакеймо выразить этим поступком.

Виоланта была очаровательная девочка. Взгляните на нее теперь, когда она, освобожденная от нежных объятий, стоит, все еще прильнув одной рукой к своей новой маме и протянув другую руку Риккабокка. Вглядитесь в эти большие черные глаза, плавающие в слезах счастья. Какая пленительная улыбка! какое умное, откровенное лицо! Она сложена очень нежно: очевидно, что она требует попечения, она нуждается в матери. И редкая та женщина, которая не полюбила бы этого ребенка с чувством матери. Какой невинный, младенческий румянец играет на её чистых, гладеньких щечках! сколько прелести и натуральной грации в её тонком стане!

– А это, верно, твоя няня, душа моя? спросила мистрисс Риккабокка, заметив смуглую иностранку, одетую весьма странно – без шляпки и без чепчика, но с огромной серебряной стрелой, пропущенной сквозь косу, и крупными бусами на шейном платке.

– Это моя добрая Анета, отвечала Виоланта по итальянски. – Папа, она говорит, что ей нужно воротиться домой; но ведь она останется здесь? не правда ли?

Риккабокка, незамечавший до этой минуты незнакомую женщину, изумился при этом вопросе, обменялся с Джакеймо беглым взглядом и потом, пробормотав что-то в роде извинения, приблизился к няне и, предложив ей следовать за ним, ушел в отдаленную часть своих владений. Он возвратился спустя более часу, но уже один, без женщины. В нескольких словах, он объяснил своей жене, что няня должна немедленно отправиться в Италию, что она теперь же пошла в деревню – встретить там почтовую карету; что в доме их она была бы совершенно бесполезна, тем более, что она ни слова не знает по английски, и наконец выразил свои опасения, что Виоланта будет очень сокрушаться о ней. И действительно, первое время Виоланта скучала по своей Анете. Но для ребенка, такого нежного и признательного, как Виоланта, отыскать отца, находиться под его кровом было великим счастьем; и, конечно, она не могла быть грустной, когда к всегдашнему утешению её находился подле неё отец.

В течение первых дней Риккабокка, кроме себя, никому не позволял находиться подле дочери. Он не хотел даже допустить и того, чтоб Виоланта оставалась одна с Джемимой, Они вместе гуляли и вместе по целым часам просиживали в бельведере. Но потом Риккабокка постепенно начал поручать ее попечениям Джемимы и просил учить ее в особенности английскому языку, из которого Виоланта, по прибытии в казино, знала несколько необходимых фраз, вытверженных наизусть.

В доме Риккабокка находилось одно только лицо, которое оставалось крайне недовольным как женитьбой своего господина, так и прибытием Виоланты, и это лицо было никто другой, как друг наш Ленни Ферфильд. Философ совершенно прекратил принимать участие в разработке этого грубого ума, который употреблял все усилия, чтоб озарить себя светом науки. Но в течение сватовства и ввремя свадебного периода Ленни Ферфильд быстро переходил из своего искусственного положения – в качестве ученика философа, в положение натуральное – в ученика садовника. По прибытии же Виоланты, он, к крайнему и весьма естественному прискорбию своему, увидел, что не только Риккабокка, но и Джакеймо совершенно забыли его. Правда, Риккабокка продолжал ссужать его своими книгами и Джакеймо продолжал читать ему лекции о земледелии, но первый из них не имел ни времени, ни расположения развлекать себя приведением в порядок удивительного хаоса, который производили книги в идеях мальчика; а последний весь предался алчности к тем золотым рудам, которые погребены были под акрами полей, принятых от сквайра до прибытия дочери Риккабокка. Джакеймо полагал, что приданое для Виоланты не иначе можно составить, как продуктами с этих полей. Теперь же, когда прекрасная барышня действительно находилась на глазах верного слуги, его трудолюбию сделан был такой сильный толчок, что он ни о чем больше не думал, как об одной только земле и перевороте, который намеревался сделать в её произведениях. Весь сад, за исключением только померанцевых деревьев, поручен был Ленни, а для присмотра за полями нанято было еще несколько работников. Джакеймо сделал открытие, что одна часть земли как нельзя лучше годилась под посев лавенды, а на другой могла бы расти прекрасная ромашка. Он мысленно отделял небольшую часть поля, покрытого тучным черноземом, под посев льну: но сквайр сильно восставал против этого распоряжения. Было время, когда в Англии посев этого зерна, самого прибыльного из всех зерен, употреблялся довольно часто, но теперь вы не найдете ни одного контракта на откупное содержание земли, в котором не было бы сделано оговорки, воспреещающей посев льну, который сильно истощает плодотворное качество земли. Хотя Джакеймо и старался теоретически доказать сквайру, что лен содержит в себе частицы, которые, превращаясь в землю, вознаграждают все, что отнимается зерном, но мистер Гэзельден имел свои старинные предубеждения, которые трудно, или, вернее сказать, невозможно было победить.

– Мои предки, говорил он: – включили это условие в поземельные контракты не без основательной причины; а так как казино записано на Франка, то я не имею права исполнять на его счет ваши чужеземные выдумки.

Чтоб вознаграждать себя за потерю такого выгодного посева, как лен, Джакеймо решился обратить весьма обширный кусок пажити под огород, который, по его предположениям, к тому времени, как выходить мисс Виоланте замуж, будет приносить чистого дохода до десяти фунтов с акра. Сквайр сначала не хотел и слышать об этом; но так как тут ясно было, что земля с каждым годом будет удобряться и современем пригодится под фруктовый сад, то и согласился уступить Джакеймо требуемую часть поля.

Все эти перемены оставляли бедного Ленни Ферфильда на собственный его произвол в то время, когда новые и странные идеи, неизбежно возникающие при посвящении юноши в книжную премудрость, более всего требовали верного направления под руководством развитого и опытного ума.

Однажды вечером, возвращаясь в коттедж своей матери с угрюмым лицом и в весьма унылом расположении духа, Ленни Ферфильд совершенно неожиданно наткнулся на мистера Спротта, странствующего медника.

Мистер Спротт сидел около изгороди и на досуге постукивал в старый дырявый котел. Перед ним разведен был небольшой огонь, а не вдалеке от него дремал его смиренный осел. Медник приветливо кивнул головой, когда Ленни поровнялся с ним.

– Добрый вечер, Ленни, сказал он: – приятно слышать, что ты получил хорошее место у этого монсира.

– Да, отвечал Ленни, и на лице его отразилась злоба, вероятно, вследствие неприятных воспоминаний. – Теперь вам не стыдно говорить со мной, когда я остался по-прежнему честным мальчиком. Но мне угрожало бесчестие, хотя и безвинно, и тогда этот джентльмен, которого, не знаю почему вы называете монсиром, оказал мне величайшую милость.

– Слышал, Ленни, слышал, отвечал медник, растягивая слово «слышал», не без особого значения. – Только жаль, что этот настоящий джентльмен гол как сокол; бедный медник поставлен был бы в затруднительное и щекотливое положение, еслиб пришлось ему иметь дело с этим джентльменом. Впрочем присядь-ка, Ленни, на минутку: мне нужно кое о чем поговорить с тобой.

– Со мной?

– Да, с тобой. Толкни животину-то в сторону да и садись вот сюда.

Ленни весьма неохотно и, в некоторой степени, с сохранением своего достоинства принял приглашение.

– Я слышал, сказал медник, довольно невнятно, потому что в зубах его зажаты были два гвоздя: – я слышал, что ты сделался необыкновенным любителем чтения. Вон в этом мешке у меня есть дешевенькие книга; не хочешь ли, продам тебе?

– Мне хотелось бы сначала посмотреть их, сказал Ленни, и глаза его засверкали.

Медник встал, раскрыл одну из двух корзин, перекинутых через хребет осла, вынул оттуда мешок и, положив его перед Ленни, сказал, чтобы он выбирал книги, какие понравятся. Крестьянский юноша ничего не мог желать лучшего. Он высыпал на траву все содержание мешка, и перед ним явилась обильная и разнообразная пища для его ума, – пища и отравы – *serpentes avibus*, – добро и зло. Тут лежал «Потерянный Рай» Мильтона, там «Век рассудка», далее «Трактаты методистов», «Золотые правила для общественного быта», «Трактаты об общепользовательных сведениях», «Воззвания к ремесленникам», написанные лжеумствованиями, подстрекаемыми тем же самым стремлением к славе, когорая была для Герострата побудительной причиной к сожжению храма, причисленного к одному из чудес света. – Тут же лежали и произведения фантазии неподражаемой, как, например, «Робинзон Крузо», или невинной – как «Старый Английский Барон», в том числе и грубые переводы всей чепухи, имевшей такое пагубное влияние на юную Францию во времена Людовика XV. Короче сказать, эта смесь составляла отрывки из того книжного мира, из того обширного града, называемого «Книгопечатанием», с его дворцами и хижинами, водопроводами и грязесточными трубами, который в равной степени открывается обнаженному взору и любознательному уму того, кому будет оказано, с такой же беспечностью, с какою медник сказал Ленни:

– Выбирай, что тебе понравится.

Но первые побуждения человеческой природы, – побуждения сильные и непорочные, никогда не принудят человека поселиться в хижине и утолять жажду из грязной канавы; так и теперь Ленни Ферфильд отложил в сторону дурные книги, в совершенном неведении, что они были дурные и, выбрав две-три книги лучшие, представил их меднику и спросил о цене.

– Покажи, покажи, сказал мистер Спротт, надевая очки. – Э-эх, братец! да ты выбрал у меня самые дорогие. Там есть дешевенькие и гораздо интереснее.

– Мне что-то не нравятся они, отвечал Ленни: – да притом я совсем не понимаю, о чем в них написано. Эта же книга, кажется, рассуждает об устройстве паровых машин, и в ней хорошенькие чертежи и рисунки; а эта – «Робинзон Крузо». – Мистер Дэль давно уж обещал подарить мне эту книжку; да нет! уж лучше будет, если я сам куплю её.

– Как хочешь: это в твоей воле, отвечал медник. – Эти книги стоят четыре шиллинга, и ты можешь заплатить мне в будущем месяце.

– Четыре шиллинга? да это огромная сумма! произнес Ленни: – впрочем, я постараюсь скопить такие деньги, если вы согласны подождать. – Прощайте, мистер Спротт!

– Постой минуточку, сказал медник:– уж так и быть, я прикину тебе на придачу вот эти две маленькие книжонки. Я продаю по шиллингу целую дюжину: значит эти две будут стоить два пенса. Когда ты прочитаешь их, так я уверен, что придешь ко мне и за другими.

И медник швырнул Ленни два номера «Бесед с ремесленниками». Ленни поднял их с признательностью.

Молодой искатель познаний направил свой путь через зеленые поля, по окраине деревьев, покрытых осенним, желтеющим листом. Он взглянул сначала на одну книгу, потом на другую, и не знал, которую из них начать читать.

Медник встал с места и подкинул в угасающий огонь листьев, валежнику и сучьев, частью засохших, частью свежих.

Ленни в это время открыл первый номер «Бесед»; они не занимали большего числа страниц и были доступнее для его понятий, чем изъяснение устройства паровых машин.

Медник поставил на огонь припайку и вынул паяльный инструмент.

## Глава XXVI

Вместе с тем, как Виоланта более и более знакомилась с новым своим домом, а окружающие Виоланту более и более знакомились с ней, в её поступках и поведении замечалось какое-то особенное величие, которое если бы не было в ней качеством натуральным, врожденным, то для дочери изгнанника, ведущего уединенную жизнь, показалось бы неуместным; даже между детьми высокого происхождения, в таком раннем возрасте, оно было бы весьма редким явлением. Она протягивала свою маленькую ручку для дружеского пожатия или подставляла свою нежную, пухленькую точку для поцалуя не иначе, как с видом маленькой принцессы. Но, при всем том, она была так мила, и самое величие её было так прелестно и пленительно, что, несмотря на гордый вид, ее любили оттого несколько не меньше. Впрочем, она вполне заслуживала привязанности; хотя гордость её выходила из тех пределов, которые одобряла мистрисс Дэль, но зато была совершенно чужда эгоизма, – а такую гордость ни под каким видом нельзя назвать обыкновенною. Виоланта одарена была удивительною способностью располагать других в свою пользу; и, кроме того, вы бы легко могли заметить в ней самой расположение к возвышенному женскому героизму – к самоотвержению. Хотя она была во всех отношениях оригинальная девочка, часто задумчивая и серьёзная, с глубоким, но приятным оттенком грусти на лице, но, несмотря на то, она не лишена была счастливой, беспечной веселости детского возраста; одно только, что в минуты этой веселости серебристый смех её звучал не так музыкально, и её жесты были спокойнее, чем у тех детей, которые привыкли забавляться играми в кругу многих товарищей. Мистрисс Гэзельден больше всего любила ее за её задумчивость и говорила, что «современем из неё выйдет весьма умная женщина.» Мистрисс Дэль любила ее за веселость и говорила, что она «родилась пленять мужчин и сокрушать сердца», за что мистер Дэль нередко упрекал свою супругу. Мистрисс Гэзельден подарила Виоланте собрание маленьких садовых орудий, а мистрисс Дэль – книжку с картинками и прекрасную куклу. Книга и кукла долгое время пользовались предпочтением. Это предпочтение до такой степени не нравилось мистрисс Гэзельден, что она решилась наконец заметить Риккабокка, что бедный ребенок начинает бледнеть, и что ему необходимо нужно как можно больше находиться на открытом воздухе. Мудрый родитель весьма искусно представил Виоланте, что мистрисс Риккабокка пленилась её книжкой с картинками, и что сам он с величайшим удовольствием стал бы играть с её хорошенькою куклой, Виоланта поспешила отдать и то и другое и никогда не испытывала такого счастья, как при виде, что мама её (так называла она мистрисс Риккабокка) восхищалась картинками, а её папа с серьёзным и важным видом, нянчился с куклой. После этого Риккабокка уверил ее, что она могла бы быть весьма полезна для него в саду, и Виоланта немедленно пустила в действие свою лопатку, грабли и маленькую тачку.

Последнее занятие привело ее в непосредственное столкновение с Лепни Ферфильдом, – и, однажды утром, этот должностной человек в хозяйственном управлении мистера Риккабокка, к величайшему ужасу своему, увидел, что Виоланта выколола почти целую грядку сельдерея, приняв это растение, по неведению своему, за простую траву.

Ленни закипел гневом. Он выхватил из рук девочки маленькие грабли и сказал ей весьма сердито:

– Вперед, мисс, вы не должны делать этого. Я пожалуюсь вашему папа, если вы...

Виоланта выпрямилась: она услышала подобные слова в первый раз по прибытии в Англию, и потому в изумлении её, отражавшемся в черных глазах, было что-то комическое, а в позе, выражавшей оскорбленное достоинство, что-то трагическое.

– Это очень нехорошо с вашей стороны, продолжал Леонард, смягчив тон своего голоса, потому что взоры Виоланты невольным образом смиряли его гнев, а её трагическая поза про-

буждала в нем чувство благоговейного страха. – Надеюсь, мисс, вы не сделаете этого в другой раз.

– *Non capisco* (не понимаю), произнесла Виоланта, и черные глаза её наполнились слезами.

В этот момент подошел Джакеймо.

– *Il fanciullo è molto grossolano* – это ужасно грубый мальчик, сказала Виоланта, указав на Леонарда, и в то же время всеми силами стараясь скрыть душевное волнение.

Джакеймо обратился к Ленни, с видом рассвирепевшего тигра.

– Как ты смел, червяк этакой! вскричал он:– как ты смел заставить синьорину плакать!

И вместе с этим он излил на бедного Ленни такой стремительный поток брани, что мальчик попеременно краснел и бледнел и едва переводил дух от стыда и негодования.

Виоланта в ту же минуту почувствовала сострадание к своей жертве и, обнаруживая истинно женское своенравие, начала упрекать Джакеймо за его гнев, наконец, подойдя к Леонарду, взяла его за руку и, более чем с детской кротостью, сказала:

– Не обращай на него внимания, не сердись. Я признаю себя виновною; жаль, что я не поняла тебя с первого разу. Неужели это и в самом деле не простая трава?

– Нет, моя неопцененная синьорина, сказал Джакеймо, бросая плачевный взгляд на сельдерейную грядку: – это не простая трава: это растение в настоящую пору продается по весьма высокой цене. Но все же, если вам угодно полоть его, то желал бы я видеть, кто смеет помешать вам в этом.

Ленни удалился. Он вспомнил, что его называли червяком, – и кто же назвал его? какой-то Джакеймо, оборванный, голодный чужеземец! С ним опять обошлись как нельзя хуже, – и за что? за то, что, по его понятиям, он исполнял свой долг. Он чувствовал, что его оскорбили в высшей степени. Гнев снова закипел в нем и с каждой минутой усиливался, потому что трактаты, подаренные ему странствующим медником, в которых именно говорилось о сохранении своего достоинства, в это время были уже прочитаны и произвели в душе мальчика желаемое действие. Но, среди этого гневного тревожения юной души, Ленни ощущал нежное прикосновение руки девочки, чувствовал успокоивающее, примиряющее влияние её слов, и ему стало стыдно, что с первого разу оти так грубо обошелся с ребенком.

Спустя час после этого происшествия, Ленни, совершенно успокоенный, снова принялся за работу. Джакеймо уже не было в саду: он ушел на поле; но подле сельдерейной грядки стоял Риккабокка. Его красный шелковый зонтик распущен был над Виолантой, сидевшей на траве; она устремила на отца своего взоры, полные ума, любви и души.

– Ленни сказал Риккабокка: – моя дочь говорит мне, что она очень дурно вела себя в саду, и что Джакомо был весьма несправедлив к тебе. Прости им обоим.

Угрюмость Ленни растаяла в один момент; влияние трактатов разрушилось, как рушатся воздушные замки, не оставляя за собой следов разрушения. Ленни, с выражением всей своей врожденной душевной доброты, устремил взоры сначала на отца и потом, с чувством признательности, опустил их на лицо невинного ребенка-примирителя.

С этого дня смиренный Ленни и недоступная Виоланта сделались большими друзьями. С какою гордостью он научал ее различать сельдерей от пастернака, – с какою гордостью и она, в свою очередь, начинала узнавать, что услуги её в саду были не бесполезны! Дайте ребенку, особенно девочке, понять, что она уже имеет некоторую цену в мире, что она приносит некоторую пользу в семейном кругу, под защитою которого находится, и вы доставите ей величайшее удовольствие. Это самое удовольствие испытывала теперь и Виоланта. Недели и месяцы проходили своим чередом, и Ленни все свободное время посвящал чтению книг, получаемых от доктора и покупаемых у мистера Спротта. Последними из этих книг, вредными и весьма пагубными по своему содержанию, Ленни не слишком увлекался. Как олень по одному только инстинкту удаляется от близкого соседства с тигром, как один только взгляд скорпиона стра-

шит вас дотронуться до него, хотя прежде вы никогда не видели его, так точно и малейшая попытка со стороны странствующего медника совлечь неопытного мальчика с пути истинного внушала в Ленни отвращение к некоторым из его трактатов. Кроме того деревенский мальчик охраняем был от пагубного искушения не только счастливым неведением того, что выходило за пределы сельской жизни, но и самым верным и надежным блюстителем – гением. Гений, этот мужественный, сильный и благодетельный хранитель, однажды взяв под свою защиту душу и ум человека, неусыпно охраняет их, а если и задремлет когда, то на возвышении, усыпанном фиалками, а не на груде мусору. Каждый из нас получает себе этот величайший дар в большей или меньшей степени. Под влиянием его человек избирает себе цель в мире, и под его руководством устремляется к той цели и достигает ее. Ленни избрал для себя целью образование ума, которое доставило бы ему существенные в мире выгоды. Гений дал ему направление, сообразное с кругом действий Леонарда и с потребностями, невыходящими из пределов этого круга; короче сказать, он пробудил в нем стремление к наукам, которые мы называем механическими. Ленни хотел знать все, что касалось паровых машин и артезианских колодезцев; а знание это требовало других сведений – в механике и гидростатике; и потому Ленни купил популярные руководства к познанию этих мистических наук и употребил все способности своего ума на приложение теории к практике. Успехи Ленни Ферфильда подвигались вперед так быстро, что с наступлением весны, в один прекрасный майский день, он сидел уже подле маленького фонтана, им самим устроенного в саду Риккабокка. Пестрокрылые бабочки порхали над куртинкой цветов, выведенной его же руками; вокруг фонтана весенняя птички звонко распевали над его головой. Леонард Ферфильд отдыхал от дневных трудов и, в прохладе, навеваемой от фонтана, которого брызги, перенимаемые лучами заходящего солнца, играли цветами радуги, углублялся в разрешение механических проблем и в то же время соображал применение своих выводов к делу. Оставаясь в доме Риккабокка, он считал себя счастливейшим человеком в мире, хотя и знал, что во всяком другом месте он получал бы более выгодное жалованье. Но голубые глаза его выражали всю признательность души не при звуке монет, отсчитываемых за его услуги, но при дружеском, откровенном разговоре бедного изгнанника о предметах, неимеющих никакой связи с его агрономическими занятиями; между тем как Виоланта не раз выходила на террасу и передавала корзинку с легкой, но питательной пищей для мистрисс Ферфильд, которая что-то частенько стала похварывать.

## Глава XXVII

Однажды вечером, в то время, как мистрисс Ферфильд не было дома, Ленни занимался устройством какой-то модели и имел несчастье сломать инструмент, которым он работал. Не лишним считаю напомнить моим читателям, что отец Ленни был главным плотником и столяром сквайра. Оставшиеся после Марка инструменты вдова тщательно берегла в особом сундуке и хотя изредка одолжала их Ленни, но для всегдашнего употребления не отдавала. Леонард знал, что в числе этих инструментов находился и тот, в котором он нуждался в настоящую минуту, и, увлеченный своей работой, он не мог дожидаться возвращения матери. Сундук с инструментами и некоторыми другими вещами покойного, драгоценными для оставшейся вдовы, стоял в спальне мистрисс Ферфильд. Он не был заперт, и потому Ленни отправился в него без всяких церемоний. Отыскивая потребный инструмент, Ленни нечаянно увидел связку писанных бумаг и в ту же минуту вспомнил, что когда он был еще ребенком, когда он ровно ничего не понимал о различии между прозой и стихами, его мать часто указывала на эти бумаги и говорила:

– Когда ты вырастешь, Ленни, и будешь хорошо читать, я дам посмотреть тебе на эти бумаги. Мой бедный Марк писал такие стихи, такие... ну да что тут и говорить! ведь он был ученый!

Леонард весьма основательно полагал, что обещанное время, когда он удостоится исключительного права прочесть излияния родительского сердца, уже наступило, а потому раскрыл рукопись с жадным любопытством и вместе с тем с грустным чувством. Он узнал почерк своего отца, который уже не раз видел прежде, в его счетных книгах и памятных записках, и внимательно прочитал несколько пустых поэм, обнаруживающих в авторе ни особенного гения, ни особенного умения владеть языком, ни звучности рифм, – короче сказать, таких поэм, которые были написаны для одного лишь собственного удовольствия, но не для славы, человеком, образовавшим себя без посторонней помощи, – поэм, в которых проглядывали поэтический вкус и чувство, но не было заметно ни поэтического вдохновения, ни артистической обработки. Но вдруг, перевертывая листки стихотворений, написанных большею частью по поводу какого нибудь весьма обыкновенного события, взоры Леонарда встретились с другими стихами, писанными совсем другим почерком, – почерком женским, мелким, прекрасным, разборчивым. Не успел он прочесть и шести строф, как внимание его уже было приковано с непреодолимой силой. Достоинством своим они далеко превосходили стихи бедного Марка: в них виден был верный отпечаток гения. Подобно всем вообще стихам, писанным женщиной, они посвящены были личным ощущениям; они не были зеркалом всего мира, но отражением одинокой души. Этот-то род поэзии в особенности и нравится молодым людям. Стихи же, о которых мы говорим, имели для Леонарда свою особенную прелесть: в них, по видимому, выражалась борьба души, имеющая близкое сходство с его собственной борьбой, какая-то тихая жалоба на действительное положение жизни поэта, какой-то пленительный, мелодический ропот на судьбу. Во всем прочем в них заметна была душа до такой степени возвышенная, что если бы стихи были написаны мужчиной, то возвышенность эта показалась бы преувеличенной, но в поэзии женщины она скрывалась таким сильным, безыскусственным излиянием искреннего, глубокого, патетического чувства, что она везде и во всем казалась весьма близкою к натуре.

Леонард все еще был углублен в чтение этих стихов, когда мистрисс Ферфильд вошла в комнату.

– Что ты тут делаешь, Ленни? ты, кажется, роешься в моем сундуке?

– Я искал в нем мешка с инструментами и вместо его нашел вот эти бумаги, которые вы сами говорили, мне можно будет прочесть когда нибудь.

– После этого неудивительно, что ты не слышал, как вошла я, сказала вдова, тяжело вздохнув. – Я сама не раз просиживала по целым часам, когда бедный мой Марк читал мне эти стихи. Тут есть одни прехорошенькие, под названием: «Деревенский очаг»; дошел ли ты до них?

– Да, дорогая матушка: я только что хотел сказать вам, что эти стихи растрогали меня до слез. Но чьи же это стихи? ужь верно не моего отца? Они, кажется, написаны женской рукой.

Мистрисс Ферфильд взглянула на рукопись – побледнела и почти без чувств опустилась на стул.

– Бедная, бедная Нора! сказала она, прерывающимся голосом. – Я совсем не знала, что они лежали тут же. Марк обыкновенно хранил их у себя, и они попали между его стихами.

Леонард. Кто же была эта Нора?

Мистрисс Ферфильд. Кто?... дитя мое.... кто? Нора была.... была моя родная сестра.

Леонард (*крайне изумленный, представлял в уме своем величайший контраст в идеальном авторе этих музыкальных стихов, написанных прекрасным почерком, с своею простой, необразованной матерью, которая неумела ни читать, ни писать*). Ваша родная сестра, возможно ли это? Следовательно, она мне тетка. Как это вам ни разу не вздумалось поговорить о ней прежде? О! вы должны бы гордиться его, матушка.

Мистрисс Ферфильд (*всплеснув руками*). Мы все и гордились ею, – все, все решительно: и отец и мать, – словом сказать, все! И какая же красавица она была! какая добренькая и не гордая, хотя на вид и казалась важной барыней. О, Нора, Нора!

Леонард (*после минутного молчания*). Она, должно быть, очень хорошо была воспитана.

Мистрисс Ферфильд. Да, ужь можно сказать, что очень хорошо.

Леонард. Каким же образом могло это случиться?

Мистрисс Ферфильд (*покачиваясь на стуле*). А вот каким: милэди была её крестной матерью – то есть милэди Лэнсмер – и очень полюбила ее, когда она выросла. Милэди взяла Нору в дом к себе и держала при себе, потом отдала ее в пансион, и Нора сделалась такая умница, что из пансиона ее взяли прямо в Лондон – в гувернантки.... Но, пожалуйста, Ленни, перестанем говорить об этом, не спрашивай меня больше.

Леонард. Почему же нет, матушка? Скажите мне, что с ней сделалось, где она теперь?

Мистрисс Ферфильд (*заливаясь горькими слезами*). В могиле, в холодной могиле! Она умерла, бедняжка, – умерла!

Невыразимая грусть запала в сердце Леонарда. Читая поэта, мы, обыкновенно, в то же время представляем себе, что он еще жив, – считаем его нашим другом. При последних словах мистрисс Ферфильд, как будто что-то милое, дорогое внезапно оторвалось от сердца Леонарда. Он старался утешить свою мать; но её печаль, её сильное душевное волнение были заразительны, и Ленни сам заплакал.

– Давно ли она умерла? спросил он наконец, печальным голосом.

– Давно, Ленни, очень давно.... Но, прибавила мистрисс Ферфильд, встав со стула и положив дрожащую руку на плечо Леонарда: – вперед, пожалуйста, не напоминай мне о ней; ты видишь, как это тяжело для меня – это сокрушает меня. Мне легче слышать чтонибудь о Марке.... Пойдем вниз, Ленни.... уйдем отсюда.

– Могу ли я взять эти стихи на сбережение? Отдайте их мне, – прошу вас, матушка.

– Возьми, пожалуй; ведь ты не знаешь, а тут все, что она оставила после смерти.... Бери их, если хочешь; только стихи Марка оставь в сундуке. Все ли они тут? Все?... Пойдем же.

И вдова хотя и не могла читать стихов своего мужа, но взглянула на сверток бумаги, исписанной крупными каракулями, и, тщательно разгладив его, снова убрала в сундук и прикрыла несколькими ветками лавенды, которые Леонард неумышленно рассыпал.

– Скажите мне еще вот что, сказал Леонард, в то время, как взор его снова остановился на прекрасной рукописи его тетки; – почему вы зовете ее Норой, тогда как здесь она везде подписывала свое имя буквой Л?

– Настоящее имя её было Леонора: ведь я, кажется, сказала тебе, что она была крестница милэди. Мы же, ради сокращения, звали ее просто Норой...

– Леонора, а я Леонард: не потому ли и я получил это имя?

– Да, да, потому, только, пожалуста, замолчи, мой милый, сказала мистрисс Ферфильд, сквозь слезы.

Никакие ласки, ни утешения не могли вызвать с её стороны продолжения или возобновления этого разговора, который очевидно пробуждал в душе её грустное воспоминание и вместе с тем невыносимую скорбь.

Трудно изобразить со всего подробностью действие, произведенное этим открытием на душу Леопарда. Кто-то другой, или другая, принадлежавшая к их семейству, уже предупредила его в полете, представляющем такое множество затруднений, – в полете к более возвышенным странам, где ум нашел бы плодотворную пищу и желаниям положен бы был предел. Ленни находил в своем положении сходство с положением моряка среди неведомых морей, который, на безлюдном острове, внезапно встречается с знакомым, быть может, близким сердцу именем, иссеченным на граните. И это создание, в удел которому выпали гений и скорбь, о бытии которого он узнал только по его волшебным песням, и которого смерть производила в простой душе сестры такую горячую печаль, даже спустя много лет после его кончины, это создание доставляло роману, образуемому в сердце юноши, идеал, которого он так давно и бессознательно отыскивал. Ему приятно было услышать, что она была прекрасна и добра. Он часто бросал свои книги для того, чтоб предаться упоительным мечтам о ней и представить в своем воображении её пленительный образ. Что в судьбе её скрывалась какая-то тайна – это было для него очевидно; и между тем, как убеждение в этом усиливало его любопытство, самая тайна постепенно принимала какую-то чарующую прелесть, от влияния которой он нехотел освободиться. Он обрек себя упорному молчанию мистрисс Ферфильд. Причислив покойницу к числу тех драгоценных для нас предметов, сохраняемых в глубине нашего сердца, которых мы не решаемся открывать перед другими, он считал себя совершенно довольным. Юность в тесной связи с мечтательностью имеют множество сокровенных уголков в изгибах своего сердца, в которые они не впустят никого, – не впустят даже и тех, на скромность которых могут положиться, которые более всех других могли бы пользоваться их доверенностью. Я сомневаюсь в том, что человек, в душе которого нет недоступных, непроницаемых тайников, – сомневаюсь, чтобы этот человек имел глубокие чувства.

До этой поры, как уже было сказано мною, таланты Леонарда Ферфильда были направлены более к предметам положительным, чем идеальным, – более к науке и постижению действительности, нежели к поэзии и к той воздушной, мечтательной истине, из которой поэзия берет свое начало. Правда, он читал великих отечественных поэтов, но без малейшего помышления в душе подражать им: он читал их скорее из одного общего всем любопытства осмотреть все знаменитые монументы человеческого ума, но не из особенного пристрастия к поэзии, которое в детском и юношеском возрастах бывает слишком обыкновенно, чтоб принять его за верный признак будущего поэта. Но теперь эти мелодии, неведомые миру, звучали в ушах его, мешались с его мыслями, превращали всю его жизнь, весь состав его нравственного бытия в непрерывную цепь музыкальных, гармонических звуков. Он читал теперь поэзию совершенно с другим чувством; ему казалось, что он только теперь постиг её тайну.

При начале нашего тяжелого и усердного странствования, непреодолимая склонность к поэзии, а вследствие того и к мечтательности, наносит многим умам величайший и продолжительный вред; по крайней мере я остаюсь при этом мнении. Я даже убежден, что эта склонность часто служит к тому, чтоб ослабить силу характера, дать ложные понятия о жизни, представлять в превратном, в искаженном виде благородные труды и обязанности практического человека. Впрочем, не всякая поэзия имеет такое влияние на человека; поэзия классическая – поэзия Гомера, Виргилия, Софокла, даже беспечного Горация – далека от того. Я ссылаюсь

здесь на поэзию, которую юность обыкновенно любит и ставит выше всего, на поэзию чувств: она-то пагубна для умов, уже заранее расположенных к сентиментальности, – умов, для приведения которых в зрелое состояние требуются большие усилия.

С другой стороны, даже и этот род поэзии бывает не бесполезен для умов с совершенно другими свойствами, – умов, которых наша новейшая жизнь, с холодными, жесткими, положительными формами, старается произвести. Как в тропических странах некоторые кустарники и травы, очищающие атмосферу от господствующей заразы, бывают с избытком посеяны благою предусмотрительностью самой природы, так точно в наш век холодный, коммерческий, неромантический, появление легких, пежных, пленяющих чувство поэтических произведений служит в своем роде исцеляющим средством. В нынешнее время мир до такой степени становится скучен для нас, что нам необходимо развлечение; мы с удовольствием будем слушать какойнибудь поэтический бред о луне, о звездах, лишь бы только гармонически звучал он для нашего слуха. Само собою разумеется, что на Леонарда Ферфильда, в этот период его умственного бытия, нежность нашего Геликона ниспадала как капли живительной росы. В его тревожном, колеблющемся стремлении к славе, в его неопределенной борьбе с гигантскими истинами науки, в его наклонности к немедленному применению науки к практике эта муза явилась к нему в белом одеянии гения-примирителя. Указывая на безоблачное небо, она открыла юноше светлые проблески прекрасного, которое одинаково дается и вельможе и крестьянину, – показала ему, что на земной поверхности есть нечто более благородное, нежели богатство, убедила его в том, что кто может смотреть на мир очами поэта, тот в душе богаче Креза. Что касается до практических применений, та же самая муза пробуждала в нем стремление более, чем к обыкновенной изобретательности: она приучала его смотреть на первые его изобретения как на проводники к великим открытиям. Досада и огорчения, волновавшие иногда его душу, исчезали в ней, переливаясь в стройные, безропотные песни. Приучив себя смотреть на все предметы с тем расположением духа, которое усваивает эти песни и воспроизводит не иначе, как в более пленительных и великолепных формах, мы начинаем усматривать прекрасное даже и в том, на что смотрели прежде с ненавистью и отвращением. Леонард заглянул в свое сердце после того, как муза-волшебница дохнула за него, и сквозь мглу легкой и нежной меланхолии, остававшейся повсюду, где побывала эта волшебница, увидел, что над пейзажем человеческой жизни восходило новое солнце восторга и радостей.

Таким образом, хотя таинственной родственницы Леонарда давно уже не существовало, хотя от неё остался «один только беззвучный, но пленительный голос», но, несмотря на то, она говорила с ним, утешала его, радовала, возвышала его душу и приводила в ней в гармонию все нестройные звуки. О, еслиб доступно было этому чистому духу видеть из надзвездного мира, какое спасительное влияние произвел он на сердце юноши, то, конечно, он улетел бы еще далее в светлые пределы вечности!

## Глава XXVIII

Спустя около года после открытия Леонардом фамильных рукописей, мистер Дэль взял из конюшен сквайра самую смиренную лошадь и приготовился сделать путешествие верхом. Он говорил, что поездка эта необходима по какому-то делу, имеющему связь с его прежними прихожанами в Лэнсмере.

В предыдущих главах мы, кажется, уже упоминали, что мистер Дэль, до поступления своего в Гэзельденский приход, занимал в том городке должность курата.

Мистер Дэль так редко выезжал за пределы своего прихода, что это путешествие считалось как в Гэзельден-Голле, так и в его собственном доме за весьма отважное предприятие. Размышляя об этом путешествии, мистрисс Дэль провела целую ночь в мучительной бессоннице, и хотя с наступлением рокового утра к ней возвратился один из самых жестоких нервических припадков головной боли, однако, она никому не позволила уложить седельные мешки, которые мистер Дэль занял у сквайра вместе с лошадью. Мало того: она до такой степени была уверена в рассеянности и ненаходчивости своего супруга в её отсутствии, что, укладывая вещи в мешки, она просила его не отходить от неё ни на минуту во время этой операции; она показывала ему, в каком месте положено было чистое белье, и как аккуратно были завернуты его старые туфли в одно из его сочинений. Она умоляла его не делать ошибок во время дороги и не принять бритвенного мыла за сэндвичи, и вместе с этим поясняла ему, как умно распорядилась она, во избежание подобного замешательства, отделив одно от другого на такое огромное расстояние, сколько то позволяли размеры седельного мешка. Бедный мистер Дэль, которого рассеянность, по всей вероятности, не простиралась до такой степени, чтобы вдруг, ни с того, ни с другого, намылить себе бороду сэндвичами, или, вздумав позавтракать, преспokoйно бы начать кушать бритвенное мыло, – слушая наставления своей жены с супружеским терпением, полагал, что ни один человек из целого мира не имел подобной жены, и не без слез в своих собственных глазах вырвался из прощальных объятий рыдающей Кэрри.

Надобно сознаться, что мистер Дэль с некоторым опасением вкладывал ногу в стремя и отдавал себя на произвол незнакомого животного. Каковы бы ни были достоинства этого человека, но наездничество не принадлежало в нем к числу лучших. Я сомневаюсь даже, брал ли мистер Дэль узду в руки более двух раз с тех пор, как женился.

Угрюмый старый грум сквайра, Мат, присутствовал при отправлении и на кроткий вопрос мистера Дэля касательно того, уверен ли он, что лошадь совершенно безопасна, отвечал весьма неутешительно:

– Безопасна; только не натягивайте узды, это, пожалуй, она тотчас начнет танцевать на задних ногах.

Мистер Дэль в ту же минуту ослабил поводя; и в то время, как мистрисс Дэль, оставшаяся, для скорейшего прекращения рыданий, в комнате, подбежала к дверям, чтоб сказать еще «несколько последних слов», мистер Дэль окончательно махнул рукой и легкой рысью поехал по проселочной дороге.

Первым делом нашего наездника было узнать привычки животного, чтобы потом можно было сделать заключение об его характере. Например: он старался узнать причину, почему его лошадь вдруг, ни с того, ни с другого, поднимала одно ухо и опускала другое; почему она придерживалась левой стороны, и так сильно, что нога наездника беспрестанно задевала за забор, и почему по приезде к воротам, ведущим на господскую ферму, она вдруг остановилась и начала чесать свою морду о забор – занятие, от которого мистер Дэль, увидев, что все его кроткия увещания оставались бесполезны, принужден был отвлечь ее робким ударом хлыстика.

Когда этот кризис благополучно миновался, лошадь, по видимому, догадалась, что ей предстоит дорога впереди, резко махнула хвостом и переменяла тихую рысь на легкий галоп, который вывел мистера Дэля на большую дорогу, почти против самого казино.

Проскакав еще немного, он увидел доктора Риккабокка, который, под тенью своего красного зонтика, сидел на воротах, ведущих к его дому.

Итальянец отвел глаза от книги, которую читал, и с изумлением взглянул на мистера Дэля, а тот, в свою очередь, бросил вопросительный взгляд на Риккабокка, не смея, однако же, отвлечь всего внимания от лошади, которая, при появлении Риккабокка, вздернула кверху оба уха и обнаружила все признаки удивления и страха, которые каждая лошадь обнаруживает при встрече с незнакомым предметом, и которые известны под общим названием «пугливости».

– Ради Бога, не шевелитесь, сэр, сказал мистер Дэль:– иначе вы перепугаете это животное: оно такое капризное, робкое.

И вместе с этим он чрезвычайно ласково начал похлопывать по шее лошади.

Ободренный таким образом конь преодолел свой первый и весьма естественный испуг при виде Риккабокка и его красного зонтика, и, бывав уже в казино не раз, он предпочел знакомое место пределам, выходящим из круга его соображений, величественно приблизился к воротам, на которых сидел Риккабокка, и, взглянув на него весьма пристально, как будто хотел сказать: «Желательно бы было, чтоб ты слетел отсюда», понурил голову и стал как вкопанный.

– Ваша лошадь, сказал Риккабокка:– кажется, более вашего имеет расположения обойтись со мной учтиво, и потому, пользуясь этой остановкой, сделанной, как видно, против вашего желания, могу поздравить вас *с возвышением* в жизни, и вместе с тем выразить искреннее желание, чтобы гордость не послужила поводом к вашему *падению*.

– Полноте, полноте, возразил мистер Дэль, принимая непринужденную позу, хотя все еще не упуская из виду свою лошадь, которая преспокойно задремала:– это все произошло оттого, что я давным-давно не ездил верхом, а лошади сквайра, как вам известно, чрезвычайно горячия.

Chi và piano, và sano,  
E chi và sano, và lontano,

сказал Риккабокка, указывая на седельные мешки. – Кто едет тихо, тот едет благополучно; а кто едет благополучно, тот уедет далеко. Вы, кажется, собрались в дальнюю дорогу?

– Вы отгадали, отвечал мистер Дэль: – и еду по делу, которое несколько касается и вашей особы.

– Меня! воскликнул Риккабокка: – дело касается меня!

– Да; по крайней мере касается на столько, на сколько вы можете быть огорчены потерей слуги, которого вы любите и уважаете.

– А! понимаю! сказал Риккабокка: – вы часто намекали мне, что я и познания, или то и другое вместе, сделали Леонарда Ферфильда совершенно негодным для деревенской службы.

– Я не говорил вам этого в буквальном смысле: я говорил, что вы приготовили его к чему-то высшему, нежели деревенская служба. Только, пожалуста, вы не передайте ему этих слов. Я еще сам ничего не могу сказать вам, потому что не ручаюсь за успех моего предприятия, даже сомневаюсь в нем; а в таком случае нам не следует расстраивать бедного Леонарда до тех пор, пока не уверимся в том, что можно будет улучшить его состояние.

– В этом вы никогда не уверитесь, заметил Риккабокка, кивая головой. – Кроме того, я не могу сказать, что у меня нет на столько самолюбия, чтоб не позавидовать, и даже не иметь к вам ненависти, за ваше усердие отманить от меня неоцененного слугу: верного, трезвого, умного и чрезвычайно дешевого (последнее прилагательное Риккабокка произнес с заметной горячностью). – Несмотря на то, поезжайте, и Бог да поможет вам в успехе. Ведь я не Александр Македонский: не стану заслонять солнца от человека.

– Вы всегда великодушны и благородны, синьор Риккабокка, несмотря на ваши холодные пословицы и не совсем благовидные книги.

Сказав это, мистер Дэль опустил хлыстик на шею коня с таким безразсудным энтузиазмом, что бедное животное, выведенное так внезапно из дремоты, сделало скачок вперед, который чуть-чуть не столкнул Риккабокка на забор, потом круто повернуло назад, и в то время, как испуганный наездник туго натянул повод, закусил уздечку и понесло во весь карьер. Ноги мистера Дэля выскочили из стремян, и когда он овладел ими снова – а это случилось, когда лошадь сократила свою прыть – то перевел дух и оглянулся; но Риккабокка и казино уже скрылись из виду.

«Правда, правда – рассуждал мистер Дэль сам с собою, совершенно оправившись и весьма довольный тем, что удержался на седле – правда, что из всех побед, одержанных человеком, самая благороднейшая: это – победа над лошадыю. Прекрасное животное, благородное животное! необыкновенно трудно сидеть на нем, особливо без стремян.»

И вместе с этим он еще сильнее уперся обеими ногами в стремяна, испытывая в душе своей величайшую гордость.

## Глава XXIX

Лэнсмер расположен в округе соседнем с округом, заключающим в себе деревню Гэзельден. Уже к вечеру мистер Дэль переехал через маленький ручеек, разделявший оба округа, и остановился у постоянного двора, где дорога принимала два направления: одно вело прямо к Лэнсмеру, а другое – к Лондону. Лошадь повернула прямо к воротам, опустила уши и вообще приняла вид лошади, которой хочется отдохнуть и поесть. Сам мистер Дэль, разгоряченный ездой и чувствуя в душе своей уныние, весьма ласково погладил коня и сказал:

– Правда твоя, мой друг: нужно отдохнуть; тебе дадут здесь овса и воды.

Спустившись с лошади и ступив твердой ногой на *terra firma*, мистер Дэль поручил лошадь попечениям конюха, а сам вошел в комнату, усыпанную свежим песком, и расположился отдыхать на весьма жестком виндзорском стуле.

Прошло более получаса, в течение которого мистер Дэль занимался чтением окружной газеты, от которой сильно пахло табаком, разгонял мух, которые роились вокруг него, как будто они никогда не видали такой особы, как мистер Дэль, когда у ворот остановилась коляска. Из неё выскочил путешественник, с дорожным мешком, и вскоре вошел в комнату.

Мистер Дэль приподнялся со стула и сделал учтивый поклон.

Путешественник дотронулся до шляпы и, не снимая её, осмотрел мистера Дэля с головы до ног, потом подошел к окну и начал насвистывать веселую арию. Окончив её, он приблизился к камину, позвонил в колокольчик и потом снова взглянул на мистера Дэля. Мистер Дэль, из учтивости, перестал читать газету. Путешественник схватил её, бросился на стул, закинул одну ногу на стол, а другую – на каминную доску, и начал качаться на задних ножках стула с таким дерзким неуважением к прямому назначению стульев и к незнакомому проезжему, что мистер Дэль ожидал с каждой минутой опасного падения путешественника.

– Эти стулья весьма изменчивы, сэр, сказал наконец мистер Дэль, побуждаемый чувством сострадания к опасному положению ближнего. – Я боюсь, что вы упадете!

– Э! сказал путешественник, с видом сильного изумления. – Я упаду? милостивый государь, вы, кажется, намерены трунить надо мной.

– Трунить над вами, сэр? Клянусь честью, что и не думал об этом! воскликнул мистер Дэль, с горячностью.

– Мне кажется, здесь каждый человек имеет право сидеть, как ему угодно, возразил путешественник, с заметным гневом: – на постоялом дворе каждый человек может распоряжаться как в своем доме, до тех пор, пока исправно будет уплачивать хозяйский счет. Бетти, душа моя, поди сюда.

– Я не Бетти, сэр; вам, может быть, нужно её?

– Нет, Салли, мне нужно рому, холодной воды и сахару.

– Я и не Салли, сэр, проворчала служанка; но путешественник в ту же минуту обернулся к ней и показал ей такой щегольской шейный платок и такое прекрасное лицо, что она улыбнулась, покраснела и ушла.

Путешественник встал и швырнул на стол газету. Он вынул перочинный ножик и начал подчищать ногти. Но вдруг он на минуту оставил это элегантно занятие, и взоры его встретились с широкополой шляпой мистера Дэля, смиренно лежавшей на стуле, в углу.

– Вы, кажется, из духовного звания? спросил путешественник, с надменной улыбкой.

Мистер Дэль снова приподнялся и поклонился, частью из вежливости, а частью для сохранения своего достоинства. Это был такой поклон, которым как будто говорилось: «да, милостивый государь, я из духовного звания, и, как видите, мне не стыдно даже признаться в том».

– Далеко ли вы едете?

– Не очень.

– В коляске или в фаэтоне? Если в коляске и если мы едем по одной дороге, то пополам.

– Пополам?

– Да; я с своей стороны буду платить дорожные издержки и шоссейную пошлину.

– Вы очень добры, сэр. Но я еду верхом.

Последние слова мистер Дэль произнес с величайшей гордостью.

– Верхом? Скажите пожалуйста! Мне бы самому ни за что не догадаться: вы так не похожи на наездника! Куда же, вы сказали, вы отправляетесь?

– Я вовсе не говорил вам, куда я отправляюсь, отвечал мистер Дэль, весьма сухо, потому что чувствовал себя крайне оскорбленным таким невежливым отзывом об его наездничестве, и именно фразой: «вы так не похожи на наездника».

– Понятно! сказал путешественник, захохотав. – По всему видно, что старый путешественник.

Мистер Дэль не сделал на это никакого возражения. Вместо того он взял свою шляпу, сделал поклон величественнее предыдущего и вышел из комнаты посмотреть, кончила ли его лошадь овес.

Животное давно уже кончило все, что ему было дано, а это все составляло несколько горстей овса, – и через несколько минут мистер Дэль снова находился в дороге. Он отъехал от постоянного двора не далее трех миль, когда стук колес заставил его обернуться, и он увидел почтовую карету, которая мчалась во весь дух по одному с ним направлению, и из окна которой высовывалась пара человеческих ног. Верховой конь, заслышав приближение кареты, начал делать курбеты, и мистер Дэль весьма неясно увидел внутри кареты человеческое лицо, принадлежавшее высунутой паре ног. Поровнявшись с всадником, проезжий быстро высунул голову, посмотрел, как мистер Дэль попрыгивал на седле, и вскричал:

– В каком положении кожа?

«Кожа! – рассуждал мистер Дэль сам с собою, когда лошадь его успокоилась. – Что он хотел этим выразить? Кожа! фи, какой грубый человек. Однако, я славно срезал его.»

Мистер Дэль, без дальнейших приключений, прибыл в Лэнсмер. Он остановился в лучшей гостинице, освежил себя обыкновенным омовением и с особенным аппетитом сел за бифстек и бутылку портвейна.

Отдавая справедливость мистеру Дэлю, мы должны сказать, что он был лучший знаток физиономии человека, чем лошади, так что после первого, но удовлетворительного взгляда на вежливого, улыбающегося содержателя гостиницы, который убрал со стола пустые тарелки и вместо их поставил вино, он решился вступить с ним в разговор.

– Скажите, пожалуйста, милорд теперь у себя в поместье?

– Нет, сэр, отвечал содержатель гостиницы: – милорд и милэди отправились в Лондон – повидаться с лордом л'Эстренджем.

– С лордом л'Эстренджем! Да разве он в Англии?

– Кажется, в Англии, сэр; по крайней мере я так слышал. Мы ведь теперь почти никогда его не видим. Я помню его, когда он был прекрасным молодым человеком, или, вернее сказать, юношей. Каждый из нас души не слышал в нем и не менее того гордился им. Но уж зато какие и проказы творил он, это удивительно! Мы все думали, что он будет современным депутатом от нашего местечка; но, к сожалению, он уехал отсюда в чужие края. Надобно вам заметить, сэр, что я принадлежу к партии «синих», как следует всякому добропорядочному человеку. Все «синие» всегда с удовольствием посещают мою гостиницу, которая, мимоходом сказать, носит название «Лэнсмерский Герб». Гостиницу «Кабан» посещают люди самого низкого сословия, прибавил трактирщик, с видом невыразимого отвращения. – Надеюсь, сэр, что вам нравится это вино?

– Вино прекрасное и, кажется, весьма старое.

– Вот уж осьмнадцать лет, как оно разлито по бутылкам. У меня был целый боченок во время выборов в депутаты Дашмора и Эджертона. Этого винца осталось у меня весьма немного, и я никому не подаю его, кроме старинных друзей, как, например... извините, сэр, хотя вы и пополнили немного и сделались гораздо солиднее, но мне кажется, что я имел удовольствие видеть вас прежде.

– Ваша правда, смею сказать, хотя я был из числа самых редких посетителей вашей гостиницы.

– Значит вы мистер Дэль? Я так и подумал, лишь только вошли вы в столовую. Надеюсь, сэр, что супруга ваша в добром здоровье, а также и достопочтеннейший сквайр – прекраснейший человек, смею сказать!.. не было бы никакой ошибки с его стороны, еслиб Эджертон поступил, как требовала того справедливость. С тех пор мы совсем не видим его, то есть мистера Эджертона. Впрочем, в том, что он чуждается нас, еще нет ничего удивительного; но сын милорда, который вырос на наших глазах, ну, так уж извините, ему-то грешно, – право, грешно, – позабыть нас совсем!

Мистер Дэль не ответил на это ни слова. Содержатель гостиницы хотел уже удалиться, когда мистер Дэль налил еще рюмку портвейну и сказал:

– В вашем приходе, должно быть, много случилось перемен. Скажите, мистер Морган, здешний врач, все еще здесь?

– О, нет, сэр: его уже давно здесь нет. Вслед за вашим отъездом он получил диплом, сделался настоящим доктором и имел преотменную практику, как вдруг ему вздумалось лечить больных своих по новому, у нас совсем неслыханному способу, который называется гомео... гоме... что-то вот в этом роде – такое трудное название...

– Гомеопатия...

– Так точно, сэр! Через нее он лишился здешней практики и отправился в Лондон. С тех пор я ничего о нем не слышал.

– А что, Эвенели все еще поддерживают свой старый дом?

– О, да! и прекрасно живут. Джон по-прежнему всегда нездоров, хотя изредка и навещает любимый трактир свой «Странные Ребята» и выпивает стаканчик грогу, но уж оттуда без жены ни на шаг. Она всегда приходит попозже вечером и уводит его домой: боится, бедняжка, чтобы один чего не напроказил.

– А мистрисс Эвенель все такая же, как и прежде?

– Мне кажется, сэр, сказала трактирщик, с лукавой улыбкой: – нынче она держит голову немножко повыше. Впрочем, это и прежде водилось за ней, – но все не то, что нынче.

– Да, это женщина весьма, почтенная, сказал мистер Дэль, голосом, в котором обнаружился легкий упрек.

– Без всякого сомнения, сэр! Вследствие этого-то она и смотрит на нашего брата свысока.

– Я полагаю, двое детей Эвенеля также живы: дочь, которая вышла за Марка Ферфильда, и сын, который отправился в Америку.

– Он уже успел разбогатеть там и воротиться домой.

– В самом деле? приятно слышать об этом. Вероятно, он здесь и поселился?

– О, нет, сэр! Я слышал, что он купил имение, где-то далеко отсюда. Впрочем, он довольно часто приезжает сюда – повидаться с родителями; так по крайней мере говорил мне Джон. Сам я ни разу еще не видел его, да, я думаю, и Дик не имеет особенного расположения видаться с людьми, которые помнят, как он играл с уличными ребятами...

– В этом ничего нет предосудительного, отвечал мистер Дэль, с самодовольной улыбкой: – но он навещает своих родителей, следовательно он добрый сын, – не так ли?

– Ах, помилуйте! я ничего не имею сказать против него. До отъезда в Америку Дик был сумасбродный малый. Я никогда не думал, что он вернется оттуда с богатством. Впрочем, все Эвенели люди неглупые. Помните ли вы бедную Нору – Лэнсмерскую Розу, как обыкно-

венно называли ее? Ах, нет! вам нельзя помнить ее: мне кажется, она отправилась в Лондон, когда уже вас не было здесь.

– Гм! произнес мистер Дэль довольно сухо, как будто вовсе не обращая внимания на слова трактирщика. – Теперь вы можете убирать со стола. Скоро стемнеет, и потому я отправлюсь немного прогуляться.

– Позвольте, сэр: я сейчас подам вам хорошенькую торту.

– Благодарю вас: я кончил мой обед.

Мистер Дэль надел шляпу и вышел на улицу. Он осматривал дома с тем грустным и напряженным вниманием, с которым мы, достигнув возмужалого возраста, посещаем сцены, тесно связанные с нашей юностью, когда нас изумляет открытие слишком малой или слишком большой перемены, и когда мы припоминаем все, что так сильно привязывало нас к этому месту, и что производило некогда в душе нашей волнение. Длинная главная улица, по которой мистер Дэль медленно проходил теперь, начинала изменять свой шумный характер и в отдаленном конце сливалась с большой почтовой дорогой. Дома, с левой стороны, примыкали к старинной, поросшей мхом, ограде Лэнсмерского парка; на правой – хотя и стояли дома, но они отделялись друг от друга садами и принимали вид пленительных сельских домиков, – домиков, так охотно избираемых купцами, прекратившими свои торговые дела, и их вдовами, старыми девами и отставными офицерами, чтоб проводить в них вечер своей жизни.

Мистер Дэль глядел на эти дома с вниманием человека, пробуждающего свою память, и наконец остановился перед одним из них, почти крайним на улице и который обращен был к широкой лужайке, прилегавшей к маленькому домику, в котором помещался привратник Лэнсмерского парка. Вблизи этого домика стоял старый подстриженный дуб, в густых ветвях которого раздавались нестройные звуки пискливых голосов: это был крик голодных воронят, ожидавших возвращения запоздалой матки. Мистер Дэль остановился на минуту и потом, ускорив шаги, прошел сквозь садик и постучался в двери. Боковая комната дома, в которую постучался мистер Дэль, была освещена, и он увидел в окно неопределенные тени трех фигур. Неожиданный стук произвел волнение между фигурами; одна из них встала и исчезла. Спустя минуту, на пороге уличных дверей показалась весьма нарядная, пожилых лет служанка и довольно сердито спросила посетителя, что ему нужно.

– Мне нужно видеть мистера и миссис Эвенель. Скажи, что я издалека приехал повидаться с ними, и передай им эту карточку.

Служанка взяла карточку и вполтину притворила дверь. Прошло по крайней мере три минуты прежде, чем она снова показалась.

– Миссис Эвенель говорит, что теперь уже поздно. Впрочем, пожалуйте.

Мистер Дэль принял это очень нерадушное приглашение, прошел через небольшой зал и явился в гостиной.

Старик Джон Эвенель, человек приятной наружности и, по видимому, слегка пораженный параличем, медленно приподнялся в своем кресле. Миссис Эвенель, в чистом, накрахмаленном чепце и дымчатом платье, в котором каждая складка говорила о важности и степени особы, носившей его, бросив на мистера Дэля холодный, недоверчивый взгляд, сказала:

– Вы делаете нам большую честь своим посещением: прошу покорно садиться! Вы, кажется, пожаловали к нам по какому-то делу?

– Именно по тому, о котором я уведомлял вас письмом.

Эти слова относились не к миссис, но к мистеру Эвенелю.

– Мой муж очень нездоров.

– Бедное создание! сказал Джон слабым голосом и как будто выражая сострадание к самому себе. – Теперь я уже совсем не то, что бывал прежде. Впрочем, сэр, вероятно, вы писали мне насчет предстоящих выборов.

– Совсем нет, Джон! ты ничего не знаешь, возразила мистрисс Эвенель, взяв мужа под руку. – Поди-ка лучше приляг немного, а я между тем переговорю с джентльменом.

– Я еще до сих пор принадлежу к партии «синих», сказал бедный Джон: – но все уже не то, что было прежде, – и, склонясь на руку жены своей, он тихо побрел в другую комнату.

На пороге он повернулся к мистеру Дэлю и с величайшей учтивостью сказал:

– Впрочем, сэр, душой я готов сделать для вас все, что вам угодно.

Положение старика тронуло мистера Дэля. Он помнил время, когда Джон Эвенель был самым видным, самым деятельным и самым веселым человеком в Лэнсмере, самым непоколебимым приверженцем партии «синих» во время выборов.

Через несколько минут мистрисс Эвенель возвратилась в гостиную. Заняв кресло в некотором расстоянии от гостя и положив одну руку на ручку кресла, а другой расправляя жесткие складки своего жесткого платья, она сказала:

– Что же вы скажете, сэр?

В этом «что же вы скажете?» отзывалось что-то злое, вызывающее на борьбу. Проницательный, Дэль принял этот вызов с обыкновенным хладнокровием. Он придвинул свое кресло к креслу мистрисс Эвенель и, взяв ее за руки, сказал решительным тоном:

– Я буду говорить так, как друг должен говорить своему другу.

## Часть четвертая

### Глава XXX

Разговор мистера Дэля с мистрисс Эвенель продолжался более четверти часа, но, по видимому, Дэль очень мало приблизился к цели своей дипломатической поездки, потому что, медленно надевая перчатки, он говорил:

– Мне очень прискорбно думать, мистрисс Эвенель, что сердце ваше могло затвердеть до такой степени – да, да! вы извините меня: я по призванию своему должен говорить суровые истины. Вы не можете сказать, что я не сохранил вашей тайны, но, вместе с тем, не угодно ли вам припомнить, что я предоставил себе право соблюдать молчание исключительно с той целью, чтоб мне позволено было действовать впоследствии, как мне заблагорассудится, для пользы мальчика. На этому-то основании, вы и обещали мне устроить его будущность, как только достигнет он совершеннолетия, и теперь уклоняетесь от этого обещания.

– Я вам, кажется, ясно сказала, что и теперь беру на себя устроить его будущность. Я говорю, что вы можете отдать его в ученье в какойнибудь отдаленный город, а мы между тем приготовим ему хорошую лавку и отдадим ее в полное его распоряжение. Чего же вы хотите еще от нас, – от людей, которые сами содержали лавку? Извините, сэра, с вашей стороны было бы весьма неблагоприятно требовать большего.

– Мой добрый друг, сказал мистер Дэль: – в настоящее время я прошу у вас только одного – чтоб вы увиделись с ним, приласкали его, послушали, как он говорит, и потом сделали о нем свое собственное заключение. У нас должна быть одна общая цель в этом деле, и именно, чтоб внук ваш сделал хорошую карьеру в жизни и ответил вам своею благодарностью. Но я не ручаюсь за успех в этом, если мы сделаем из него мелочного лавочника.

– Так неужели Джжн Ферфильд, у которой муж был простым плотником, научила его презирать это ремесло? воскликнула мистрисс Эвенел, с гневом.

– Сохрани Бог! нам неизвестно, что многие знаменитые люди нашего отечества были сыновьями лавочников. Но скажите, неужли должно ставить им в вину или в вину их родителям, если таланты возвышают их? Англия не была бы Англией, если бы каждому из британцев пришлось остановиться на том, с чего начал отец.

– Славно! проговорил, или, лучше сказать, простонал чей-то голос, которого не слышали ни мистрисс Эвенель, ни мистер Дэль.

– Все это прекрасно, сказала мистрисс Эвенель, отрывисто. – Но послать такого мальчика в университет... скажите на милость, откуда взять средства для этого?

– Послушайте, мистрисс Эвенель, ласковым тоном сказал мистер Дэль: – чтоб поместить его в одну из кэмбриджских коллегий, будет стоить не Бог знает каких издержек. Если вы согласитесь платить половину, другую половину я беру на себя: у меня нет детей, следовательно мне можно будет уделить такую безделицу.

– С вашей стороны это весьма великодушно, сэра, отвечала мистрисс Эвенель, несколько тронутая предложением Дэля, но все еще не обнаруживая расположения устроить мальчика по предлагаемому плану. – Но я полагаю, что этим не кончатся наши попечения.

– Поступив в Кэмбридж, продолжал мистер Дэль, увлекаясь предметом: – в Кэмбридж... где главнее всего обращают внимание на науки математические, то есть такие науки, в которых мальчик обнаружил уже обширные способности, я уверен, что он в скором времени отличится, – отличившись в этом, он получит степень, то есть такое университетское, звание, которое доставит ему средства обеспечить свое существование до тех пор, пока он не сделает карьеры. Согласитесь же, мистрисс Эвенель, ведь вам это ровно ничего не будет сто-

ить: из числа близких родственников у вас ни души нет таких, которые бы требовали вашей помощи. Ваш сын, как я слышал, весьма счастлив.

– Сэр! возразила мистрисс Эвенель, прерывая: – разве потому, что сын наш Ричард составляет нашу гордость, что он добрый сын, и что он имеет теперь свое собственное независимое состояние, – разве поэтому мы должны лишить его того, что располагали оставить ему, и отдать это все мальчику, которого мы вовсе не знаем, и который, вопреки вашим уверениям, быть может, еще оплатит нам неблагодарностью?

– Почему это так? не думаю.

– Почему! вскричала мистрисс Эвенель, с досадою: – почему! вам известно, почему. Нет, ни за что не хочу допустить его до возвышения в жизни! Не хочу, чтобы меня на каждом шагу расспрашивали о нем. Мне кажется, весьма нехорошо внушать простому ребенку такие высокие о себе понятия, и не думаю, чтобы даже дочь моя Ферфильд пожелала этого. А что касается того, чтобы просить меня ограбить Ричарда и вывести в люди мальчишку, который был садовником, землепашцем или чем-то в этом роде, – вывести его в люди на позор джентльмену, который держит свой экипаж, как, например, сын мой Ричард, – позвольте вам сказать, что я решительно на это не согласна! Я не хочу ничего подобного, и за тем всему делу конец.

В течение двух или трех последних минут, и как раз перед тем, когда послышалось в комнате: «Славно!», которым одобрялось мнение Дэля о британской нации, дверь, ведущая во внутренние покои, оставалась полу-раскрытою, но этого обстоятельства разговаривавшие не заметили. Когда же мистрисс Эвенель выразила свою решительность, дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел путешественник, с которым мистер Дэль встретился на постоялом дворе.

– Нет, извините, сказал он, обращаясь к мистеру Дэлю: – этим дело не кончилось. Вы говорили, сэр, что этот мальчик очень умен?

– Ричард, ты нас подслушивал! воскликнула мистрисс Эвенель.

– Да, в течение двух-трех последних минут.

– Что же ты слышал?

– Слышал, что этот достопочтенный джентльмен такого прекрасного мнения о сыне сестры моей, что даже предлагает половину издержки за воспитание его в университете. Милостивый государь, я вам премного обязан, и вот вам рука моя, если только вы не погнушаетесь взяться за нее.

Мистер Дэль, приведенный в восторг таким внезапным оборотом дела, вскочил со стула и, бросив на мистрисс Эвенель торжествующий взгляд, обеими руками и со всею искренностью сжал руку Ричарда.

– Знаете ли что, сэр, сказал Ричард: – потрудитесь надеть вашу шляпу; мы вместе прогуляемся с вами и поговорим об этом дельном образом. Ведь женщины не понимают дела, и советую вам никогда не говорить с ними о чем-нибудь дельном.

Вместе с этим Ричард вынул из кармана порт-сигар, выбрал сигару, зажег ее на свече и вышел в залу.

Мистрисс Эвенель схватила мистера Дэля за руку.

– Сэр, сказала она: – будьте осторожнее в вашем разговоре с Ричардом. Не забудьте вашего обещания.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.